

3₍₁₈₎





UDK 821.174(082)(05)
Ri 484

978-9934-9098-8-7



3₍₁₈₎

Ne sveikas ne ardievas mums nav jāsaka mītam arhipelāgos
šis ūdens šie vārdi ko tad tie spēj ko tad tie spēj princi
Zbigņevs Herberts

- 9 Даниил Бендицкий. В столбик с красной строки
- 17 Франциска Цверг. О вода
- 19 Борис Бартфельд. Перед Стеной
- 26 Сергей Морейно. Моя первая Германия
- 35 Алик Фукс. Секрет жирного кофе
- 47 Геннадий Барвелев. Долгий удар грома
- 56 Сергей Завьялов. Пороги на Ванте
Пер. с русск. Кристине Хенгефосс
- 62 Сергей Завьялов. Мокшэрзянь кирьговонь грамматат
Пер. с русск. Майра Асаре и Франциска Цверг
- 80 Алексей Ивлев. Комендантский час
Пер. с русск. «Театр перевода»
- 94 Густав Видзем. Алексей Ивлев: протоколы тайных регистров
- 100 Улдис Йостс. Снег
Пер. с латышск. «Театр перевода»
- 102 Кристиан Иесалниекс. Могильщик войны
Пер. с латышск. «Театр перевода»
- 112 Вадим Месяц. Брату Гримму
- 119 Дмитрий Драгилев. На остзейских кокорах
- 131 kormak. Юмолануоли
- 144 Василий Карасев
Из М. Шульмона, Т. Шлоссфрая, М. В. Левкосириса
- 158 Ояр Вацietис 1933–1983
- 159 Юрис Куннос 1948–1999
- 160 Янис Грантс. Вокруг озера
- 205 Эйжен Гуцка. На внутренних улицах
Пер. с польск. Алексея Степанова
- 254 Валерия Иванова. Лида-Люда
- 268 Илзе Лаце. День Великого прощения
Пер. с латышск. Виола Ругайс и Янис Грантс
- 281 Байба Зиле. ИИ-искусство — друг или враг?
Пер. с латышск. Лига Вигранте
- 294 Сергей Морейно. История одного безумия

- 332 Бедный Лелиан. Обольстительное зло
- 337 Вия Лагановска. Прусский след
Пер. с латышск. Янис Грантс
- 348 Анна Калныня. На север. На юг
- 358 Валерия Паукова Знакомство с семейством жуж
- 367 Евгений Горбачев. Долгіе дни мирныхъ
- 373 Павел Васкан. Золотом и любистком
- 381 Дмитрий Дедюлин. Солнце похоти
- 393 Сандра Ратниеце. Рисунки песочных часов
Пер. с латышск. Янис Грантс
- 399 Славорад Чакюр. Блоки Достоевского
Пер. с кашубск. Густав Видзем
- 406 Роальд Добровенский. Стишоки
- 409 Сергей Морейно. Одиначество двух зайцев

Выпивку с закуской искал с прицелом на других.

Пиво в sixracks, белое, красное, сидр — в стеклянном шкафчике джин, виски, коньяк (кто это будет пить у моря?) — соки, кола, чипсы, орешки такие, сякие, далее сыры (застыли прибором) — до сладостей не дошел.

Неопределенность ставила меня перед выбором: быть либо трусливым зрителем, либо сбитым летчиком. Какую играть роль, еще не решил.

Я вернулся к двери магазина и посмотрел сквозь нее на парковку. Но, черт дери — было ли это обыкновенным зрением или, скорее, неожиданной встречей, не знаю (трудно объяснить). Как говорил известный русский поэт Б.: когда-нибудь... на нашем месте... тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется — в Ростке была школа, теперь на ее месте построили магазин.

Я решил, что нужно действовать: сделать записи здесь и сейчас. Я стоял с тележкой, лихорадочно набивал в айфон перечень случившегося и, кажется, уже тогда выстрелил себе в ногу: записывал по памяти не прямые факты, а блуждал по литературовидным закоулкам (слонялся от образа к образу.) Эти свидетельства заведомо складывались в скрытый сюжет. Нет, не так — превращались в ловушки, которые едва ли сработают (оставлю айфоновскую опечатку: даже она становится чем-то вроде приговора.)

Сижу в Берлине, разгребаю. В голове складывается фрагментарная композиция с второстепенными деталями, то мое время вытанцовывается кусками, рывками, а место как бы размытым (разрытым?). Незаконченная фраза где-то посередине заметок «первые шаги были...» явно подталкивает к началу повествования, но убей — не помню, что я этим хотел сказать:

— Дети шли друг за другом, широкая дорога извивалась, сливаясь с проходами-арками под бесконечно длинными пятиэтажками, затем растягивалась длинной финишной прямой, асфальт был мокрым и гладким, я вздрогнул от какого-то шипения, школьник на велосипеде прокатился по луже, он ехал с открытым ртом, жадно глотал воздух, небо обесцвечивалось, ветер скручивал ветку в бараний рог, на торцевых стенах школы сияла клинкерная плитка, бетонный фасад пересекали полосы окон с двумя створками, откидной внизу и поворотной вверху, перед главным входом ни массивного навеса, ни широкой лестницы, название свинтили (меняли?).

Я зашел.

Был понедельник, одиннадцатое сентября двухтысячного.

Совпадение с датой разрушения WTC (пусть хоть и за год до событий)

9

сейчас мне видится вдвойне неслучайным. Во-первых, школа тоже будет разрушена. Во-вторых, если верить в якобы мистическую комбинацию цифр — 9/11, то и я, значит, могу смело приписать скрытый смысл своей считалочке — первый урок английский, кабинет на втором этаже, сел в третьем ряду, занял четвертую парту, оказался в восьмом классе вместо десятого, мне пятнадцатый год, двадцатым будет (бисер многоточия) хорошо, остановлюсь, пожалуй, на этом.

Дети притаились, гадали: чувак то ли с неба свалился, то ли вылез из-под земли. Учительница же к появлению инопланетянина будто готовилась — наконец-то появилась возможность тряхнуть стариной, вспомнить Старшего Брата. Поговорить на jazyk'e, что еще недавно являлся — по определению — правдой.

После вопросов о том о сем англичанка неожиданно зашла с козырей: — Скаши, пачьему ти уйехаль?

Будь я сегодня на ее месте, я бы заменил «уйехаль» на «приехал» (мол, что ты здесь вообще забьешь, малшик?) — но тогда нужно было отвечать, а не подбирать за нее правильные слова для допроса — моя попытка признания оказалась до неприличия многословной: «ну, как сказать... видите ли... даже не знаю... в общем...»

Я думал о том, что бы еще добавить, и посмотрел в окно: возле школы летали огромные чайки, на стене соседнего дома я разглядел надпись — подсказку с одним неизвестным: значения слова sowieso я еще не знал, но «зовизо» догадался, что оно означает. Черной краской было написано: Ihr werdet sowieso sterben.

«Вы всё равно умрете».

Сообразив, что я подозрительно долго тяну с четким ответом, учительница попросила детей рассказать о себе по-английски: мальчики, словно сговорившись, сообщили, что они like to play football, девочки ни во что не играли, любили to listen to music. Что ж, по рукам.

Затем был урок истории. Учительница с ходу обменялась со мной классовым паролем: «мая мама работает на фабрике», потом вывела на доске кириллицей: «венн ду дас лезен каннст, данн бист ду кайн думмер весси» (если ты можешь это прочитать, значит ты не тупой весси) и внезапно обрушилась на меня — потребовала перевести на немецкий фразу: «Нет, мы пойдем другим путем».

Ни перевести, ни сказать, чьи это слова, я не смог.

Очевидная политизированность урока меня не смутила, удивили исторические прыжки: под лозунгом восточно-немецкого ресентимента розовым мелом она прицепила к доске репродукции трех революций: Французской, Октябрьской и Немецкой — в этих событиях дети должны были найти какие-то параллели, общие свойства.

Мы скакали, как в известном стихотворении поэта Х., от причины к причине и своих же следов найти не могли.

Я пытаюсь ухватиться за образ истерички (тут должно быть слово «исторички», но автокорректор решил иначе), хочу опознать черты ее лица. Их, лиц, было два: большое — с идеально круглой формой, короткой стрижкой, близко посаженными узкими глазами, и другое — маленькое: вернее, это был взгляд, который изображал отрешенность. Второе лицо скрывалось за первым.

Сейчас, когда я перетасовал все записи, начинает вырисовываться хронологическая последовательность. Заметки выстраиваются в лестницу, которая ведет меня от начала к концу. Каждая реплика мне кажется важной ступенькой, хотя бы одну упустить значило бы, что я провалюсь и прерву связь времен.

Подражая известному реконструктору памяти, немецкому писателю S., в свои романы о пропавших жизнях и разрушенных городах вставлявшему фотографии, я делаю вид, будто держу в руках документ и тоже пытаюсь вшить его в собственный текст. Эта потребность в фиксации, точнее — использование свидетельств, по которым восстанавливается прошлое, становится рабочим приемом личного принуждения (так даже самому себе легче верится, что ли).

Я убеждаю себя в том, что наспех записанные в айфон слова считаются последней истиной. Они трансформируются в естественную часть истории, в ее несущие элементы — без них конструкция текста развалится. Смущает, правда, одно «но»: что бы изменилось, будь это повествование, составленное из фрагментов, придумано не в магазине, а дома, в тепле — тогда этот источник не прокатил бы? Связь со школьным *genius loci* из берлинской квартиры, а не среди полок с алкоголем и закуской — она какая-то другая?

И все же та магазинная оптика приводит к неожиданному результату: не только показывает бывшее, но и влияет на настоящее.

На большой перемене детям приказали: *An die frische Luft!*

«Выходим на свежий воздух!» — Мы выбегали во двор, разбивались на группки, тупили. Важным условием коллективного проветривания мозгов была тишина. Мы молча глядели друг на друга, дышали.

В эту картину как бы сбоку влезает точка моего наблюдения: я в магазине — передо мной стеклянная дверь, снаружи нацарапанная надпись на стекле — рассматриваю свое отражение. Это не то чтобы взгляд со стороны, скорее извне: я вижу себя в школе спустя столько-то лет, мне нравится думать, что и на школьном дворе, и по парковке гулял один и тот же ветер.

После воздушных ванн мы вернулись в класс, и я снова начал играть роль толмача, хотя правильнее будет сказать — известного юного волшебника-очкарика (вру — он станет знаменит только через несколько лет, но определенное сходство уже тогда наклеивалось.)

Я пишу: от меня ждали открытия нового сорта развесистой клюквы. Слово «открытие» мне не подходит — ниже добавляю синонимы «изобретение», «находка» и «выведение». Еще ниже я приписываю другую растительность à la russe: говорил с учителем о цветущей черемухе в овраге (чего, конечно, быть не могло, откуда ему вообще знать, чья эта цитата?)

В своих заметках я жонглировал словами так и сяк, пока, наконец, не перескочил от биологии к химии — бывший профессор, оказавшийся в гимназии после сокращения в университете, вовсе забил на предмет. Его волновало занимательное толмачество, граничащее с конспирологией. Он попросил сначала перевести, а затем объяснить тайную связь фамилий последнего советского генсека, первого русского президента и второго (нового).

Справиться с «елью» (Tannenbaum) и «путем» (Weg) было легко, «горб» (Buckel) я нашел в словаре, но для того, чтобы разжевать про нерушимый ландшафт с голым холмом, хвойным лесом и раздолбанной дорогой, мне не хватило кусочка мозга. Пришлось рисовать этот пейзаж на доске.

Урок химии превращался в исследование русских символов. Я ничего против не имел, но подозревал, что эксперименты добром не кончатся — бядловатый одноклассник наконец не выдержал:

— Wir hassen Russisch! («Мы ненавидим русский!»)

— Dann hasse ich euer Deutsch! («Тогда я ненавижу ваш немецкий!») — вступился за меня оскорбленный руссишферштеер.

Кажется, я тоже обиделся. Захотел поверить в существование известного заговора. Что касается химии, то меня аккуратно предупредили:

формулу источника жизни впредь не вздумай называть «аш цвай о», потому что «аш», точнее, «арш» (при произношении «р» проглатывается) — это «жопа». Запомни — только «ха цвай о».

Позже выяснилось — угодить в полную задницу было проще простого. Довольно быстро я стал замечать, что с моей речью происходят необъяснимые метаморфозы — грамотно сформулировать (и главное — без акцента произнести) хотя бы одно предложение ни на родном, ни на чужом языке не получалось, любая мысль натывалась на преграду, и тут я изобрел «шпрахоязык»: дословно переводил немецкие фразы на русский. Узус состоял наполовину из ляпов и предполагал лексическое вытеснение. Универсальный ответ был: «я панимаю тибя не».

Можно смеяться после слова «Schaufel» (лопата).

Я заново учился разговаривать: на Russischunterricht наверстывал упущенное. Забегаю вперед: спустя несколько лет мне рассказали историю, как при выборе второго иностранного языка учительница объясняла логику великого и могучего:

— Смотрите, дети, есть такое русское слово «лифчик». Из чего оно состоит? «Лиф» — это как наш Luft: представьте себе, как будто что-то наполняется, а «чик» — это когда что-то закрывается. Разве русские слова не логичны?

Интерактивное нижнее белье мало кого убедило — из трех классов по двадцать детей Russisch решили изучать шестеро. Я стал седьмым. Остальные выбрали lingua latina или français.

Мода на великий и могучий бесследно прошла, потому-то deutsche Kinder от звукоподражательных славянских междометий и шарахались. Мне же в своих записях удастся обойти стороной высоколобое определение «язык пространства». Я слабо понимаю, что оно означает, хотя профессия (архитектура) обязывает разобраться: описать все то, что было вокруг (стены, потолок, окна, двери) не получается, для них как будто не существует слов.

Сейчас я вынужден бить себя по рукам — нельзя искать в гугле фотографии ГДРшных классов и восстанавливать прошлое по чужим изображениям, нужно довериться источнику, созданному на месте — я пишу лишь, что стал частью мебели, врос в парту. Это все, что осталось.

Понять не могу: то ли само пространство куда-то затерялось, то ли в нем затерялся я сам.

Впрочем, впереди меня осталась сидеть девочка Л., которая постоянно ко мне оборачивалась. Она посылала мне странные сигналы: я их слабо улавливал. Как разговаривать с дикарем, она не знала, и в мой первый день Л. решила воспользоваться проверенным бабушкиным методом — написала любовное письмо. Содержание из памяти напрочь стерто, но сейчас я не могу избавиться от соблазна всё опошлить, то есть приписать немецкой девочке русские мысли в духе: «Зачем вы посетили нас?» или «Я знаю, ты мне послан богом»; еще хлеще — вывести (за нее же) на том же клочке бумаги заветный вензель Л. & Д.

После этого Liebesbrief (с расшифровкой мне помог карманный Langenscheidt) в голову совершенно ничего не лезло. Я оставил бумажку в кармане штанов и постирал ее в тазике вместе с другим грязным бельем. Отвечать на размытые доверчивые признания да невинные излияния мне показалось странным. До откровенного разговора так и не дошло, вплоть до абитура мы особо не общались. Можно считать, что мое молчание равносильно известному нравоучению.

(Спасибо классику.)

Здесь мне приходится вставить историю с небольшим налетом мистики (ввожу постфактум, нарушая главное условие повествования). Я никак не мог записать ее в магазине — она вырывается из контекста и живет сама по себе.

Я приехал в Ростов на встречу с одноклассниками.

Договорились, что каждый с собой что-то принесет. Я взял в магазине пиво и чипсы, Л. пришла со своим мужем. Муж оказался военным, говорил, что служил в Афганистане, все лицо в шрамах, его имя, точно помню, начиналось на N.

Это фантастическое совпадение с сюжетом из энциклопедии русской жизни привело меня в полный восторг, но Л. даже не вспомнила, как меня звали, в присутствии израненного мужа интереса ко мне не проявляла. Верхом пошлости было бы, конечно, если бы эту Л. я подкараулил и признался ей в любви, но я весь вечер скучал — выпил два пива и укатил обратно в Берлин.

Год спустя я вернулся к записям и вдруг прозрел: история первого учебного дня, которая вполне годилась для быстрого пересказа, совсем не туда разворачивается. Дело, как выясняется, не в реконструкции, а в разрушении памяти. Я перечитал несколько раз айфоновскую простыню

и понял, что все время мучительно собирал из кусков пазла только лишь уничтожение школы.

Хотя нет, это был не пазл, а — как бы позаковыристее сказать, — метание дротиков. Я швырял в мишень обрывки фраз: одни попадали в яблочко, другие даже не долетали и падали. Сколько бы очков в этом дартсе я ни набрал — записи о разрушении школы так и остались головоломкой. Что тогда, в магазине, что сейчас, в берлинской квартире, я задаю себе странный вопрос: как описать разрушение, которого сам не видел?

Я выношу ушедшей эпохе пафосный вердикт: в моем балтийском городе никогда не было таинств, время шло медленно вверх-вниз — мелкими волнами, бывшая Восточная Германия накрывалась медным тазом, единственным источником жизни было страдание, местное население настаивало на собственной второсортности и спорило о том, как бы поскорее уехать «на West», спасать было нечего, все наглухо заколачивалось, школы закрывались, мой класс до конца абитура одиноко шатался по коридорам и должен был выйти последним из горячей избы (автокорректор ставит подножку).

В айфоновских заметках я пытаюсь присвоить себе травматический опыт — постоянно прокручиваю в голове разрушение школы. Это навязчивое, как у известного психоаналитика, повторение в конце концов приводит к «нарушению покоя». Воспоминание о первом дне вытесняется моим собственным идеалом руин. Это полубредовое состояние имеет такую власть надо мной, что кажется, будто разрушенная школа — это реальность. Меня переполняет не столько чувство чего-то потерянного, сколько нежелание с этим потерянным расставаться.

Я отправляюсь в путешествие по трем этапам сноса здания. Смотрю из магазина на парковку и заставляю себя поверить в уничтожение школы. Попытка что-то разглядеть становится чем-то вроде wishful thinking.

Сначала территорию обносят забором, на стенах заброшенного здания я исследую граффити, замечаю в оконном проеме комнату, из которой еще не успели (забыли?) убрать классную доску, часы и карту Европы; эти предметы специально оставили, чтобы подчеркнуть, что их скоро тоже сровняют с землей.

Потом школа распадается на части, экскаватор цепляется ковшом за фрагменты, обломки с грохотом падают, гора строительного мусора шевелится, рабочие (поляки? румыны? нет, румын тогда в Германии еще не было) тушат из шланга облака пыли.

Наконец я смотрю на парковку, ожидая увидеть на ее месте пустоту, от школы не осталось и следа, по ней будто прошли катком, я нахожу в этом голом ландшафте табличку с описанием нового проекта, и меня тут же начинает раздражать эта моя псевдополемика с поэтом Б.: теперь так мало детей в Ростове, что мы сломали школу, дабы построить на свободном месте магазин, в такой архитектуре есть что-то безнадежное, хотя, быть может, это храм потребительства, он приносит больший сбор, чем знамена учения и прочее бла-бла.

В довесок к трем этапам сноса школы я проделываю еще одну безнадежную мыслительную операцию: мне втемяшилось, что русский поэт Б. и немецкий писатель S. сами не знают, как подступиться к разрушениям. Они не ностальгируют по уничтоженным зданиям, а говорят о невозможности их описания — разрушения превращаются в аллгорию, в них нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего: на месте руин непременно появится что-то новое, и это новое сотрет нашу память.

В эту недокрученную мысль вдруг врывается дед с тележкой. Этот «черный лебедь» гавкает на меня: чего встал у входа, здесь магазин, тыкайся в телефон у себя дома, дай пройти. Из-за пререканий (в эпоху ношения масок люди не разговаривали, а только орали друг на друга) мой руинный фетишизм вмиг исчезает, стеклянная дверь (мой бинокль) запотеваает, последующие записи автокорректор не распознает и подчеркивает красной пунктирной линией.

Кем или чем моя осведомленность о разрушении школы была сконструирована — дай ответ. Не дает ответа.

Я вышел из магазина с пивом и чипсами и разглядел на стене соседнего дома надпись: при переводе ее одним словом «фигня» смысл высказывания никак не менялся. Я уехал к морю на встречу с одноклассниками, а то слово забыл записать.

Таскают шкаф огромный. Тяжелый он, век девятнадцатый. Его привинчивают к прозрачной переборке. Привинчивают плохо, скупаются на болты — другие, коллеги местные, возмущены: мол, прикрепи как надо, если хочешь в еэс. А им-то все равно, что Мадрид, что Берлин, что Рим, лишь бы суточные экономить, купилку бы домой везти. И вот стоит он, шкаф, привинчен весь по евронормам к прозрачной переборке, и медленно спускают на штанкетах всё остальное, всю мебель этой комнатухи, а главное — кровать, куда проснуться вечером приляжет сам актер. Потом своими нож- и ручками пошевелит, весь притворяясь, что Грегор Замза он, ошеломленный тем, что ныне — жук. Лежит он так и вспоминает о жуках детства своего, как собирал таких жуков на кустиках дворовых в замену кошке или псу, держать которых запрещалось. По ночам они шуршали в своей коробке, и если не спалось ему, он вслушивался. А утром открывал коробку.

Но жуки эти не летали, по вертикали ковыляли, по стольным ножкам. Успеть бы лишь дожидаться окончания их прогулки по каждодневному тернистому пути до школы. Выгул краткий, потом опять в коробку, туда и листики салата, как корм. Не улетали, и Замза не летает, а ползает по бутафорскому паркету. Ну да, билеты продавали, чтоб приходили на него смотреть. Ну да, профессия такая, все делать сотни раз и вечно ковылять по кругу. Ну да, там и прозрачная переборка-то, за ней еще и противопожарный, и крепенький кирпич конструкции двадцатых.

Своих жуков он пожалел потом, пустил в свободу, как только разрешили ему завести кореллу. Открыл он ту коробку во дворе, и сразу испарились жуки, не веря счастью своему. Поскольку жучий дом отныне пустовал, он переделал его в домовину. Обклеил наружные бока черноморскими ракушками с прошлых каникул, фломастером разрисовал и птичье имя написал внутри крышки, поскольку знал из энциклопедии, что больно кратко оно есть, корельское житье. А если гроб готов, то можно просто жить.

Но как пришел тот судьбоносный день, когда пора было класть тельце птичье на готовый одр, спеть песенку красиво-грустную и опустить остатки под кустики дворовые, он плакал всё, забыв свою коробочку. В бак птица выброшена была, руками матери. В бак выброшена была и та коробка, его руками, при переезде в заграничье, несколько лет спустя, ведь разрешали только тридцать килограммов, а вот один уж мишка весил три.

С мишкой он был на фотографии своего первого паспорта детского. Его слепили родители из старого карманного календаря, чтобы занять им

пограничников: вымаливали туда штамп для малыша, тем самым отвлекая от багажника. Так мишку надо было брать с собой, раз в паспорте он с ним. Тем более, что наградой мишка родительской являлся: за первую отвагу. С пяти метров — в шесть лет — за получение прыгать пришлось, в бассейн сентябрьский, где все лето промучил его инструктор, с крутами надувными он там плескался, затем и без. Свободу обещал тот инструктор, конец занятий, как только спрыгнет. А мама поддержала, всяк раз после занятий на велике везла его мимо магазина, показывая мишку в витрине.

В тот день стоял он долго на трамплине. Внизу вода, так далеко, так жутко далеко, намного ближе его пальчики с родинкой на большом, а поднимая взгляд, он видел маму у края синего бассейна, с мишкой желанным в руках. Стоял он вечно там, уже темнело. Как оттолкнулся и зачем, как в воду он нырнул, потом не помнил. Мозг отключился, глаза и ушки тоже, один лишь миг, и неоткуда было взять воспоминание после. Но ничего, тут сразу мишка и мороженое — а запись о первом столкновении с водой, она в ту книжку занесена, что у Главбуха лежит. Потом посмотрит, едва лишь доберется после морского захоронения своего. Ведь с того дня он точно знал, что путь туда, где все мишки, ведет сквозь воду глубокую, никак иначе.

Задох он, Замза, наконец — и выброшен был, наверное. Как все уйдут, то шкаф отвинчивают, и кровать, и мебель поднимают на штанкетах, потом таскают в грузовик. Перекур, и вот корабль отшвартован. Поедет все, что было связано — и шкаф, и кровать с мебелью, и переборка прозрачная, и через день иль два все начинается сначала, в другом месте, внутри другого кирпича, а может быть, бетона.

А здесь застыл тот воздух, что был наполнен тысячами люменов, в чьих лучах летали частицы пыли. Но через лестницу, внизу, в фойе, еще загадочно мерцает большой аквариум. Там рыбки плавают, пестрые и блеклые разом. Рыбы-альбиносы, такая вот порода, что получилась после многих лет переразвитости. Какое-то время были иные, с плавниками на одном боку, и плавали они все время кругом.

Так развлекается зритель разведением рыбок. Последним он уходит, все выключает, и вот осталась только лампочка зеленая, просвечивает никому не нужный ВЫХОД.

И цирк уехал.

Под дождем они вышли на привокзальную площадь Ростока. Осенью темнеет рано, еще раньше замирает жизнь в Восточной Германии. Поездов до Варнемюнде, куда им надлежало прибыть на научный симпозиум 1-го ноября 1989 года, в вечернем расписании уже не значилось. Два молодых инженера-математика из Калининграда топтались у входа в вокзал, растерянно озираясь по сторонам, пока со страшным мотоциклетным грохотом к ним не подкатила странная машинка. В ней, сгорбившись, сидели два молодых человека. Водитель, открыв дверь и высунувшись в дождь на половину туловища, что-то прокричал. Инженеры не поняли — Николай, собрав в кулак всю волю и воспоминания о грамматике немецкого языка, выдал:

— Пожалуйста, говорите проще и медленнее.

Парень рассмеялся:

— Куда вам надо ехать? — на этот раз он говорил медленно.

— В Варнемюнде.

— Это пятнадцать километров... сорок марок в карман и погнали! — Потенциальные пассажиры с сомнением посмотрели на странный автомобиль и согласились. Цена кусалась, но выбора не было.

Оба немца быстро выбрались из машины, откинули передние сиденья, усадили гостей на два задних места. Багажник у автомобиля отсутствовал, один из парней ловко водрузил оба чемодана себе на колени. Пассажиры сидели сзади, упершись в колени подбородками. Машина зарычала раненым зверем, будто у нее отвалился глушитель, резко дернулась с места и вырулила на трассу. Скорость уродец набирал натужно, дрожа всеми фанерными листами, составлявшими обшивку драндулета. Водитель выжимал педаль газа до самой земли, и призрак автомобиля мчался сквозь мрак и дождевые потоки в неизвестность. Через полчаса они подкатили к небольшому уютному отелю «Штранд», стоящему прямо у морского пляжа. Получив свои марки, предприимчивые немцы рванули обратно, к облюбованным местам ловли очередных клиентов.

...

Три дня в спокойном курортном городке пролетели, как говорится, незаметно. По утрам легкий завтрак в отеле, затем пленарные и секционные заседания, чтение и обсуждение докладов. Участники симпозиума — пара

сотен ученых из социалистических стран и трое из ФРГ. Они-то и были в центре внимания. Вокруг них кружились все, особенно чехи и поляки; восточные немцы держались настороженно. Участники из Союза кучковались отдельно. С утра читали доклады, вечером гуляли по чистенькому городку, заходили в магазины, беседовали в маленьких кафе. На взгляд русских, в продуктовых магазинах царил изобилие, кафе поражали строгим изяществом, магазины одежды предлагали то, чего в советских магазинах найти попросту невозможно. Но в кинотеатрах смотреть было нечего, и вечерняя телевизионная программа была скучна, хотя Хонеккер уже ушел в отставку. Во всем ощущались напряжение и зажатость.

...

Работа конференции завершилась. Утром 4-го ноября участники разъезжались. Александр предложил задержаться на несколько дней в Берлине, на том и порешили. Из Ростка в Берлин ехали в одном купе с немецкими учеными из Политехнического института. Беседовали; один из них — Гюнтер, лет тридцати пяти, прилично говорил по-русски. В начале восьмидесятых ему довелось два года поучиться в Ленинграде, и беседа шла на странной смеси русского и немецкого языков, однако довольно бойко. Дело дошло и до вопроса о двух Германиях и одном народе. Гюнтер решительно утверждал, что народ не один, прошло уже сорок лет и немцы ГДР сильно отличаются от западных. И никаких предпосылок для сближения, а тем более объединения народов и государств в ближайшие десятилетия не предвидится. Интересовался, что видали русские в Ростке, как оценивают немецкую ситуацию.

Когда показались пригороды Берлина, Александр и Николай стали собираться на выход. Гюнтер ехал дальше. Прощаясь, он печально то ли пропел, то ли сказал по-русски:

— Что день грядущий нам готовит...

...

Они вышли на «Александрплатц». По всей площади валялся мусор, что для столицы ГДР представлялось нереальным. От выхода из вокзала через всю огромную площадь тянулся коридор из двух рядов мужчин и женщин.

Возле ног каждого из них стояли сумки и были разложены посуда, электрические приборы и всякая полезная бытовая мелочь. По этому коридору шли минут пятнадцать. Торговцы, почти исключительно поляки, бойко, но без особого успеха, предлагали свой товар.

Отель «Унтер ден Линден», единственная берлинская гостиница, о существовании которой знали друзья, располагалась неподалеку — на одноименной улице; к ней они и направились. Архитектура столичного отеля разочаровывала, обычная многоэтажка хрущевского типа. Перед стойкой регистрации толклись странного вида цыганистые мужики, не то болгары, не то сербы или поляки, но два свободных номера для русских всё же нашлись. Друзья быстро заселились в малюсенькие номера на разных этажах и отправились бродить по городу с большими проплешинами в застройке, странно напомнившими им родной Калининград. Вдоль центральных улиц ветер разносил мусор. Полицейские парами искали укромные места. Стремительно вечерело; обойдя за час Музейный остров, маленькая компания вернулась в отель. В холле толпились московские журналисты, срочно командированные в Берлин, от них Александр узнал, что сегодня по городу прокатилась огромная демонстрация — следы ее буйства они и наблюдали на улицах.

...

Следующий день прошел в утомительных походах по центральным магазинам. Пускай командировочные и обменный лимит на валюту и не впечатляли, потратить их с толком оказалось непросто. Пришлось несколько раз обойти три больших универмага в центре Берлина, по большей части присматривая обувь и одежду, заказанную женами, что добавляло трудностей при выборе. Но как не старались новоиспеченные коробейники, покупки получились бестолковые.

Люди на главной улице и в магазинах казались спокойными, ничто не предвещало бурных событий, но по западному радио уже говорили о массовом переходе немцев через венгерскую границу в Австрию — и дальше, в Западную Германию, и о назревающих новых демонстрациях в Лейпциге и Берлине. В одном из магазинов Николай вдруг заметил среди толпы покупателей давешнего знакомого Гюнтера, махнул ему рукой, но тот сделал вид, что не понял, и стремительно исчез в соседнем отделе магазина.

За день совместного болтания по магазинам коллеги изрядно надоели друг другу и следующий день решили провести раздельно.

...

Порывистый ветер и надоедливый дождь с самого утра накрыли Берлин. Попытка прогулки явно не удалась. Николай едва дошел до Александерплатц, как дождь усилился, пришлось возвращаться в гостиницу. По дороге он нагнал молодую белокурую женщину в туфлях на высоких каблуках, в длинном, почти белом плаще, с трудом несущую объемистую сумку. Николай подхватил ношу, которая оказалась еще тяжелее, чем казалось со стороны. Женщина обрадовалась и засеменила рядом, повторяя «хотэль», «хотэль». Спутница по-русски не говорила, да и по-немецки знала лишь отдельные слова. Оказалось, что она приехала из Румынии. На регистрации ей сказали, что номеров нет, она беспомощно оглянулась и почти запричитала. Один из мужчин, стоявших в холле, тут же подошел к ней, заговорил по-немецки и тут же перешел на другой, очень быстрый язык. Женщина обрадованно закивала, продолжая что-то эмоционально ему объяснять. Мужчина повернулся к Николаю и по-русски — с каким-то польским, похоже, акцентом, зато бегло — попросил:

— Послушай, через три часа я сделаю для румынки номер. Но ей нельзя оставаться на виду, в холле, пусть она пока переждет в твоём номере, да и шмотки свои переберет. Может, их у нее сразу и выкупят. Ее звать Соня.

Николай кивнул как загипнотизированный, подхватил тяжеленную сумку и пошел в номер. Соня на каблуках едва поспевала за ним, бесконечно повторяя: данке, господин, грация, домнуле, грация... В тесном номере не разойтись, он остался у дверей, женщина прошла вперед, к окну. Она скинула плащ на кровать, распаренная, сняла теплую кофту, оставшись в футболке, раскрыла сумку. Там оказалась явно дорогая фарфоровая посуда. Верхние тарелки разбились вдребезги, румынка разрыдалась, стала вынимать осколки и укладывать их на стол, порезала палец, всхлипы стали еще сильнее. Николай принес рулон туалетной бумаги, кровь удалось остановить. К счастью, почти вся посуда осталась целой. Женщина успокоилась, начала аккуратно доставать посуду из сумки, стирать капли крови и раскладывать ее на столе. Еще больше разгорячившись, она стянула через голову футболку и осталась в одном лифе — склонилась над сумкой, и ее

красивая, тяжелая грудь выпрыгнула из лифа. От неожиданности Николай вскрикнул и отступил назад, упершись спиной в дверь. Казалось, что Соня нисколько не смутилась, а хитро, даже призывно посматривала на него, трогала крупный сосок, совсем не спеша поправить свой лифчик. Кровь ударила Николаю в голову, он едва не задохнулся. Через минуту, так и не сумев справиться с возбуждением и прийти в себя, он схватил пальто, несколько раз произнес:

— Драй штунден, драй штунден, — и выскочил за дверь.

Когда через три часа Николай вернулся в номер, Соня спала на его кровати поверх покрывала, посуда аккуратно стопками лежала в сумке, туфли валялись под столом. Он не решился разбудить ее, закрыл дверь на ключ и отправился пить кофе в бар отеля возле регистрации.

...

Он допивал в баре кофе, когда к нему подошел тот самый мужчина — Николай успел прозвать его Лехом, — нагруженный двумя коробками с видеомониторами.

— Где твоя румынка? Я сделал для нее номер, может переселиться, — Лех самодовольно показал брелок с ключом от номера. — Ты не видел, деньги у нее есть, или придется брать оплату фарфоровыми тарелками?

— Не знаю, денег у нее я не видел, идем быстрее, она, наверное, уже проснулась, — раздраженно ответил Николай и, не оборачиваясь, пошел в свой номер.

Соня и вправду уже проснулась, сидела на кровати, не спеша расчесывая густые и одновременно тонкие светлые волосы. Увидев Николая — приветливо улыбнулась, когда следом ввалился Лех — насторожилась. Лех по-хозяйски прошел в комнату, решительно, но бережно взял свободной рукой сумку с посудой, пробурчал что-то ей — видимо, по-румынски — и вышел в коридор. Соня покорно собрала в охапку разбросанные вещи и, не попрощавшись, поспешила за ним. Растерянный Николай остался один, со странным ощущением малыша, у которого неожиданно отняли игрушку, с которой он так и не успел поиграть. Спустя несколько минут пришел в себя, осмотрелся. На кресле остался лежать белый плащ, под ним ажурные шелковые чулки. Николай отстраненно взял плащ, чулки и пошел к номеру, куда Лех увел Соню. Он дернул дверь, постучал грубо

и решительно, никто не открыл. Из-за двери доносились ритмичные звуки и скрипы, вскрики, тяжелое, рваное дыхание. Ничего не оставалось, как только повесить плащ и чулки на массивную ручку и удалиться от злосчастной двери.

...

У них оставался последний день — на Берлин. Поезд в Калининград отправлялся завтра утром, 10-го ноября. В этот день коллеги решили игнорировать магазины, ходить по городу и музеям. Это тоже оказалось не так уж легко, к пяти вечера путешественники выдохлись и потянулись к отелю. В холле три десятка немцев внимательно смотрели телевизор. Транслировали то ли партийное собрание, то ли пресс-конференцию. Высказывания ораторов сопровождались эмоциональными выкриками и резкими комментариями. Коллеги следить за выступлениями не стали, пусть немцы сами переживают за свои немецкие дела. Решили отдохнуть пару часов и в последний раз прогуляться по вечернему Берлину.

24

Из отеля вышли около девяти. По улице Унтер ден Линден шло множество людей — в сторону Бранденбургских ворот. Все были взбудоражены и, казалось, объединены общей целью. Какой целью, ни Александр, ни Николай понять не могли. Люди направлялись в Западный Берлин, но для чего, с какими надеждами, еще никто не мог предположить. Они влились в общий поток, слились с ним, стали единым не только в движении, но и в эмоциях, в общем дыхании. Вскоре поток сместился вправо, в сторону вокзала на Фридрихштрассе. Толпа текла по улице, как полноводная река, но возле вокзала течение замедлилось. Их вынесло к пропускному пункту в Берлинской стене. Здесь стояли военные и полицейские, они не проверяли документы и не препятствовали движению. Уже у самых ворот к ним подошел полицейский, остановил их, оглянулся на человека в штатском, стоявшего рядом с военными. Тот одобряюще кивнул. Несмотря на то, что шляпа почти скрыла его лоб, Николай узнал в нем своего попутчика Гюнтера. Полицейский отодвинул их к бетонной стене и, не допуская возражений, сказал:

— Возвращайтесь. Вы советские, вам туда нельзя. Немедленно назад.

Оставалось лишь подчиниться. Они медленно пробирались против течения, люди удивленно смотрели на них, не понимая, как можно в этот

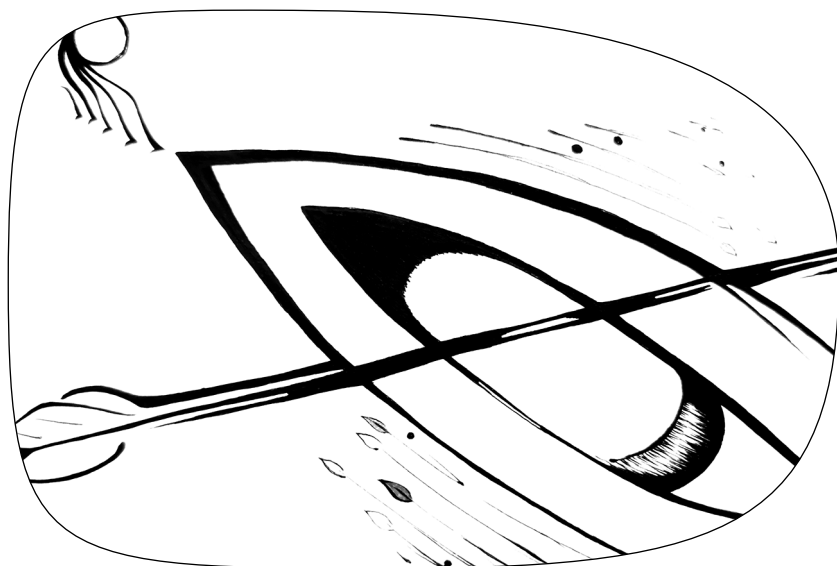
решающий вечер возвращаться назад, не достигнув цели, к которой так долго стремились.

В холле гостиницы было пусто, все ушли к Стене, только в баре сидел довольный Лех, рядом стояла высокая стопка свежедоставленных контрабандой коробок с японскими видеомагнитофонами, да еще Соня заполняла какие-то бумаги.

...

Утром город был пустынен, никто в эту пятницу не спешил на работу. По Александерплатц ветер разносил мусор, как и в день приезда. Наземным метро они добрались до Центрального вокзала, поезд на Калининград уже стоял у платформы. Научная командировка завершалась, но было в ней нечто большее, чем та наука, которой они занимались. Купе на двоих, куда их поместил проводник, похожий на веселого пройдоху, располагало к отдыху и размышлениям. Говорить не хотелось, ехали молча. Часа через два Николай отправился к проводнику за чаем, тот весело балагурил, подавая ему стаканы в тяжелых подстаканниках с гербом СССР. В углу служебного купе стояла стопка японских магнитофонов, полуприкрытая одеялом. Поезд шел мерно, без рывков, позвякивая на стыках.

Пассажиры умиротворенно дремали, до декабря 1991 года оставалось два года.



Land er heilagt,
er ek liggja sé
ásum ok álfum nær...^{*}
Grímmismál

Л е т о

Люди часто начинают так: в первый раз я приехал в Рио в таком-то году. На улицах курился запах ди-джао, из борделей доносились смуглые крики. Я тоже бы начал: впервые я посетил Германию в 1989 году. Почему именно в восемьдесят девятом? Да потому, что вежа — осенью рухнула Стена.

Но нет, в этом году я только родился. И уж точно не мог посетить эту страну. Моя река детства — Dźwina, не Rhein. Так может, первая Германия случилась со мной тогда, когда мы, тысячи немцев, поляков, евреев, русских, эфиопов и еще черт знает кого стояли на коленях перед Рейхстагом в протесте на произвол местной Думы, доказывая полиции и водометам, что мы здесь с мирными целями, хоть и без масок, и пели гимн Германии? Нет, не моя тема. Наверное, приснилось. Или рассказал кто.

26

Я слышал немало рассказов о ней. Трогательных и смешных. Проникновенных и таких печальных. Злых не слышал. Папа говорил, даже в советских книжках о войне никто не писал о ней со злобой, а казалось бы. Сейчас вам не тогда, говорю я. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, говорит папа.

Вообще-то я еще ни разу не был в Германии. В Силезии бывал, Богемию повидал, кантон Санкт-Галлен также посетил, а Гермундию вот фактически не довелось. В Австрии я был на самой границе с Гермундией, так близко, что немцы ходили сюда работать. Я, собственно, тоже хотел там заработать, тягал в металлоцеху швеллеры и двутавры. Со мной работали и русские, то есть немцы из Казахстана. «У», — говорили они. И: «Допль-Тэ». Тяжко это было, за день несколько тонн приподнять и опустить, но легче, чем на сырной фабрике, где приходилось по многу часов сгибаться, чтобы переставить ящики с сыром. Но главное — вечерами из этого нашего ошвенцима отпускали домой, а на фабрике мы жили в общежитии. Квартирная хозяйка у меня была отличная, по утрам выставляла тарелочку с едой. Паштетик

^{*}) Край тот священ, простерт предо мной от богов до эльфов...
Старшая Эдда, «Слово Гримнира»

нешлохой; все, что с печенью связано, было очень неплохим. Зато рыбы вообще не было.

На праздник для рабочих, «бетрибсфест», я страшно напился. В сию. Я напился оттого, что никто не хотел больше пить. Я выпил все пиво и всю водку, я споил всех — давай по чуть-чуть? Давай еще? Огромные казахи отваливали после нескольких рюмок. Там была офигительная официантка, старая, лет пятидесяти пяти, худая, с тихой улыбкой; ее звали Надя, тоже немка — она сидела себе, но стоило сказать: Надя, еще чуть водочки, и она сразу вскакивала и улыбалась, пожалуйста-пожалуйста... я балдею от немок по имени Надя или Таня, ты знаешь, спросил меня Лето, когда я рассказывал ему эту хрень, есть такая Катя Ланге-Мюллер, по-моему, она совсем старуха, сказал я, но когда я слышу Катя Ланге-Мюллер, я сразу готов кончить. Там было несколько хороших, но я так нажрался и приставал к ним, что теперь стыдно. Потом я был у одного коллеги, у другого, потом меня выгнали из какого-то бара, потому что я обоссал чью-то машину — «деточка, — сказал я, — мне делать больше нечего, вот только ссать кому-то на машину», — потом проснулся дома, совершенно голый, с бабками в карманах, рядом лежали джинсы, которые я купил накануне, и в карманах были бабки, а еще полно маленьких бутылочек ликера, чтобы я мог опохмелиться, потом заснуть и опохмелиться снова, но интереснее всего то, что в карманах были бабки — больше, чем было до того, может быть, ты оказывал кому-то услуги сексуального характера, спросил меня Лето, нет, но я испугался, что зашел по пути в бордель, я каждый день боялся, что зайду в бордель, он ведь стоит у меня на пути, и я всегда боялся, до сегодняшнего дня, что зайду в него и всё оставлю, а я очень не люблю бордели и не хочу туда, но сегодня мне сказали, что он давно закрыт — «как, — говорю я, — и днем и ночью свет горит!» — «так там игральные автоматы», — слушай, решил Лето, ну прямо братья Гримм какие-то получают, мальчик целое детство боится проходить мимо одного дома, считая, что там живет ведьма и она заберет его и съест, а потом вырастает и узнает, что ведьма давно переехала, а в доме открыт бордель...

Я знаю Лето много лет, он как старший брат мне, но не брат, и я могу его видеть как бы с краю, извне, он в меру хитер, в меру наивен, безрассуден в меру, в меру трусоват, прежде жизнь была загадочна, непрозрачна, любит рассуждать он, выпивши, можно было познакомиться с девушкой, спросив у нее дорогу, теперь навигация в телефонах у всех, прежде можно

было подбросить девушку домой, когда ушел последний поезд метро, за время пути отговорив от оплаты проезда и убедив на ночную чашку чая, а теперь Убер, он боится припоздняющихся девушек от шекотливых ситуаций, наверняка следующие поколения разработали новые тактики, никаких тактик, говорю я, все то же самое, он не верит, соцсети заменили метро в качестве площадки для знакомств, соцсетям не страшны маски и пока что не нужны коды, правда, лишь до поры до времени, а со временем все может вернуться на круги своя, к провожанию до дверей квартиры с ломом по подворотням и стрельбам монеток на ближайший работающий таксофон, за подаренную монетку разрешалось чмокнуть хорошенькой девушке ручку, ну и — так далее.

Бывает, город, человек, страна открываются с неожиданной стороны, и ты можешь сказать, что вот теперь-то встретился с ними по-настоящему. А можешь и не встретиться. Когда я поехал на работу в Голландию, меня отымали, никакой работы не было, я пришел к тому парню, который должен был дать мне работу, литовцу с русским именем, у него была огромная нижняя губа, косяк попросту тонул в этой губе, он держал его своей губой, как тюлень ластой держит рыбу, он предложил мне травы, но я охренел, узнав цену, не нравится — ищи дешевых развлечений, сказал он, я еще неделю ждал работы, спал в машине, он предлагал мне койку, но я не мог спать там, только сидя в своей машине я чувствовал себя в безопасности, потому я так люблю ее, эту машину, мы пережили вместе те ночи и те дни, но я так и не встретил Голландию.

Встретил ли я Лето по-настоящему? Какой мой первый Лето? Когда мне было пятнадцать лет, я должен был писать реферат про «Войну и мир», Толстого еще изучали в школах, я слез с чердака (правильнее: мансарды), где я ночевал, в комнату, где Лето сидел и пил с моими родителями, и уговорил папу спросить у Лето совета. «Это говно, война и мир, — сказал Лето, — у Толстого всё говно, кроме рассказов и Хаджи Мурата». Помню, как рассердился мой папа, нет, он просто обиделся, потому что не мог сердиться на Лето, или нет, он, наверное, просто огорчился, а для меня весь мир рухнул и заново собрался из кусочков, и я стал жить в нем, а когда мне было двадцать, Лето сказал, что это великая книга, но мой новый мир устоял. Я помню, он явился и остановился у моих родителей, я тоже приехал, мы пошли к одному парню, староверу, он пил у своих родных, он звал нас внутрь, выпить вместе, но мы отказались, хотелось видеть, как

узко петляет под обрывами Двина, тогда он вывел кучку каких-то детей, своих родственников, и предложил нам сыграть в футбол прямо здесь, у забора, мы стали играть, было весело, ведь все мы были пьяные, но один из нас упал и разбил колено о камень, и мы пошли к другому, и чья-то то ли мать, то ли теща бинтовала эту коленку, смазав ее предварительно зеленкой — чью? — убей не помню, но именно эта коленка и стала одним из моих первых Лето.

Так вот, эти двое: Лето и его подруга Рука. Следовало бы написать иначе: Рука и ее друг Лето, потому что именно так они выглядят со стороны. Рука знает русский язык. Ее бабушку убил из автомата русский солдат, она ехала мимо на велосипеде, тот крикнул ей «Стой!», а она не поняла, и он ее застрелил. Поэтому Рука пошла учить русский, чтобы ее не убили, когда она поедет по России на велосипеде. Такова легенда, и Рука, выпив немного, рассуждала, как странно, мол, зачем и куда отправилась бабушка на велосипеде, оставив в доме маленькую маму одну, потому что дедушки дома не было, дедушка был тертый калач и никуда бы бабушку не пустил, да и как можно не понять «стой», если оно звучит почти как «стоп», в общем, она все равно выучила русский и говорила на нем так, что казалось — она дух какого-то древнего языка, из которого потом русский вылутился как цыпленок из яйца, ей были по барабану склонения и падежи, она зрела в корень, и говорила в корень, глубоким грудным голосом, особенно ей удавались матерные слова, мы с Лето решили однажды, что надо записать целый диск, на котором она повторяла бы ровно одно слово: «Нахуй!» Нахуй — и всё. С этим ее неповторимым выговором — нахуй, нахуй, нахуй.

Лето — наполовину еврей, польский еврей, и она как бы оберегала его от тех, кого, по ее мнению, Лето мог подозревать в том, что они подозревают его. Литовцы, — заверяла она, — с радостью уничтожали евреев, абсолютно, они же католики, а евреи ведь в конце концов распятили Иисуса. Наверняка это Лето приехал в Германию в восемьдесят девятом году. Ну да, он же рассказывал мне про киви, из-за которого и упала Стена, потому что восточные немцы не могли купить киви, хотя очень хотели, а из-за Стены их манили киви и фольксвагенами, он попросил показать ему киви, и под самый конец обеда, когда хозяйка убрала посуду, хозяин разгладил скатерть и торжественно выложил на нее четыре зеленых и волосатых уродливых яблочка. И про западное пиво в серебряном фольговом капюшоне, носившее имя княжеской династии, о которой Лето читал у

главного немецкого писателя Фейхтвангера, и про пиво ЕКУ, которое он, подвинутый на четырех мушкетерах, называл «эку», и про восточное пиво, продававшееся в полицейском участке: из дверей выходили мужчины с авоськами пива, а он все никак не решался войти — из-за вывески, пока один мужчина не пригласил его внутрь, сделав жест рукой и сказав «херайн», — и про проверку документов русским патрулем, и как после он гадал, почему их вычислили на людной улице, — народную полицию тогда называли «ФоПо», — рассказывал Лето, помешанный на том периоде времени, — Volkspolizei, полицией народа, она сама себя считала таковой, Polizei des Volkes, будучи на самом деле des Volkes Polizei, полицией — народу, страшное слово VoPo, тогда вам не сейчас. Чем дальше в лес, тем толще полицаи, говорю я. А слово страшное, но как-то не слишком. «По» вообще переводится как попа, немцы этой попы не слышат, как русские не слышат гноя в слове «перегной», а ведь они есть там, и попа, и гной, мы, латыши, слышим. Я сказал — латыши? Я не латыш, я — латгалец. Я это сказал? Я не латгалец, я поляк. А главный мой язык — русский.

Гораздо красивее — «нагва»... только не все русские это слышат.

Лето, кстати, уже за полвека давно, щетина у него седая стала, а всю фольгу немцы с бутылок снимали. Еще недавно она украшала разве что пиво «пльзеньское», блеском своим — когда попадалась на глаза, — заставляя задуматься, как такую мыльную мочу могли в СССР считать высшим сортом пива? Или чехи тоже были другими?

Р у к а

Табличка у Gutsark: «хиир варен Deutschland und Europe бис когда-нибудь geteilt», здесь с 1945 Германия и Европа были разделены... Такая эйфория была, сегодня смешно читать. Им казалось, что никогда больше, а сейчас ясно, что поделят и переделят. Что все только начинается, и быть может все что угодно... Освенцим тоже.

Когда я в первый и последний раз поехал в Освенцим, то именно в Освенцим, а не в Аушвиц, я должен был встретить там одного человека и передать ему письмо от папы, но приехал пораньше и пошел в музей, что-то со мной случилось, я плакал, я рыдал, но не мог выйти оттуда, а тот человек звонил папе, он был чуть ли не бургомистром Освенцима, он ждал... Кто же говорил вот такое? Один специалист по евреям (и он их

чувствовал, да!) говорил, что те — толстокожие, гораздо более толстокожие, чем, скажем, немцы. Немцы ранимые, немцы одинокие, они трагичные, а евреи — просто евреи, их ничто не может по-настоящему ранить, несмотря на всяческие причитания. Их даже смерть в массовом масштабе особо-то не пугает, иначе с чего бы они лезли в эти свои газовые камеры? Он говорил, что эротическая мечта нормального еврея (уточняю — современного) — переспать с настоящей эсэсовкой, белокурой голубоглазой сучкой при полном параде и в сапогах. Оттого-то евреи — лучшие исполнители немецкой музыки, как это ни смешно и как это ни печально. Золотые слова. Наверное, Достоевского. Не Толстого же!

— Ну что ты привязался, — ворчит Лето, — к незначительному эпизоду. Мое мнение, что кто-то пишет говно, ничего не значит. Я же не тест-полоска, не могу утверждать: раз я не в состоянии прочитать какого-нибудь там Зоebальда, он не писатель.

— Да будь ты хоть тестом-полоской, ты мог бы быть ошибочным.

— Верно! Только лечащий врач может констатировать подобные вещи, — говорит Лето, — но ни Заибальду, ни кому-то там еще лечащий врач давно не нужен, разве что санитар и палата номер шесть...

Я не спрашивал у Лето, чьи это слова, не искал в интернете, боялся, что не найду, и тогда, выходит, слова мои, я ведь специалист, чувствую, и про сексуальные мечты много знаю, и про музыку.

Спрашивал — не о том.

— Ответов нет, поскольку нет и вопросов. Зачем вопросы, когда и так все ясно, все кошмарно и охренительно одновременно, просто надо как можно быстрее выпить. Почему есть нормальные завязавшие наркоманы, но завязавшие алкоголики нормальными не бывают? Потому как наркотик творит насилие над людьми, а алкоголь делает с людьми любовь. Освобождаясь от наркотика, люди запирают насильников в тюрьму, а расставаясь с алкоголем, люди теряют любимых, и раны их болят всю жизнь.

Такая была эйфория, почище, чем от алкоголя.

Рука рассказывала. Пару раз. Три. Каждое «р-р-р» у нее как карамелька, снаружи твердо, а раскусишь — жидко, но раскусывать не обязательно, катать под языком, пока не рассосется оболочка и желе само не вытечет.

Она слегка заиклена на театре, ее отец в оперетте играл музыку. — Пока у главного драматурга с восточной стороны от Стены, — рассказывала, — у вечно пьяного Мюллера Хайнера было тревожное ощущение, что играется

театр, захваченный реальностью, что ставится увольнение от государства, которого больше не существует, актеры и балерины продолжали вполне реально существовать на их оптимистических демонстрациях. — За ними она наблюдала, глядя в телевизор, стоявший у одной четы, тоже сбежавшей из ГДР, в гостиной, в Грюневальде, где, будучи новоиспеченной студенткой, снимала каморку в цокольном этаже. — Муж хозяйки был учитель, в тот год он делал себе Sabbatical, седьмой год свободы, путешествовал где-то, и мы с хозяйкой были все время вдвоем. В ноябре каждый мы день смотрели новости. Уже с августа люди бежали через посольства ФРГ в Праге и Будапеште, просто оккупировали их и требовали впустить. Девятого ноября мы решили, что ничего не будет, я пошла спать, но вдруг позвонила дочь хозяйки, сказала, включайте, начинается. Я в ночной рубашке, а в телевизоре люди без препятствий переходят границу. Шабовский — до сих пор непонятно, то ли неправильно прочитал свою бумажку, у пограничников не было приказа, сначала они еще ставили штамп в паспорт, я говорю, хорошо бы быть там, хозяйка была предприимчивой, мы взяли бутылку шампанского и на ее машине поехали к переходу в Wedding, где мост, люди уже на Западе, обнимаются, пьют шампанское, говорю хозяйке, может, я к отцу, и начинаю спрашивать, можно ли на ту сторону, было страшновато, но мы решились и пошли, ночь в Восточном Берлине, час ночи почти, редкие фонари, пусто. Вдруг машина, едет машина по Шёнхаузер-аллее, я останавливаю, в ней мужик, ему, наверное, надо было не совсем туда, но он спокойно повез нас к адресу отца, адрес знала из почты... Все открыто, мы на этаж. Также в пижаме, открывает, ошарашен, уже тоже лег, потому что думал, в тот вечер ничего уже не будет, а я стою с хозяйкой... — И вот они едут на его «Вартбурге» обратно к этому всеобщему веселью у моста, он переходит мост вместе с Рукой, молчит, не плачет, а молчит, в последний раз он переходил его более двадцати пяти лет назад, чтобы в кино посмотреть «Бен-Гур». Хозяйка Руки долго возит его по Курфюрстендамм, даже в таких местах везде огни и празднуют всюду, цветочные магазины открыты посреди ночи, ярко и красочно, шумно и радостно, но отец молчит, и они возвращают его к мосту, где на другой стороне его ждет его Wartburg. — Помню, затем поляки в гигантских очередях в ALDI, как вы сейчас в «Лидль», пролагали товарные маршруты, восточные немцы, кто поумнее, катались по Западу, их осыпали подарками, клали деньги на стекло, дарили хлеб, еду, это потом снова наступил раскол, хотя были и на Западе люди,

которые не хотели, были в шоке, и теперь многие с восточным прошлым говорят, лучше бы этого не было, сын Греты кончил консерваторию и в ГДР был бы музыкантом, а сейчас работает каким-то техником и только ночью играет в каких-то барах...

Я слышал также, что русским, оказавшимся в тот день в Берлине, советовали держаться подальше от толп, вообще никуда не ходить, потому что могут побить. До этого момента вас терпели, потому что вы побили немцев, которых все остальные хотели побить, только не могли. А с этого момента всем хотелось бить русских, потому что тоже достали, хуже немцев, потому что дольше, хоть и не так кроваво, поэтому теперь все обожают украинцев, они ведь хоть немного, но убивают русских, которых все остальные хотели поубить, но так и не смогли.

Еще я читал выступление Адольфа Гитлера в «Кроль-опере» 1 сентября 1939 года. В нашей центральной газете оно появилось где-то на шестой странице, сокращенно. Все отсканировано и есть в сети, читаешь — и кажется, кто-то твердит тебе: война, мир — говно. Там он ясно дал понять, мол, нейтральные страны нейтральны, пока он лично считает их нейтральными. Я думал, не правильно ли поступал Сталин, вводя войска в Прибалтику — недолго же нам было оставаться нейтральными! Думал в тот момент: раз я, здоровый, то есть нейтральный по отношению к вирусу человек, представляю потенциальную опасность для общества и должен быть немедленно изолирован, бустеризован либо помещен в скотский вагон, то Сталин спас и общество, и Балтию: ведь заразись мы вирусом фашизма до того, как Сталин нас вакцинировал, то к концу войны нас раскатали бы за милую душу в плоский нуль, и VEF уже никогда, никогда бы не выпустил никакой «Спидолы»... Я это думаю? Нет, разве я могу так думать! Так думает Лето. Это не моя тема. Моя: Spidola до сих пор ловит ультракороткие волны.

Стена обязательно должна была упасть. Но до этого она обязательно должна была подняться. Поднялся — упал, только так.

...После Betriebsfest я все-таки съездил в Мюнхен. От тоски. Моя маленькая Трина нашла себе в Мюнхене парня. Его зовут Лео, его отец архитектор в Штутгарте, и сам он тоже архитектор, учится, скоро все сдаст и станет архитектором. Она искала комнату и нашла у него. Сняла, ну и все случилось, теперь живут как бы вместе. Он ее любит, а ей по фигуре. — «...Ну зайка, откуда же мне знать?!» — У нее всё через жопу, папашка получил наследство,

землю, коров, теперь бухает и трахает всех в округе, бьет мать, ее тоже бил, она рассказывала. Она мне такое рассказывает, что никому не расскажет, я ей ближе самого близкого друга (ну, было у нас что-то когда-то, она ко мне приезжала, но не в этом дело). Говорит — это ерунда, что мы, женщины, ищем одного самого-самого, ей постоянно хочется с разными, и мы пошли в бар, я взял с собой пакеты (а я закупились там, ботиночки купил теплые, штаны — всё по акциям, по дешевке), она говорит — останься в моей комнате, а мне домой надо, обещал вернуться, взял пакеты с собой, сидим в баре, бухаем — и тут этот Лео приходит. С другом. Смешной такой шваб — нет, нормальный, красивый даже, архитектор будущий, все у него в порядке, но сел за отдельный столик, обижается, типа. А мы пьем, ржем, над ним смеемся, она меня хватает, целует, хочет меня — пьяная совсем, — а мне на поезд надо. Наконец, Лео подходит, здоровается, смотрит на сумки — что, говорит, удачные покупки? Сейчас везде скидки — мол, дешево взял, хрень всякую, а мы смеемся... Наконец, пошли меня провожать, на вокзал — до поезда час целый, стоим, она на мне виснет, пошли, говорит, ко мне, в мою комнату, — и тут за три минуты до поезда я вспоминаю, что не купил билета. Надо бежать наверх, к автомату, а он не хочет брать мои деньги, я в него сую и пять, и десять, и пятьдесят — а он только выплевывает их обратно, ему по фигу, тоже смеется. Ушел поезд, пошли мы к ней в комнату, уложила она меня... а потом к нему ушла. Я раненько, пока все спали, встал и уехал домой.

В общем, съездил я в Мюнхен.

Больше, выше, правее, левее. Время ветра. Время волка. See. Der See, sagt die Seherin. Wolfzeit, Windzeit. О. Озеро. Зоркая зóрит. Час-ветр, час-волк. Возможно, я родился в Германии столько-то веков назад. Возможно, она даже хранит меня в своей памяти — памяти улья. Возможно, в этой памяти есть даже что-нибудь материнское: теплота, забота, привязанность. Сегодня ее уносит куда-то. Боюсь, я с ней так и не встречу.

Что-то нежное

Меня недавно пожурили в шутку: ты даже в пионерском лагере не был ни разу (что ты понимаешь в жизни?).

Но я был. Я не знаю, добавляет ли это что-нибудь к моему жизненному опыту, и что мой жизненный опыт обозначает для меня или для других, более или менее интересующихся мной, и какая разница.

На данный момент от пионерлагеря «Костер» под Полтавой, где я провел шестнадцать дней в августе, кажется, 1990-го, в моих воспоминаниях осталось что-то вроде набора открыток, ярких и веселых. Я хочу их рассыпать.

В возрасте 12-13 лет я интересовался своим еврейством, потому что дома был календарик еврейских праздников на идиш, принадлежавший тогда уже не живой прабабушке Фире-Розе, Библия на древнееврейском, принадлежавшая довоенному прадеду Иосифу, и словарь «еврейского языка», в котором я искал что попало. Кроме того, был двоюродный дядька, уехавший в Израиль «бить арабов», и мясник Йоха из гастронома, который подмигивал моему папе особым образом и пользовался словом «айд». То, что добродушные пьяные слесари во дворе иногда тактильно умилялись моим кудрям, нежно называли «жиденя» и дарили мне кнопки от лифта, меня ни к чему не стимулировало.

Мой интерес к еврейству привел меня каким-то образом в еврейский детский хор «Пинтеле», где я прилежно заучивал тексты песен на иврите или идише и потом тихо открывал рот под аккомпанемент болезненной женщины в шали и косоглазого гитариста. Я надеялся, кажется, что когда-нибудь мы исполним песню «ди варнечкес», которая была у меня дома на очень толстой пластинке. Под ее страшное шипение я экзистенциально плакал почти так же сильно, как от песни «глю-глю-глю-канарик». Но в репертуар «Пинтеле» эта песня не вошла, потому что надо было смотреть вперед, и, сформировав патриотический сет-лист про Ерушалаим, женщина с гитаристом стали готовить лучших (например, рыжих близнецов, которые пили сырые яйца и рвали перепонки на репетициях) к гастролям в Швейцарии. Поскольку Швейцарии было не дожидаться (видимо, не

только мне), то — чтобы никому из заблаговременно отъезжающих не было обидно — у родителей собрали рублей в жестянку и отправили весь хор, кроме близнецов (их мамаша боялась, что они под Полтавой простудят гланды), в пионерский лагерь «Костер» на последнюю смену.

Несмотря на то, что евреи были разновозрастными, руководству «Пинтеле» удалось договориться с руководством «Костра» о том, чтоб мы там оставались одним «отрядом». Я думаю, на это ушла большая часть рублей из жестянки, потому что договориться с руководством пионерлагеря о чем бы то ни было во время моего пребывания в «Костре» было невозможно.

И, несмотря на идиосинкразию, отношения сформированного таким образом нацменьшинства с коренным населением в лагере сложились неплохо по нескольким причинам. Подавляющая часть пионеров жила в лагере все четыре смены каждое лето и, очевидно, проживала где-то недалеко от лагеря в холодные времена года, потому что у них были хорошие краеведческие знания о запретной зоне за забором, а также запредельные знакомства. В день нашего поступления в лагерь все местные были в пьяном трауре, потому что кто-то из старших (16 лет) умер в больнице, не придя в сознание после неумеренного употребления антифриза в лесу с какими-то дружественными дядями. Дяди лежали еще живьем в той же больнице, и пионеры собирались туда пойти и им вломить, но это было сложно. Поэтому они привязали кого-то своего к стулу в «клубе» (это была беседка в более засанной части территории лагеря), водрузили его на «бильярдный стол» и, обходя стол посолонь и поминая усопшего какими-то заговорами, много били по стулу кием, стараясь не попадать по икрам и коленям. За этим занятием мы их застали, когда разложили вещи в «палате» на кроватях и в тумбочках и вышли посмотреть, как тут что. Они ввели нас в курс дела («у него мля растворились почки»), мы соболеznовали, они предлагали кий и дружбу и сулили отличную смену. У нас была гитара.

Навеселившись, мы разошлись по палатам. Спать в зале на две дюжины человек на растянутых пружинах для меня было ново и интересно. Существование за стеной второй такой палаты, наполненной женским составом «Пинтеле», куда мы по исконным законам лагерного быта должны будем скоро полезть, чтобы «мазать», уже начинало будоражить. Местные

объяснили нам, что перед тем, как лезть мазать, надо нагреть зубную пасту обязательно в яйцах. Мы тренировались, тубики больно кололись, но мы представляли себе, как и где мы будем мазать, и терпели.

Мне сейчас кажется, что хуже, чем в столовой «Костра», я не ел никогда. Но это, вероятно, на фоне воспоминаний о домашних варениках, кручениках да голубцах с гречкой. Например, двумя годами позже в израильском интернате одна девочка по кличке «Стелька» даже голодала неделю, а я уже был ко всему готов и ел, что давали. Но в лагере многие еврейские дети не могли. Один мальчик, из самых младших, ел долгое время только арбуз, а потом мочился в кровать. За это мы называли его «Арбузом», пока он не уехал в Израиль, и нарисовали у него на тумбочке в палате большую розовую дольку, а также корректно напоминали, особенно при девочках, насколько ненадежным членом общества считают его соседи по палате.

После еды лагерный устав предписывал полчаса шароебиться, не заходя в палату, а затем с двух до четырех, наоборот, зайти в палату и там лежать тихо и с закрытыми глазами и не издавать пружинного шума. За нарушениями следовали наказания, но какие-то невнятные. Я даже в раннем детстве днем не спал, поэтому я пошел после столовой к директору лагеря и попытался залупиться, но он не снизошел даже до карательных мер и соблаговолит пояснить, что «будучи впущенными в палату раньше времени пионеры там следят и пачкают». Такая логика мне была знакома из школы, и я ею удовлетворился, тем более, что разговаривать с директором, который во время беседы смотрел немного в сторону, было смутно неприятно. К тому же местные объяснили нам, что полчаса между едой и сном идут пионерам на пользу, если у них есть сигареты прима.

Небольшими смешанными группами мы ходили к воротам и сосали там приму. У меня в тумбочке был какой-то небольшой бюджет, которого хватало на то, чтобы покупать ее у местных посигаретно. На приме хорошо учиться курить, потому что надо очень сильно сосать, особенно если попадается сучок, от которого сигарета вдруг раскурочивается и тухнет. Когда я впоследствии, уже в Киеве, находил на трамвайной остановке пахучий сантиметровый бычок сигареты с фильтром, я умел обойтись с ним непринужденно, и, пока не начинал плавиться поролон, казался себе героем Ремарка.

После курения мы возвращались в палату, тихо лежали на пружинах, иногда перешептывались и спрашивали у Арбуза — не обоссался ли он уже. Было нормально, никого ни разу не наказали. Через много (хотя, если взглянуть назад, то всего через несколько) лет одноклассница, с которой мы обменивались интимным опытом, рассказывала, что бывала в лагерях, где девочек за шумные нарушения тихого часа заставляли раздеться до трусов и держать на вытянутых руках подушку, сколько выдержат. Причем стоять надо было перед открытой дверью в палату мальчиков. Я не знаю, правда ли это, но слушал с интересом. Почему-то я представлял себе не девочек из еврейского отряда в таком дистрессе, а пионервожатую.

Самым главным событием смены был поход в лес, во время которого отряды смешивались, и все шумной гурьбой покидали территорию лагеря, директора и столовую, чтобы зайти вглубь леса на семь километров, растянуть на лужайке палатки, переночевать и прийти обратно на территорию лагеря. Почти все семь километров мы вместе с местными исполняли такую песню: *Мишка косолапый по лесу идет шишки собирает... аа-аа-аа косолапый долбоеб! Синий-синий ежик влез на провода током долбануло... аа-аа-аа нехуй лазить по столбам!*

В репертуар «Пинтеле» эта песня тоже не попала, хотя мы просили. В походе мы были счастливы, это было настоящим, живым хором. Леса под Полтавой красивые. Я шел и дружил с местным мальчиком тринадцати лет, которого звали, кажется, Семеном. У мальчиков были палатки на четверых, а девочки почему-то все должны были спать вместе в медицинской (санитарной?) палатке с красным крестом на сорок человек. Меня определили в палатку с Семеном и еще двумя местными. Эти двое были постарше, они меня отстранили и занялись вбиванием кольев, а Семен неожиданно для меня продолжил поход и скрылся в лесу. Пока я ходил по лужайке, наблюдая за пионерами, насвистывая про ежика и пошучивая, Семен успел вернуться из леса с трехлитровой банкой самогона и отвисшими карманами и влез в надежно растянутую палатку, где его ждали кореша. Мы посидели у костра до темноты; пионервожатые объяснили нам, что пока не догорел костер, мы можем на него ориентироваться, чтобы покакать в лесу и не заблудиться — и отослали спать. В моей палатке в глубокой луже блевоты, медленно колышущейся под слоем лужги, сидели, подрагивая, кореша и

смотрели так, что я решил инициативно переночевать в палатке у девочек, дождавшись, пока все заснут. У костра сидел пионервожатый с гитарой и что-то протяжно выл одной из младших девочек. Я побыл с ними, пока мне не стало ясно, что вожатому нет дела до того, где и с кем я собираюсь спать, и влез в «медицинскую палатку». Девочки лежали двумя рядами двойным слоем, голова к голове, и сопели. Я пишу об этом только потому, что мои ступни помнят маленькие девичьи головы; это важное воспоминание. Я был осторожен, но мои ноги скользили по скальпам, и девочки от этого пищали по-крысиному. Так я нескоро, но неожиданно долез до задней стенки, на которую лег и спал, наверно, часа два, пока не замерз совсем в лесной влаге, сочившейся сквозь брезент. Вожатый все еще сидел у пепелища с младшей девочкой, которая теперь была прикрыта сверху каким-то предметом мужской одежды. Он стал ко мне недружелюбно равнодушен, но на коряге перед углями было удобнее и теплее, чем на стенке палатки, и я сидел с ними, пока не рассвело, и пионеры не полезли из палаток на лужайку. Никто из них не интересовался, как мне спалось.

Когда мы вернулись в лагерь, то стали готовиться к какому-то сатирическому «представлению», которое должен был подготовить еврейский отряд (часть договоренности с руководством лагеря?), и для которого я придумал лозунг «костер сгорел, осталось пепелище». Больше я ничего не помню про это представление, но никого опять не наказали, и после него была дискотека. В преддверии вожденной дискотеки с ласковым маем и светкой соколовой образовались парочки, чему способствовало появление эксгибициониста (хотя я подозреваю, что он там был еще с первой смены, если он вообще был), и наша попытка намазать девочек. Девочки стали рассказывать, что какой-то мудака маячит в форточке банного барака, а потом поджидает у забора, потрясывая гениталиями, когда девочки приходят к забору за банным бараком — пожуричь его за подглядывание. Эти истории заканчивались просьбой выломать из пожарного щита топор и прийти к девочкам на защиту. Рассказы о форточке нас живо интересовали, но мы не знали, как справиться со злодеем, на которого девочки смотрят за банным бараком. Мы в страшном секрете назначили время мазать и как следует нагрели в яйцах зубную пасту, встали по будильнику в два часа ночи, прилезли к девочкам в палату и распределились по кроватям жертв. Те не спали и приняли нас радушно. Намазать кого-то успел только Арбуз.

66

Девочки объявили, что чувствуют себя защищенными, мы отложили па-сту и мирно спали парами, пока нас не погнала пионервожатая, которую ничего не удивляло.

Девочку, которую я не намазал, звали, как я думал, Люда, но на дискотеке, когда мне сказали «представьте свою партнершу», оказалось, что ее звали Света. Наши отношения не сложились. Громкоговоритель сообщил, что сейчас я выберу для нее сувенир из кулька с пластмассовым набором «Чапаев», и я достал оттуда большой персик, который пионервожатая, ма-терьясь, сразу забрала, а Света сказала, что солдатики ей не нужны, спасибо. Потом под пение Юры Шатунова нужно было унести ее с площадки, и я упал, а она, покалечив меня, совсем обиделась, так что мы потом даже на хоре больше не общались.

Сейчас я понимаю, что все описанные события можно было бы уложить в три-четыре дня, и вспоминаю, что все остальное время было просто невыносимо скучно, хотя тоски по дому, которая должна была меня снестать, я в себе не обнаружил. Сложные отношения с местным населением и с девочками, предвосхищение сладостного послеобеденного посасывания примы, ежедневные медитации и сенсорная депривация на пружинах в двухчасовой тихий час, рассказы о сексуальных перверсиях и несчастных случаях с антифризом — все это как-то наполняло и воодушевляло.

Я привез из лагеря в родные панельки: завязанную на поясе клетчатую рубашку, которую выменял на что-то у нашего гитариста, умение играть на гитаре аккорды ля минор и ре минор, задорные песни о животных и мысли о теплых ночных девочках — и собирал некоторое время на трамвайных остановках бычки. Родители возмутились, я остался доволен.

В израильском интернате жизнь была гораздо интереснее, и провел я там полтора года, но жизненный опыт, похоже, любит не интенсивность и длительность, а новшество и свежесть. Воспоминания, в которых я не уверен, я не стал записывать; не могу поручиться, что наша преподавательница в хоре была болезненная и носила шаль, а гитарист косил; возможно, я их путаю не то с мамашей близнецов, а не то с учителями музыки из интерната, Борисом и Людой, что ли, или Светой.

Секрет жирного кофе

Приготавливая второй кофе, я смотрю в кухонное окно. Оно выходит на задний двор. Там стоит пластмассовая педальная машина мрачной расцветки (речь о ней здесь идти не будет), сарай, грубо раскрашенный под кирпич, кирпичная ограда, под которую должен подстраиваться сарай, большая радостная береза, дом с балконом.

В доме с балконом, возможно, живет унылая долговязая женщина. Ее эманация выходит на балкон шупать растеньица и большую часть времени проводит, судя по всему, на корточках — в невидимости. Потом она поднимается с корточек и сливается со своим отражением в стекле балконной двери, уничтожаясь и обновляясь.

Сегодня на балконе появилось мужское начало с длинным фотоаппаратом. Манифестация долговязой женщины во время его возникновения находилась в необычном положении, не совсем вертикальном, но и не на корточках. Вероятно, под ней был стул. Ее взгляд, вопреки обыкновению, не окунался, как лейка, в цветочные горшки, а был прикован к верхним ярусам радостной березы. Это, скорее всего, и обусловило возникновение мужчины в мускулистой березовой майке. Мужчина был явно обуян и кивал на свой фотоаппарат, как зашкаленный осциллограф, щелкая рычажками. Потом он стал заслонять себе вид на березу фотоаппаратом и от этого мелочно разочаровываться.

Я стал подозревать, что с березой происходит что-нибудь знаковое, и отвлекся от двойной сущности на балконе. Но береза, по своему обыкновению, только вертела миллионом ладошек, как индийская плясунья, и беспечно разбрызгивала солнечную пятницу на всю кирпичную и черепичную. Поскольку мужчина с техническим предметом продолжал, не унимаясь, совершать свои движения как пиксельный каратека, я смотрел вглубь сверкающей кроны, пока на моих глазах в верхней части габитуса не вырос неясный черный силуэт — нечто вроде кирзового сапога. Когда я его сморгнул, мужчина перегрузился в исходное положение неприсутствия, кофеварка стала громко плевать мне в спину, а женщина сложила то, что под ней было, в портативное состояние и, сутулясь, засуетилась над горшками.

Сделав ход кофеваркой, я позволил своему взгляду попрыгать по крыше сарая. Там он в разное время встречался и общался с белками, с дроздом и с цаплей.

Дрозд на крыше сарая бывает так часто, что я почти уверен, что он там и сейчас. Обычно он спускается в водосточный желоб и проводит там долгие часы, разгребая опаль. Я не нашел тринадцати способов на него смотреть. Может быть, два, но они оба не исключают солидной продолжительности.

Белки лишь ходят мимо, со звериным постоянством. Иногда они приносят еду и жрут ее, приостановившись. Но ничего не указывает на то, что крыша сарая перед окном моей кухни имеет для них значение определенного места, как, например, школьная курилка, или «наше место» в городском пространстве, где встречаются любовники и шпионы. Как раз наоборот, когда они отвлекаются от своей еды, то смотрят вокруг с таким видом, как будто не понимают, что можно в полном смысле находиться там, где они оказались. Тогда они галопом убегают. В отличие от дрозда, который, в силу водостока, даже не совсем птица, но ему недоступен галоп.

42

Только однажды около семи утра я видел на крыше сарая цаплю. Когда она грузно опустилась на сарай, я стоял с булочкой в руке и почувствовал, как подо мной немного приподнялся пол. Цапля с усилием повернула тело вместе с крышей, березой и всеми кирпичами вокруг своей шеи, чтобы посмотреть в мое кухонное окно, помыслила меня и вернула все на место. Пока я искал утерянную самостоятельность и пытался, не пользуясь разумом, найти место для булочки, цапля осторожной поступью спустилась с крыши в недостижимую для взгляда сторону с видом нисходящего по гхату.

Мне кажется порою, что дрозд, белки и цапля должны что-то обозначать, например, вежи или ступени. Но крыша сарая перед моим окном существенно ниже балкона, с которого мужчина с фотоаппаратом и женщина со складным стулом видят верхнюю четверть березы. Кофе получается заметно лучше, если кофеварку не оставлять надолго в раскрученном состоянии. Это как-то связано с давлением, я думаю. Кофейный жир, возможно, способствует сохранению плотности в скрутке. Крепкость камней и качество сварки.

Про ноги и про красную звезду

Дочка пошла к маме, а я нашел на полке для овощей пачку шоколадных печенек (которые она там спрятала («я сейчас разложу все покупки, папа, а потом пойдем смотреть документальный фильм про Универзум»)), и все съел. Папа, почему по-русски про всё говорят «спрячь» вместо «засунь» или «положи»? Нет, штекен и ферштекен — разные слова, папа. Печеньки, значит, были засунуты между картошкой и луком. Говорят, картошку и лук нельзя класть вместе, потому что они сгнивают быстрее. Я выкидываю картошку килограммами. Продукты для непришедших гостей, из холодильника в мусорное ведро, хоть какое, смесь пластика и поганой органики.

Документальные фильмы про универзум я уже не могу смотреть, меня никогда не интересовали черные дыры и излишки стереометрии. Я теряю ориентацию в городе после двух поворотов, если улица хоть немного искривлена. В городе Карлсруэ, где центр построен веером, чтобы отовсюду был виден шлосс, я уехал на велосипеде на автобан и оттуда чуть ли не в Маннхайм, потому что пропустил поворот на Карлштрассе. В заднее колесо велосипеда под прямым углом упиралось гнутое крыло, и на его кручение уходило много сил. Фонари попадались редко, я потел в темноте под дождем, сипел и думал: надо смазать. А в универзуме все радиальное и сферическое даже до Эйнштейна, и ведущие все время рассказывают, что космонавты при подлете к черным дырам превращаются в лапшу. На экране при этом показывают что-то вроде лучистого йо-йо, а вокруг летает хороводом лапша в скафандрах. Ехать по автобану на велосипеде было страшно.

В последнем фильме ведущая была одета в костюм космонавта, стилизованный под садо-мазо, и у нее на шее была массивная цепь с большим куском черной кожи под подбородком. Всякий раз, заканчивая объяснять про черные дыры, она разворачивалась и уходила на каблуках в космос, покачивая бедрами. На этот процесс не жалели экранного времени; возможно, она должна была превратиться в лапшу. Мы, правда, не досмотрели. Там сто одиннадцать минут, дочке надо было спать идти. Может, профессор-астрофизик в комбинезоне из фильма добралась в конце концов до черной дыры.

А я тоже ушел спать, но не заснул. Небо было довольно ясное, и мне в лицо светила фонарем яркая звезда над домом напротив. Больше никаких звезд видно не было, потому что дома до сих пор увешаны рождественским светомусором. Поэтому я думал сначала, что это самолет или что-нибудь другое летит. Ветер гнал по небу какие-то местные миазмы, отчего звезда моргала и плыла. Но я так лежал и смотрел очень долго, и она не ушла почти. Примерно в сорок три с половиной года у меня стали очень мерзнуть ноги, хоть их три одну о другую, хоть шевели пальцами и царапай ногтями, хоть лежи часами под теплым одеялом. Я стал прикидывать направление и сосчитал, что звезда точно на юге. Тогда я решил, что это не звезда, а планета Венера, стал думать про любовь и заснул.

На следующий день, когда дочка ушла к маме, я наелся печенек и понял на спаде сил, что это не Венера. Я положил в ноги грелку (это не помогает), и воспользовался компасом. Звезда оказалась точно на востоке. Я стал искать в телефоне астрономическую справку. Я лежал в темноте с телефоном и холодными ногами и с моим собственным синим лицом в стекле окна вплавь. Если бы я не добился ясности, это напоминало бы морт. У меня в спальне около 15 градусов, я никогда не включаю батарею и не закрываю окно. Оно слегка откинута, и, если включить в темноте телефон, то в окне плавают мое лицо. Я этого тоже никогда не делаю. Папа, а как ты думаешь, я буду астрофизиком? спрашивает дочка. Она произносит слово «астрофизик», нарочито окая, будто она с Поволжья.

Небесные тела в интернете связаны с градусами и минутами и временами года. Венера зимой связана с неправильными минутами, а звезда над моей кроватью оказалась Арктуром в созвездии Волопаса. Если сощуриться, то можно действительно разглядеть какую-то другую точку света там, где нарисовано в телефоне — недалеко. Больше ничего не видно. Арктур над домом со сплетенным из оранжевой гирлянды оленем, а другая точка над домом с красным стереометрическим телом, которое в христианской традиции обозначает звезду, или планету, или комету. Их на балконе несколько вариантов.

Я позвонил дочке и сказал, что у меня есть сообщения на тему астрономии и на тему гастрономии. Начни с гастрономии, сказала она. Я съел все твои

печеньки. А астрономия что? У меня прямо над домом напротив висит звезда Арктур. Ей семь или восемь миллиардов лет, и она примерно как наше солнце, но в двадцать пять раз больше. У нее все стгорело внутри, и она стала расплзаться и краснеть, и поэтому мне ее так хорошо видно прямо из кровати. Сфотографируй, сказала дочка. Я пошел вовремя спать, и лежал с синим лицом и холодными ногами и смотрел, как надо мной расплзается звезда, и сфотографировал ее из кровати такой, какой она была 37 лет назад, когда у меня ноги согревались под одеялом за считанные минуты, потому что были близко к сердцу.

Йоргос

Автобус неожиданно поворачивает налево и злорадным симплексом сообщает, что следовать далее всем нужно другими видами транспорта. Немного покашляв, он уточняет: убан, эсбан и кому там чо к вашим услугам. Какая-то женщина панически выдыхает мне в лицо — это конечная! Все выходят, сплоченные взаимной неприязнью, и распределяются. Я останавливаюсь перед входом в убан: я настолько явно представляю себе каждый свой шаг отсюда и до вагона, что мне совсем не нужно туда идти. Со стороны перекрытой улицы доносится улюлюканье. Из автобуса, попихиваемый невидимым шофером, выгружается жилистый старик с чемоданом-тролли. Из-за медицинской маски на нижней челюсти он выглядит раненым в лицо и сопит в два пучка, громче издыхающего автобуса. Спустив багаж на тротуар, он застывает. Водитель, шаря клешней в нагрудном кармане, перелезает через его чемодан. «Иди, дед, давай, — говорит он, — в метро». Старик влажно пыхтит и вертится, перекладывая ручку чемодана из руки в руку. У него невероятно светлые глаза, голубые, как маска, но гораздо чище. Он ждет моего вопроса.

«Куда Вам нужно?» — спрашиваю я, насмотревшись. «Бюлоштресе, — отвечает он, — а что это, автобус?» Я начинаю вертеться. «Это седьмая линия — говорит он, — Бюлоштресе Йоркштресе». Я никак не соображу маршрут. Дед повторяет: Йоркштресе, Йоркштресе, на его кустистом носу появляется большая прозрачная капля с огромным перекрестком, чередой автобусов, курящими шоферами, темной дырой убана, загадочно и зловеще растекающимися толпами. «Вам лучше на эс, — говорю я, — пойдемте». — «Я каменотес, — говорит старик с нажимом, — я строил». Он

показывает на станцию метро. «Я пойду с Вами, — отвечаю я, — идемте». Он соглашается, и мы идем вместе на светофор. Чемодан, который прыгает за нами, похоже, совершенно пуст.

На переходе я замечаю, что старик держит меня за рукав, разглядывая мое лицо, как старую фотографию. У фалафельной «Займ» через дорогу стоит, как обычно, очередь, сбивая с толку пожилых посетителей аптеки на углу. Потная щетина мечет из амбразуры «Займа» алюминиевые цилиндры, но очередь немедленно пополняется оголодавшими горожанами. «Нам туда», — делаю ладонью карпа, оплывающего голодных и больных, пытаюсь отвлечь старика от моей скулы. «Каменотес, — отвечает он, — много лет, я тут строил, седьмая линия». — «Тут девятая, — говорю я невнятно, — а откуда Вы приехали?» — «Много лет, — останавливается он, качнув кашлей. — Из Греции». Теперь он панически ищет что-то во всех карманах одной рукой, не отпуская ручки чемодана. Задаю идиотический вопрос про семью: дедова рука выполняет наконец из-под куртки, сжимая пачку салфеток. Даже не попытавшись ее раскрыть, он утирает нос целлофаном и начинает говорить о семье. Я не понимаю ни слова из того, что он говорит, кроме постепенно усложняющихся степеней родства и слова «шайссе», которым они переложены.

46

Он расходится и брызгает слюной уже не только на меня, поэтому теперь я беру его за локоть и веду в сторону сияющего на пригорке круглого павильона над станцией электрички. Ходьба утихомиривает его. Он становится похож на византийскую старушку с подвязанным подбородком и говорит смиренно и радостно: «Здесь они все. Меня Йоргос зовут». — «Фриденау, Шенеберг, Юлиус-Лебер-Брюке, Йоркштрассе, — говорю я. — Видите вон то здание?» — «Я просто буду смотреть на табло, — отвечает он, доставая опять салфетки левой рукой из правого заднего кармана джинсов и утираясь целлофаном, — дождусь Йоркштрассе и пойду». — «Да, — говорю я. — До свидания, Йоргос». Он стоит рядом с пустым чемоданом, шуря небесно-голубые глаза, под носом дрожит в солнечном луче прозрачная капля, и когда я в последний раз оборачиваюсь, прежде чем скрыться из виду, его резкий, неподвижный силуэт все еще маячит у входа в павильон.

Мама!

Лелюша, я хотела бы рассказать тебе о солнце, но ты не велела про солнце. Я бы только и повторяла — солнце, солнце. Но когда ты велела мне вспоминать и записывать, ты говорила, что нельзя называть то, о чем я собираюсь рассказать, иначе не получится интриги, т. е. не так интересно. Тогда пусть это рассказ о чем-то другом, а я буду называть и называть: солнце.

Во сне пришло ощущение: сейчас я могу написать идеальный эмигрантский роман. Фразы сами вываливались из меня. Первая фраза была о том, как я забыла свою куртку на клюшке для гольфа, на специальной сумке для клюшек для гольфа, и вот теперь куртка в восьмистах километрах от меня...

Через несколько страниц у эмигранта обязательно появятся Сталин и бабушка (во имя Святой Троицы — Отца, Бабки и Spiritus Libertatis), а беженец (так или иначе беженец, даже если он выехал десять лет назад) станет жаловаться на бытовые условия для его дорогих кошек: неважно, где они сейчас, в половецкой степи или в гор. Дортмунд, Северный Рейн-Вестфалия. Первый должен всем — тем и горд. Второму — должны все (грешно клеветать в нынешней ситуации, потому умолкаю). А все-таки. Спектр вариантов для продолжения.

О нем я писала тебе не так много. Он всегда в моей памяти. Он очень отличался ото всех, кого я знала. Это Ярик. Высокий, красивый, чуть угловатый, с копной солнечных волос, карими глазами. Он ни разу не сказал мне не только о любви, но даже о том, что я ему нравлюсь. Он просто помогал во всем — устроил на хорошо оплачиваемую работу, работал за меня в виварии, появлялся всегда рядом в трудные минуты, отвозил в Дедовск вместо меня пробирки, ездил в Дедовск всегда со мной, если меня посылали отвезти туда или привезти оттуда какой-нибудь материал. Когда заканчивали серию опытов, здоровых кроликов, которых умерщвляли для сравнения с зараженными, раздавали сотрудникам. И я могла получить такого. Ярик везде возил меня на мотоцикле, пока я не подружилась с Гришей. Папа, твой дедушка, ценил его.

Оценил бы дед мой роман? Чего бы я ни сочиняла, рано и поздно появляется дед... Ну а что дед? Он мастер был по металлу. Чтобы наладить

незнакомый агрегат, ему даже мануал был не нужен. Раньше говорили — инструкция. После войны целые вагоны техники забирали в качестве репараций. А инструкции — на немецком. Или их не было вовсе. Дед знал несколько слов, особенно таких, что вошли в технический обиход: шерхебель, к примеру. Или раппорт. Но в инструкциях не нуждался. Соседи обращались, если надо было залудить, заклепать, согнуть из жести. Он накрывал крышу общему колодцу — а сруб ставил Орлов. Дед взял синенькую, Орлов — фиолетовую. Но после пришел к деду и дал ему красенькую. Дед уважал Орлова, Орлов деда ценил — и, наверное, любил по-своему. Он был из кулаков, из сосланных. Когда вернулся, взял участок, где хотели вырыть пруд и выбирали оттуда землю. Таскал из леса стволы, мелиорация, говорил дед, возил землю машинами (откуда деньги, спрашивала бабушка), зимой, рассказывал дед, сторожил в колхозе коровники, чистил их и возил на телеге коровяк. После поставил дом небывалой красоты. Не крупный, кофейного цвета, он имел крышу чуть более острую, чем наши прямые углы, и сам собой взмывал в небо. Штакетник был тонким, прозрачным, каким-то резным. Я боялась гулять мимо, мне казалось, что красота эта запретна, он был кудесник, а кудесники в те времена могли быть только недобрыми. Как, впрочем, всегда — реальные кудесники, не из книг или фильмов. Он помогал деду поднимать дом, чтобы поставить на столбы, отлитые из цемента с песком в старые ведра. Работал крепко, потом садился на веранде и выпивал две рюмки водки — знал меру. Бабушка открывала шпроты, нарезала сыр. Дед начинал потихоньку напевать: «Ой, тушки-татушки-татушки-тату... Три-татушки-татушки-татушки-тату...» Я танцевала, как умела, поводя ручками — то поднимая глаза к заклеенному белой бумагой потолку, то опуская их в крашенный суриком пол. Орлов хлопал в сдержанном восхищении. Дед мной гордился. Что предъявлю сегодня, чтобы мной загордились?

Однажды меня послали в Дедовск отвезти документы. Их должны были подписать, и я должна была вернуться в институт. Там произошла какая-то заминка с подписью, и меня отпустили погулять часа на три. Ярик тут как тут. Уговорил поехать, не помню только — куда, но помню — чтобы посмотреть потрясающей красоты место. «Его мало кто знает», — сказал. Мы поехали. Со мной хорошо было ездить, я как сяду и всё, даже за спину не хваталась, не кричала и не визжала, как другие. Помню прекрасно, какая была красивая дорога — часть по шоссе, затем проселочная дорога, затем

лесом. Действительно сказка. Ездить с Яриком по лесу — счастье. Едешь, он видит грибы, ягоды, цветы — мы всё это собирали.

Часа через полтора действительно оказались в сказочном месте: заросшее старинное озеро с лилиями и камышами. С другой стороны — развалины старого дома (Ярик называл его именем). Дом был полностью разрушен, но оставался остов, часть колонн, где-то даже крыша, ступеньки, часть стены. Все затянуло травой, цветами. Вокруг кусты малины. Конечно, я была поражена. Наелись ягод, бродили по старому зданию, пошли на озеро, Ярка нарвал кувшинок, камышей. Это было прекрасно. Где-то вдалеке что-то ухнуло, словно большая лягушка прыгнула в карьер. Мне казалось, что вот-вот скажет Ярик что-нибудь «эдакое» — ласковое. Но нет. Надо было возвращаться.

Этих лишают права, у тех отбирают привилегии. Таскать повсюду блошного кошака с циститом — чье-то неотъемлемое право, привезти к себе мать восьмидесяти лет от роду — это, разумеется, привилегия (для нее, для матери-то). Эко я с цепи сорвалась. Но я лишь о тех, кто на моем берегу Стикса. Когда пишу подруге (а могут ли вообще дружить люди по разные стороны этой реки?) — туда — через реку — то, в общем, — в общем...

Потом снилось, как Тимофей, бородатый, в сером кучерском армяке (так, кажется?) отвез меня на телеге к Октябрьской площади, там привязал лошадь поводьями к колонне у входа в метро и за локоток повел через проспект в шашлычную, оформленную в стиле избы-читальни, немного а-ля рюс и немного под «Букинисты» восьмидесятых, которая оказалась входом в Ленинскую библиотеку. Еще в телеге, лежа на соломе, я спрашивала его, когда он научился водить лошадь? «Как раз в середине», — отвечал он. — «Что значит — середина?» — «Это такой возраст, когда уже не начинают чему-либо учиться: играть на скрипке, кататься на коньках...» — «Ничего, — подытожила я, — скоро бензины кончатся и у всех наступит лошадиная середина...»

Стало быть. Устроила себе выходной. К черту буквы, к дьяволу кнопки. Свобода — личное дело каждого. Я так и думала, пока они не решили заняться моей личной свободой. Сама себе либераст, эмигрант и беженец. Театр одной актрисы, коли на то пошло. Бегу, из окружающей условности эмигрируя в мой собственный мир, где я вольна по-настоящему, а те, снаружи, могут хоть гребануться, хоть сдохнуть. Там преодолеваю любые расстояния, любые границы, как в детстве, в котором не было границ,

поскольку я о них не знала. Просто мой мир без границ был гораздо уже нынешнего, а за его пределами не было ничего. Черно и пусто. В нем я по-прежнему мчусь, зажатая между родителями на мотоциклетном седле, в красном комбинезончике с несмываемыми пятнами черники. Дед шутит, мол, запрещено, но я маленькая и никому не видна.

Ни плохим, ни, слава тебе господи, хорошим.

...Иногда кажется, что нужно допросить лес.

Его сиреневая стена в прямом смысле расколется, и я увижу маленькую себя, и мы увидим маленькую меня на фоне белых березовых прожилок в сизой массе осиновых и ольховых стволов, и все будут оправданы.

Выехали на шоссе, остановили менты. «Где были? где рвали? документы! — очень строго сказали они. — Зачем ездили на старое имение?» (откуда узнали?!). Ярик не растерялся, говорил с ними спокойно, но вдруг выяснилось, что сумка с документами — в Дедовске. «А что ж вы, не знали, что туда нельзя, не видели знака, не видели, что озеро загорожено проволокой?!» — «Ничего не видели, — ответил Ярик. — Там, где мы были, и нет ничего», — Но, конечно, голос его был уже не столь уверен, документов-то ведь нету. Меня посадили в коляску ментовского мотоцикла. Ярик поехал на своем. Я жутко испугалась. Приехали в отделение. Нас сначала всё расспрашивали — что, зачем, почему. Ярик сказал, мол, приехали из Москвы, просто погулять, и заехали в лес, случайно именно сюда. Очень понравилось, гуляли. А вот как могло случиться, что забыли документы, не знаю. Кругом были нестыковки. Без документов, без вещей, без еды? Короче, нас усадили за решетку. «Что было со мной?» — плохо помню. Меня поддерживало только Яркино спокойствие. Это было не отделение милиции (как мне показалось сначала), а просто милицейский пост. Ментов было двое — да двое тех, что привезли нас. Долго о чем-то совещались. Те, что нас привезли, уехали, два других остались, писали какие-то бумажки. Ярик говорил все время, чтобы я не расстраивалась, он что-нибудь придумает. Он велел мне попроситься в туалет и посмотреть, где стоит наш мотоцикл, и есть ли еще транспорт. Сейчас смешно, но тогда было мне страшно. Ярик же стал рассказывать о моих заслугах «перед отечеством», «перед нашими ребятами».

Враки. Не мчусь никуда. Не помню почти ничего. Сполохи непонятного света, не то прогалы в лесу, не то березняк без конца и без края, не то белый

речной песок — зарницами в безоблачном небе, только зарница без звука, а я все время слышу стук мотора красной «Явы», предмета гордости, обожания моего отца, я совершенно не задумывалась, откуда явилось к нам это чудо, собственно, лишь сегодня подобные темы возникают в моей голове, но пока я носила красный комбинезон в фиолетовых пятнах, то естественным образом могла задумываться о природе явления мандаринов под Новый год, никак не мотоцикла, предмета зависти друзей моего отца (и друзей матери — прежде всего, матери, как я нынче понимаю), Юрки, Ярки, второго Юрки, остальных я не знала, жизнь как солнечные зайцы в траве, мерцание.

И к черту!

Звук его мотоцикла я узнавала за три улицы. А когда он начинал — дыр-дыр-дыр — пинать ногой рычаг вниз, на большом металлическом пузыре, чтобы мотоцикл наконец завелся... Он был самым бедным из всех из них, как я нынче понимаю, немного им всем чужеватым, но первая «Ява» досталась именно ему; я считала, она упала с неба, как и мой комбинезон и моя красная шапочка, красные вещи всегда падают с синего неба среди белого дня.

Вспоминал, как «мужественно» стояла на шухере, когда они лазили в сады за яблоками, клубникой, как ходила с ними по чердакам, воодушевляла их в драках с «плохими» и т. д. Все это он говорил, чтобы «поднять мой дух». А надо мне было пойти в туалет (находился недалеко от поста), по дороге все-все запомнить и после рассказать ему. Если вдруг увижу проволоку, то незаметно подобрать и спрятать под платье. Я выполнила все в точности. На дворе стоял только наш мотоцикл. Менты в комнате чем-то заняты. Другого транспорта, кроме велосипеда, нет. Забыла сказать, что у меня был такой занюханный, такой перепуганный вид, что в туалет меня отпустили по первой просьбе. До туалета шла, не чуя под собой ног. Крутом оглядывалась — нет ли проволоки, но ее не было. Была жутко расстроена. На обратном пути шла быстро, т. к. в туалете мне пришла в голову мысль вытащить содержимое кожаной сумки из-под сиденья мотоцикла. За мной никто не следил. Видимо, такая ничтожность, как я, не представляла опасности. Легко, проходя мимо мотоцикла, вытащила что-то, завернутое в тряпку, и — быстро в трусы. Как дошла — не помню — до комнаты, где нас держали, «обезьянник» — называл его Ярик. Ярка был в восторге. В свертке перочинный нож, тряпки и проволока. Было что-то еще, маленькое, не помню и не поняла, но Ярик сказал: это — то, что надо. Потом пошел писать

и смотреть Ярик, его провожал мент. То, что я принесла, Ярик на всякий случай унес с собой. Слышала, как мент кричал: «Ты что там, обоссался что ли, давай выходи!» Ярик вернулся счастливый. Уже темнело. Менты сказали, что скоро приедут те двое, что нас поймали, и отвезут нас в город.

Хорошее слово — вкормить. Бабушка постоянно пыталась в меня что-то вкормить. Но я не поддавалась, росла худенькой, как одуванчик. Мы с братом махались желтыми одуванчиками как мечами — у кого первого отвалится головка. Брат называл боевой одуванчик «рубалюком». Надо взять рубалюк и отрубить себе прошлое. Обезглавить в нем одуванчики, все до одного.

52 Пытаюсь представить себе, как она идет из туалета. Какой был туалет — с дыркой в полу? С металлическим унитазом? С чугунным бачком и свисающей с самого потолка цепочкой? Помню такие. В зубах доска, в глазах тоска, дверь на крючок — тоже помню. Фото в панамке, года четыре мне, наверное, трудно сказать, сижу на горшке. Сделай солнышко, говорили мне, я улыбалась солнышком. Вот что еще помню. Удары молота на авиационном заводе километрах в десяти от дома — далекие и глухие, один за другим, бух, бух. За лесом проходила дорога, ее называли бетонкой, не знаю уж, почему. Движение по ней было оживленным. Когда ветер дул в нашу сторону, казалось — прямо за калиткой идут тяжелые грузовики. Такое несовпадение слышимости с расстоянием волновало меня и тревожило. А бой молота, напротив, успокаивал. Он бил ночью и днем, около полуночи и примерно в полдень, когда все остальное будто затаивалось, то от усталости, то от жары. От удара до удара проходило, наверно, полминуты, может, меньше, а может, больше. Может, и четверть часа. Время тогда текло по-другому. И можно было загадать, как на кукушку, какое «ку-ку» станет последним. Но если кукушкин голос был, как я это теперь объясняю, зыбким, то молот б́ухал, как жужжит шмель, надежно, правильно, ковал крыло или хвост к самолету, может быть, даже к военному. Никто не знал, к какому.

Я писала раньше, что Ярик умел все — чинил мотоциклы, собирал и ремонтировал холодильники, делал какие-то машины из примусов и т. п. Что он сделал, я не знаю, но он смог открыть одну створку окна, вылезти, вытащить меня, тихо отогнать мотоцикл в лес, там мы долго бежали, но мотоцикл не работал. Наконец, когда я уже заплакала, он посадил меня

на мотоцикл и бежал так — мотоцикл, на нем я. Только когда мы попали на какую-то дорогу, Ярик завел мотоцикл и погнал. Мы не ехали в Дедовск, мы ехали черт-те куда, ехали долго. Куда — я не помню. Притом помню — то по шоссе, то опять в лес, и всё дальше. Около магазина он остановился, купил мне булку и воды. Сам есть не стал и опять погнал. Ехали долго. Вернулись в Дедовск поздно ночью. Я думала, меня будут ругать, т. к. я должна была вернуться в Москву. Ярка оставил меня в приемной и убежал.

Про завод говорили — секретный. Про многое говорили «секретный», это значило — хороший, правильный. Дед работал в разных секретных местах, даже в воинских частях, он чинил для них оборудование. Военных часто ругал, обзывал дураками — не обзывал, он никогда никого не обзывал, только матерился порой про себя, чтобы никто не слышал, но я слышала и понимала: дураки.

Однажды он жаловался бабушке, «за грудки», повторял и повторял он, за грудки меня, чудно, он же не любил повторять, только в припевках. Он приносил оттуда красивые вещи, списанные, говорил он. Чуть сломанные, понимала я, дуракам не годные. А он их чинил. Особые линзы для микроскопа. Сам микроскоп однажды. И гироскоп. Подшипник от гироскопа, наверное, — так сейчас помню. Красивое толстое колесико из блестящего металла с точечками и полосками на боках крутилось вечно, если хорошо раскрутить. Я не умела, брат не очень, дед умел. Как оно крутилось! Я могу найти в Гугле, и тогда это был символ чего-то секретного, а вот что убило Яру, мне никак не найти, что-то там у них в институте, секретная вспышка чего-то (мышинная лихорадка?), кто ей потом рассказал о ней, Зорик, кажется, кто такой Зорик? Не видела его никогда.

Вернулся уже с документами. Сказал, что все уладил. После всего, что произошло, он надел на меня теплую кофту, повязал платок и сказал только: «Прости, пожалуйста! Но это должно быть нашей тайной. Никому ни слова. Даже Юрке с Гришкой». Эти слова помню по сей день. Что они значили? Чего даже он испугался?! Не могу понять. Никому ни словом не обмолвилась по сей день. Теперь, я думаю, уже можно. Мы ведь ничего не сделали. Гуляли, отдыхали, радовались жизни, сбежали от ментов — один «кайф». Почему молчать? За что спасибо? Я всегда была — могила. Ярик это знал, знали и другие ребята. За это и любили.

Да — одно воспоминание из самого счастливого времени в моей жизни...

Лет десять-одиннадцать мне было, когда я перестала туда ездить, может быть, раза два-три по неделе-две, или мне уже было двенадцать-тринадцать, и мы шли с дедом со станции полем, переходили шоссе, снова полем, он прихрамывал, и в его прихрамывании (не могу сказать — хромоте) уже крылось обещание исключительной надежности нашего совместного бытия, как если бы удар был нанесен и выдержан, госповерка пройдена (дед и его изделия легко проходили госповерку), а потом была калитка, с нее начинались Сады, я бы даже выписала ее с большой буквы — Калитка, с нее начинались сады Трехгорки, дед останавливался и выкуривал вторую папиросу, первую он выкуривал посреди поля между станцией и шоссе, а курить на ходу он не мог, так как обе руки у него обычно бывали заняты, а я мало чего несла, хотя была уже почти взрослой, могла бы, в принципе, держать и время от времени подавать ему в рот папиросу... Что-то меня уже томило тогда в наших садах, какая-то неопределенность, неразрешенность, чего я хотела там разрешить? Что-то девичье, очевидно. Туда-сюда — глядишь, и уже шестнадцать.

54

Эти секунды или минуты между молотом и молотом, этот разрыв, я долго после не умела назвать, ведь жизнь останавливалась, застывала, и неизвестно, будет ли следующий молот, таким важным казался тот звук, можно и так было ставить вопрос: доживу ли я до следующего молота? Конечно, подобный вопрос не стоял, вообще вопрос «доживу ли я» не ставился, были другие вопросы: не взорвется ли атомная бомба? не начнется ли цунами? — но те беды предполагались коллективными, в них я попадала вместе со всеми, с дедом, с бабушкой и с родителями, а молот был индивидуален, замирение целого мира сердце мое воспринимало как личный сигнал, отправленный ему одному.

Много, много лет спустя я услышала два слова — «смертная зона», так назвала наш экскурсовод «тодесштрайфен», т. н. полосу смерти вдоль Берлинской стены, в которую пограничникам позволялось свободно стрелять, а на той стороне она сказала Traufhöhe («тауфхое», расслышала я), не умея перевести, уровень свеса крыши ограничен правилом, и после войны не строили домов в четыре этажа — либо в три, либо в пять: уж если высота позволяла, застройщики всовывали под крышу все пять. В дырах, оставшихся от англичан, не сыщешь четырехэтажного дома, лишь по

соседству; не знаю, что перешелкнулось у меня в голове, но я вспомнила про свой когдатошный разрыв между молотами.

Однажды летом, в знак благотворительности ты, Лелюшенька, отвезла меня в Белопесок. Он хорошо, очень даже, восстановлен. Ходили кругом, красота... Но я — чудная, я ходила и видела один жуткий карьер, где бандюки брали песок и продавали в садах, ободранный Свято-Троицкий монастырь, грузовики... Сейчас ничего этого нет и в помине. Но чуть подальше, по берегу, где мелкая сухая трава, я четко увидела поляну с высокой густой зеленой колышущейся слегка от ветра травой с мелкими желтыми цветочками, яркое солнце, и увидела и услышала кузнечиков. Я на миг замерла, и все пропало. Вот это я — ровно на миг — увидела то, чего уже никогда не увидишь больше в нашем Подмосковье. Жаль, что редко так у нас случается.

В такой красоте мы тогда бродили, и нас поймали менты. А по поводу документов не помню, но знаю: порой свои самodelки они даже не ставили на учет.

Читаю книгу «Мураново» — и вся в начале двадцатого века, и вижу то, что и они видели, хотя мы там с тобой были зимой, и все было засыпано снегом, и висели таблички «Осторожно, здесь спят розы». И тогда я вижу кусты прекрасных роз разноцветных, но не здесь, не в Мураново, а там, в Межапарке, красивые большие пахнущие нежно розы.

Вот ведь я «с халимонинкой», любил говорить про меня папа. С халимонинкой, чуть с придурью, значит. Я тоже скучаю, и очень, я скучаю по Пресне, по Садам и по Межапарку, особенно по маме с папой. С «халимонинкой», говорили они, а и правда.

Вспомнила, мелкие желтенькие — «куриная слепота», всегда спрашивала, почему так, и чего только не говорили, но в рот не брала, росла послушная очень.

Он был хорош, Ярик. Ярка. Яра.

Нет тех заливных лугов с кваканьем лягушек.

Нет и самих лягушек.

Ромашек нет.

Сергей Завьялов

ПОРОГИ НА ВАНТЕ

1. *то было на Вантаанкоски шел дождик из дымных туч*

обо всем этом невозможно
(всего меньше себе)

.....

воздух: идти или ехать
(вверх с усилием
вниз без него)

.....

ни голоса́
ни другие человеческие проявления

2. *среди вдруг обнажившихся тел тускло светящихся в белой ночи*

все время в песочного цвета воде
(ничего)

.....

иней/снег
снег/иней

в паводок полегли камыши

3. *чтобы не провалиться держись за твои ступни*

глаза испуганно открыты
в них:

серая трава
черные листья
низкое небо

Sergej Sawjalow

DIE STROMSCHNELLEN DER VANTAA

1. *geschehen in Vantaankoski ein Regen fiel sacht und grau*

über dies alles kann ich kaum etwas
(mir vor allem nicht selbst)

.....

Luft schöpfen: laufen oder fahren
(hoch mit Mühe
runter mühelos)

.....

weder Stimmen
noch andere Spuren von Menschen weit und breit

2. *plötzlich schimmern entblöbte Leiber bleich in der sommerhellen Nacht*

die ganze Zeit im sandfarbenen Wasser
(nichts weiter)

.....

Reif – Schnee
dann Schnee – Reif

von der Flut geknickt das Schilf

3. *ich halte deine Füße um nicht zu versinken*

die Augen angstvoll geweitet:
darin

farbloses Gras
schwarze Blätter
tiefer Himmel

гранитная крошка в снегопады образует нечто
сравнимое с геологическими наслоениями

**4. помнишь я написал это осенью
сразу по приезде?**

на выкошенной
(но не убранный и потому чуть посеревшей)
траве

.....

ненадолго небо очистилось
(почему так ненадолго!)

.....

всего несколько фраз
ритмически ощутимых фигур

(риторических?)

.....

и еще угол преломления света
он неизменен

(надо сказать и все остальное не слишком)

**5. колесо спустило у моста Кулосаари
(но я продолжаю)**

цвет ряски затянувшей канал
рисунок древесной коры

.....

небо все еще (относительно) чисто

.....

яркое солнце
(хотя и низко и скоро зайдет)

der Granitsplitt formt bei Schneefällen
so etwas wie geologische Schichten

**4. *weißt du noch dies schrieb ich im Herbst
gleich nach der Ankunft?***

auf dem gemähten
(aber nicht eingebrachten und daher angegrauten)
Gras

.....

für kurze Zeit klarer Himmel
(warum denn so kurz!)

.....

nur ein paar Sätze
rhythmisch wahrnehmbare Figuren

(rhetorische?)

.....

und dann der Brechungswinkel des Lichts
er ist unverändert

(allerdings alles andere auch nicht zu sehr)

**5. *Reifenpanne an der Kulosaaribücke
(ich mache einfach weiter)***

die Farbe der Entengrütze die den Kanal bedeckt
die Musterung der Baumrinde

.....

der Himmel noch immer (vergleichsweise) klar

.....

grell die Sonne
(obwohl sie tief steht und schon bald verschwindet)

сильные запахи

.....

последний отсвет
на белой (церковной?!) стене

**6. *прошло еще некоторое время после чего
доктор сказал что я здоров***

но почему-то когда я вижу эти пустые зрачки
я ловлю себя на подсознательном желании
чтобы его кто-нибудь укокошил

.....

впрочем эта часть так и осталась неготова

**7. *хотел рассказать это Белле
а она умерла***

ветер
и полотнища с голубыми крестами

.....

и почему-то от этого
так тревожно

.....

да
еще говорят водопад теперь запускают
раз в неделю
и под музыку

**чухонец-то был справедливый
за дело полтину взял**

intensive Düfte

.....

letzter Widerschein
an einer weißen Mauer (einer Kirche?)

**6. *eine gewisse Zeit verging, und dann
teilte mir ein Arzt mit, dass ich gesund sei***

wie auch immer, sobald ich diese leeren Pupillen sehe
ertappe ich mich bei dem unwillkürlichen Wunsch
jemand möge ihn abmurksen

.....

übrigens ist dieser Teil unfertig geblieben

**7. *ich wollte es Bella erzählen
aber da starb sie***

Wind
und Fahnen mit blauen Kreuzen

.....

irgendwie wird einem davon
so unheimlich zumute

.....

und
es heißt sie machen den Wasserfall jetzt
jede Woche mal an
mit Musik

**der Eingeborene war reell
nahm einen Rubel dafür**

Перевела с русского Кристине Хенгефосс

Сергей Завьялов
МОКШЭРЗЯНЬ КИРЬГОВОНЬ
ГРАММАТАТ

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ МОРДВЫ-ЭРЗИ И МОРДВЫ-МОКШИ
(1997–1998)

№ 1

Брат мой
занесенный снега
окоченевший мороз
будто лишенный воздух холод
такой чужой страна
мы встретиться

и ни язык родной
ни какой общий оборот речь
ничего уже
ни даже память
проигранное сражение
родной очаг

но что же тогда
так заставляя одна болезнь больное
биться сердце

какой мордовский
удмуртский или зырянский бог
мы посетить

**Кодамо моро минь моратано?
Эрзянь морыне минь моратано.
Кодамо ёвтамо минь ёвтатано?
Эрзянь ёвтамо минь ёвтатано.**

*Какую песнь мы запоем?
Мордовскую песню мы запоем.
Какую повесть мы поведаем?
Мордовскую повесть мы поведаем.*

Sergejs Zvjajlovs
МОКШЭРЗЯНЬ КИРЬГОВОНЬ
ГРАММАТАТ

MORDVIEŠU-ERZJANU UN MORDVIEŠU-MOKŠU RAKSTI UZ BĒRZA TĀSS
(1997–1998)

№ 1

Brāl mans
sniegā ieputinātum
salā sastingum
kā aukstum bez gaisa
tik zeme sveš
mēs satikties

ne dzimtā mēle
ne kopus izloksne
nekād
pat ne atmiņa
zaudēta kauja
dzimtais pavard

bet kas gan
spiež tā vienā vainā sisties
sirgstošu sirdi

kāds mordōvu
udmurtu zirjanu die's
mēs meklēt

**Кодамо моро минь моратано?
Эрзянь морыне минь моратано.
Кодамо ёвтамо минь ёвтатано?
Эрзянь ёвтамо минь ёвтатано.**

*Kādu dziesmu mums dziedus teikt?
Mordovu dziesmu mums dziedus teikt.
Kādu teiksmu mums vēstīt?
Mordovu teiksmu vēstīt.*

69

Sergejs Zavjalovs

МОКШЭРЗЯНЬ КИРЬГОВОНЬ ГРАММАТАТ

MORDVIEŠU-ERZJANU UN MORDVIEŠU-MOKŠU RAKSTI UZ BĒRZA TĀSS
(1997–1998)

Nº 1

Brāl mans
sniegā ieputinātum
salā sastingum
kā aukstum bez gaisa
tik zeme sveš
mēs satikties

ne dzimtā mēle
ne kopus izloksne
nekād
pat ne atmiņa
zaudēta kauja
dzimtais pavard

bet kas gan
spiež tā vienā vainā sisties
sirgstošu sirdi

kāds mordōvu
udmurtu zirjanu die's
mēs meklēt

**Кодамо моро минь моратано?
Эрзянь морыне минь моратано.
Кодамо ёвтамо минь ёвтатано?
Эрзянь ёвтамо минь ёвтатано.**

*Kādu dziesmu mums dziedus teikt?
Mordovu dziesmu mums dziedus teikt.
Kādu teiksmu mums vēstīt?
Mordovu teiksmu vēstīt.*

Sergej Sawjalow MOKSCHERSJAN KIRGOVON GRAMMATAT

BIRKENRINDENTEXTE DER ERSJA- UND DER MOKSCHA-MORDWINEN
(1997–1998)

Nº 1

Bruder mein
schneeverweht
frosterstarr
als sei es luftentbehrte kälte
so entfremdet das land
wir treffan

und keine sprache vertraut
keine gemeinsame redensart
nichts mehr
nicht einmal erinnern
verlorene schlacht
heimischer herd

aber was dann
so zwingt nur krankheit das kranke
herz zu schlagen

welch mordwinischer
udmurtischer oder syrjanischer gott
wir besuohen

**Kodamo moro min moratano?
Ersjan moryne min moratano.
Kodamo jovtamo min jovtatano?
Ersjan jovtamo min jovtatano.**

*Welches lied stimmen wir an?
Ein mordwinisches lied stimmen wir an.
Welche erzählung bringen wir?
Eine mordwinische erzählung bringen wir.*

59

Nº 2

Was
 gott oder göttin
 den wein ich nicht bloustrar
 nicht hwispalon
 rasend
 gebet

damit er – sie
 so eivere
 so bispottere mich

so ist er gabe
 halten so dass du – sie die hand
 in dein ouga schouwen

wer also
 ich – sie – wir
 wie grausame gabe
 selbst das sanfteste
 selbst das sonnigste
 dich

**Litova tukschnos
 sisem viren tombalev
 sisem paksjan tovolov**

*Und Litova ist fort
 hinter sieben wäldern
 hinter sieben feldern*

Nº 3

/beim erhalt eines birkenrindentextes/

O Birke
 tochter Virjavs

welch verlangen
 welcher eifer
 welche kraft
 die baumgöttin gebet

№ 2

Какой
богиня или бог
я не возлить вино
не шептать
исступленно
молитва

чтоб он – она
так ревновать
так насмеяться над я

так вот он дар
держатъ чтоб ты – она своя рука
твой глаза заглядывать

так кто же
я – она – мы
как жестокий дар
даже самое нежное
даже самое солнечное
тебя

**Литова тукшность
сисем вирень томбалеv
сисем паксянь товолов**

*А Литова ушла
за семь лесов
за семь полей*

№ 3

/при получении берестяной грамоты/

О Береза
дочь Вирьава

какая жадность
какое рвение
какая сила
дерево богиня дать

№ 2

Какой
богиня или бог
я не возлить вино
не шептать
исступленно
молитва

чтоб он – она
так ревновать
так насмеяться над я

так вот он дар
держат чтоб ты – она своя рука
твой глаза заглядывать

так кто же
я – она – мы
как жестокий дар
даже самое нежное
даже самое солнечное
тебя

**Литова тукшность
сисем вирень томбалев
сисем паксянь товолов**

*А Литова ушла
за семь лесов
за семь полей*

№ 3

/при получении берестяной грамоты/

О Береза
дочь Вирьава

какая жадность
какое рвение
какая сила
дерево богиня дать

Nº 2

Kāda
dieviete vai dievs
es neielietum vīns
neprātā
nečukstētum
lūgšana

lai viņa – viņš
tā neatzīt
tā apsmiet mans es

tad re, šī velte
lai tu – viņa turēt savā rokā
tev acīs ielūkot

tad kas gan
es – viņa – mēs
kā cietsirdīga balva
pat vismaigāko
pat vissaulaināko
tevi

69

**Литова тукшность
сисем вирень томбалеv
сисем паксянь товолов**

*Bet Lītava ir prom
aiz septiņiem(i) mežiem(i)
aiz septiņiem(i) laukiem(i)*

Nº 3

/saņemot grāmatas uz bērzu tāss/

Ak Bērz
meža Mātei bērns

kāda alka
kāda tieksme
kāds spēks
koks dievība dot

lai savu maigi mizu
maigo tāsi tā glābāt – glābt

uz tas nav vieta
skūpstīt

cik tumsnējs viņš
ar tumšiem lāsumiem kā mats
tik ilgots un tik liegts

un uz tas
vārds kā maskavijas dziesma
kā pati dzīve
īss

Вирь кучканяса	паргу келуня
Прясонза морси	цинняй нармоння
Вай кува морай	сияк аварди
Чик-чирик-чирик	морай-кольгонди

<i>Kā meža vidū</i>	<i>bērziņš cirtainīts</i>
<i>Un tajā dzied</i>	<i>skanīgs putniņš sīks</i>
<i>Ak kā viņš gaviļē</i>	<i>bet sevī raud</i>
<i>Čik-čirik-čik</i>	<i>raud un sērojas</i>

Nº 4

/pazmoro. krītošu sniegpārslu buramvārdi/

ton marjat – vai dzirdi

kā viņas pieskar
taviem plakstiem
delnām tavām

kā viņas krit
pār mūsu bijušo mīlu karstajām lūpām
pie kājām mūsu bērniem
kurus bez asarām uzskatīt nevar

ton marjat – vai dzirdi

um so zu schützen – der borke
zarte schale

kein platz worauf er
chussan

wie ist er dunkel
mit tüpfeln als haare die schwarz
so ersehnt so gebogen

und darauf
das wort wie der Moskovieten lied
kurz
wie das leben selbst

Vir kutschkanjassa	pargu kelunja
Prjasonza morsi	zinnjaj narmonnja
Vaj kuwa moraj	sijak avardi
Tschik-tschirik-tschirik	moraj-kolgondi

<i>Wie in waldes mitte</i>	<i>ein krauses birklein</i>
<i>Und darauf singt</i>	<i>ein kehlstarkes vöglein</i>
<i>Ach es singt</i>	<i>und weint dabei</i>
<i>Tiri-tirili-tirili</i>	<i>weint es trauernd</i>

Nº 4

/pasmoro. beschwörung fallender schneeflocken/

ton marjat – hörst du

wie sie streifen
die lider dein
die hände dein

wie sie fallen
auf die heißen lippen unserer vergangenen lieben
unseren kindern zu füßen
die ohne tränen anzuschauen unmöglich ist

ton marjat – hörst du

um so zu schützen – der borke
zarte schale

kein platz worauf er
chussan

wie ist er dunkel
mit tüpfeln als haare die schwarz
so ersehnt so gebogen

und darauf
das wort wie der Moskovieten lied
kurz
wie das leben selbst

Vir kutschkanjassa	pargu kelunja
Prjasonza morsi	zinnjaj narmonnja
Vaj kuwa moraj	sijak avardi
Tschik-tschirik-tschirik	moraj-kolgondi

<i>Wie in waldes mitte</i>	<i>ein krauses birklein</i>
<i>Und darauf singt</i>	<i>ein kehlstarkes vöglein</i>
<i>Ach es singt</i>	<i>und weint dabei</i>
<i>Tiri-tirili-tirili</i>	<i>weint es trauernd</i>

72

Nº 4

/pasmoro. beschwörung fallender schneeflocken/

ton marjat – hörst du

wie sie streifen
die lider dein
die hände dein

wie sie fallen
auf die heißen lippen unserer vergangenen lieben
unseren kindern zu füßen
die ohne tränen anzuschauen unmöglich ist

ton marjat – hörst du

чтоб так беречь свой нежный
кожа – кора

нет места на он
поцеловать

какой он смуглый
с черной крапинки как волосы
желанно изогнутый

и на он
слово как московский песня
короткий
как сама жизнь

**Вирь кучканяса
Прясонза морси
Вай кува морай
Чик-чирик-чирик**

**паргу келуня
цинный нармоння
сияк аварди
морай-кольгонди**

*Как среди леса
А на ней поет
Ох поет она
Чик-чирик-чирик*

*кудрявая березонька
голосистая птичка
а сама плачет
плачет-горюет*

№ 4

/пазморо. заклинание падающих хлопьев снега/

тон марят – ты слышишь

как они касаются
век твоих
ладоней твоих

как они падают
на горячие губы наших прошлых любовьюй
под ноги нашим детям
на которых глядеть невозможно без слез

тон марят – ты слышишь

как они остаются
на дворах нашего детства
на могилах наших родных

на умершей траве
на полынье реки незамерзшей

никакие слова не сравнятся
с их молчаливым упорством
с их убежденным
с их неотвратимым паденьем

но сквозь эту липкую смерть
сквозь чавканье крови в сердечных сосудах
за тысячу верст

тон марят – ты слышишь

А телине телине телесь ульнесь якшанзо

А зима зима зима эта была холодная

74

№ 5

/авардема (плач). 1552 год. рассвет на Инсар-реке/

Теперь все больше Я
так больше что совсем

пустынно
голубой рассвет
и январский солнце
как-то что ли черный

Опускать
(в очередь)
меч руки
(потом)
копья глаза

(язык: он – забыть!)

kā tās klājas
pār mūsu bērības pagalmiem
uz mūsu tuvāko kapiem

pār mirušo zāli
neaizsalušas upes lāsmeni

nav vārdu kas līdzinās
viņu klusējošajam spītam
viņu apņēmīgajam
viņu neapturamam kritienam

caur šo ķepīgo nāvi
caur asins šļakstoņu sirds traukos
caur tūkstošiem verstu

ton marjat – vai dzirdi

А телине телине телесь ульнесь якшанзо

Bet ziema ziema ziema šī auksta bija

№ 5

/avardema (raudas). 1552. gads. Insaras-upe/

Nu arvien vairāk Es
tik vairāk ka gauži

vienatnīgi
gaišzila ausma
un janvār's saule
kāds varbūt melns

Nolaist
(pēc kārtas)
zobens rokas
(tad)
šķēpus acis

(valoda: tas – aizmirst!)

kā tās klājas
pār mūsu bērības pagalmiem
uz mūsu tuvāko kapiem

pār mirušo zāli
neaizsalušas upes lāsmeni

nav vārdu kas līdzinās
viņu klusējošajam spītam
viņu apņēmīgajam
viņu neapturamam kritienam

caur šo ķepīgo nāvi
caur asins šļakstoņu sirds traukos
caur tūkstošiem verstu

ton marjat – vai dzirdi

А телине телине телесь ульнесь якшанзо

Bet ziema ziema ziema šī auksta bija

76

№ 5

/avardema (raudas). 1552. gads. Insaras-upe/

Nu arvien vairāk Es
tik vairāk ka gauži

vienatnīgi
gaišzila ausma
un janvār's saule
kāds varbūt melns

Nolaist
(pēc kārtas)
zobens rokas
(tad)
šķēpus acis

(valoda: tas – aizmirst!)

wie sie sich legen
auf die höfe unserer kindheit
auf die gräber unserer ahnen

auf totes gras
ins eisloch des nicht zugefrorenen flusses

es gibt keine worte wie diese
zu ihrem stillen trotz
zu ihrer entschlossenheit
zu ihrem unaufhaltsamen fallen

aber durch diesen zähen tod
durch des blutes schmatzen in den herzgefäßen
über tausend werst

ton marjat – hörst du

A teline teline **teles ulnes jakschanso**

Und der winter, winter dieser winter war kalt



Nº 5

/avardema (klagelied). 1552. morgendämmerung am fluss Insar/

Nun immer mehr Ich
so viel mehr dass ganz

verlassen ist
die blaue morgendämmerung
und die januarsonne
irgendwie wohl schwarz

Sinken lassen
(aufeinanderfolgend)
schwert hände
(dann)
speer augen

(Sprache: sie – firge33an!)

Unter geht die sonne
brandstätte
(und falls wind weht)
stinkende asche

(also: auch das – firge33an!)

selbst das sanfteste
selbst das sonnigste

EINERLEI

*Fuhrwerke fuhr er ja zur Stadt Saransk
Grubengänge grub er ja unter den Fluss Saranka*

Перевела с русского Франциска Цверг

78

Солнце садиться
пепелище
(и если ветер)
смердящий прах

(так: и это – забыть!)

даже самое нежное
даже самое солнечное

ВСЁ

*Он подводы подводил да под Саранск-городок
Он подкопы подкопал да под Саранку-реку*

Солнце садиться
пепелище
(и если ветер)
смердящий прах

(так: и это – забыть!)

да же са мое не жное
да же са мое сол нечное

ВСЁ

*Он подводы подводил да под Саранск-городок
Он подкопы подкопал да под Саранку-реку*

67

Saule norietēt
krāsmatās
(un ja vējš)
dvako trūdi

(tā: to arī – aizmirst!)

pat vismaigāko
pat vissaulaināko

VISS

*Apkārt Saranskai pilsētiņai spēkus sasavilka
Pie Sarankas pie upes ierakumus sasarakā*

Перевела с русского Майра Асапе

Алексей Ивлёв КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

НИЧЕГО, КРОМЕ

Вот лето кончилось
как будто и во мне.
Природа губки мокрые надула
перед распадом хлорофилла на
разрозненные дневников страницы и
Несбывшееся...

Бешеные отпускные в прищуре пращура-истукана,
коты умываются всласть, пантокрином опившись,
одноногая женщина красит ресницы... –

Бог с тобой, говорю, Бог с тобой...

Замирание-точка в Реке Непутёвой,
северный веер-сентябрь...

. . .

Сколь же мало в списке твоём значит имя мое, зима!..
Секретное время года, имперсональный сезон.
Пейзаж на стекле оконном – цветущий сад иностранный,
а дырку продышишь – родина, континент
по горло в манне снотворной.
Лишь дыхание след оставляет на заиндевелом стекле.

Значит, слово должно быть равным выдоху,
а мир – остальному,
даже если высокоширотный мороз
раздирает легкие в кровь
при попытке его описать
не по уставу.

Так ты любовью растворяешь окно.
Откровенная ночь, будто снимок рентгеновский
и все видно насквозь, а думать
и не о чем вроде...

Aleksejs Ivļevs

KOMANDANTSTUNDA

NEKAS, VIENĪGI

Lūk, beidzās vasara
šķiet arī manī.
Daba uzmeta mitrās lūpiņas
vēl pirms sairis hlorofils uz
dienasgrāmatu lappusēm izjauktām un
Nenotikušo...

Trakais atvaļinājuma rublis samiedzas senča-totēma acīs,
runči laizās no visas sirds, kā pantokrīnu apdzērušies,
sieviete vienkāje krāso sev skropstas... –

Dievs ar tevi, saku, Dievs lai ar tevi...

Stinguma-punkts te Neveiksmes Upītē,
ziemeļu vēdeklis-septembris...

. . .

Cik gan maz tavā sarakstā nozīmes manam vārdam, ziema!...
Slepenā sezona, impersonāls gadalaiks.
Uz logu stikliem ainavas – aizjūras ziedoši dārzi,
bet elpas laukumiņš – virszeme dzimtā,
miegazāļu manna līdz kaklam.
Vien elpa spēj nosarmojušā stiklā mīt pēdas.

Tā tad vārdam ar izelpu ir jālidzinās,
bet pasaulei – visam
citam, pat ja arktisko platumu sals
līdz asinīm saplēstu plaušas,
mums mēģinot aprakstīt to
nenormēti.

Tā tu mīlestībā rauj vaļā logu.
Atklāta nakts, tīrais rentgenuzņēmums,
viss caurskatāms, tomēr domāt
it kā nav par ko...

Но отчего глядится в этот внешний мир
и что так ищется в его срамной изнанке
и в колбочку, до онемения пальцев, но –

поется.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

1

Музыка,
станешь ли перед зеркалом
в этот неутренний час,
отвернувшись от отражений,
грудь обнажая свою?
Ты отбилась от стада,
и пастыря нет,

и все явственней вой Труб Последних
в тупиковой блатной крутизне

и трели армейские – соловью
в сравненьи с колбасной дробью
соседей сверху

в бесконечном двенадцатом часу.

2

Трудолюбива весна – трупы зверей захлебнувшихся
половодьем свободы, праздником вил по воде
в зимы жировоске.
Выносливы наши потоки.

Чья ты сегодня, Музыка?
Нежное дно полноводной гитары
терзать тебе, выпрямитель-протез,
ложкой своей ледяной,

щебенкой цвета слоновой кости дорогу себе выстилая,
взлетным бетоном на крови уже ангелов,

Миксер Икс.

Tad kādēļ tā centrēties šajā ārpusaulē
un kas tiek meklēts tās kauna oderē
un kolbiņā, līdz pirkstu tirpšanai, taču –

top dziesma.

KOMANDANTSTUNDA

1.

Mūzika,
vai gan stāsies pret spoguļi
neausmas stundā
šai no atspīdumiem patālajā,
atkailinot krūtis?
No bara noklīdušai
nav taisnā gana,

un Pastarās Taures arvien jaušamāk rēc
un strupceļa blatnojs brangums

kā armijas auri – ar lakstīgalu
salīdzini, kad deso virs galvas
augšstāva kaimiņš

ap nebeidzamo pusnakts stundu.

2.

Darbīgs ir pavasars – dzīvnieku līķi plūdos
brīvības aizrijušies, ūdens caurduru svētkos
ziemīgā kapu vaskā.
Izturīgas ir mūsu straumes.

Mūzika, kam skani šodien?
Pilnplūsmā ģitāras dzīles maigās
tev uzvaidīt, kruķi-stīvinātāj, ar
karoti ledaino tavu,

ar ziloņkaula cietajām šķembām sev ceļu izklāt,
ar lidlauka betonu nu jau eņģeļu asinis

Mikseris Ikss.



Я смотрю как бы вслед тебе, Музыка,
и вижу в попытке полета:
вереницею – «достойных выжить» стада. И мнится –
недолго осталось ждать – грянут скоро в истоме
свои кулинарные гимны – грядет
дирижер...

Ведь все смоделировано давно (когда – и не вспомнить)
в лабораториях самой правильной нашей науки –

Науки Нормального Голода... Вереницею шли, белой гусеницей бесконечной.

И на площади незнакомой,
но уже дальше некуда красной
сложились в заветное слово «ВАНЕССА»

и так как бы всех победили.

3

84

На острове Булли, островке из отходов счастливым
между устьями двух переливчатых рек
вялотекущих, огнеопасных кусками,

тогда обитал я, по милости Коменданта, как ящик
в любовь свою вдвинутый,
с музыкой в дружбе своей
командорской –

дон-гуанов головки маячили на горизонте...
Помню, смычком отгонял...

Ибо знал, что они победят,
ибо ты так хотела.

4

Что делать в преддверии
одиначества, лето?

Я начал с рисунков: хищные запахи, звуки... Клокот
водопровода токующего, в центре –
табурет акустический, на нем – тень твоя,
Недотрога.

Es it kā sekoju pēdās tev, Mūzika,
un vēroju mēģinājumos lidot:
virknē – „izdzīvot cienīgo” ganāmpulki. Un liekas –
vairs neilgi palicis gaidīt – drīz raus vaļā tvīksmē
savas kulinārās himnas – raujas
diriģents...

Jo viss sen jau konstruēts (kad – pat atcerēties nevar)
mūsu vispareizākajās zinātnes laboratorijās –

Normālā Bada Zinātnē... Virknējās balts kāpurs bezgalīgais.

Un laukumā nezināmā,
ne pielikt, ne atņemt, cik sarkanā
gulsnējas sirdsvārdā „VANESSA”,

lai izskatās visus uzvarējuši.

3

Buļļu salā, tai atkritumu saliņas svētlaimē
starp divu upju spīguļojošām grīvām
laiskām, ugunsbīstamām vietumis,

reiz mitu, Komandanta gādībā, kā atvilktne
savā mīlestībā iegrūstā, es
ar mūziku savu komandoriski
draudzējos –

donžuāniskie pauriņi apvārsnī cēlās...
Atceros, tos ar lociņu padzenāju...

Tāpēc ka zināju, tie uzvarēs,
jo tu tā gribēji.

4.

Ko lai daru, kad vientulība
klauvē, vasara, ko?

Es iesāku zīmēt: plēsīgas smakas, skaņas... Riestošam
ūdensvadam guldzot, centrā –
akustiskais ķebelis, uz tā – tava ēna, tu
Neaizskaramā!

Как я тебя рисовал на песке!

Золотые рытвинки в головке квадратной
жужжат... Глаза? «Глаза, дорогой!
Это глаза мои!» – пока
волна не смывала...

5

пока волна не излечит...

На унылом настое из нервов, на прозе – вот
музыка этого часа
преступного...
Вот почему так неспешны
в этом рэпе сургучном
слова...

6

Что значит «я сложил тебе песню»?
Что значит «ты в опустившихся сумерках»?
Куда ты уходишь,
за игрой в «ненавижу»
уже не следя?

Я соткал тебе песню, как женщина –
полотенце любимому.

Лишь в этом повинен.

7

Как Меджнун умеет быть нежен
с собой... Это от Бога, никак не иначе – от Бога...

Так, должно быть, омары в скафандрах нарочито членистых
на конвейерной ленте в ад в последний раз любят повара.
И любовь их взаимна.

Так реки, когда разлив на уме,
уносят трупы зверей безымянных к чужим берегам,
чтобы, может быть, там
воскресли.

Kā es tevi zīmēju smiltīs!

Zelta rievīņas kvadrātainā galviņā
dūko... Acis? "Acis, dārgais!
Tās acis ir manas!" – pirms
vēl noskaloja vilnis...

5.

līdz vilnis neatvēršos...

Nervu uzlējuma skumjās, prozas tinktūrā – tā
ieskan šis brīdis
noziedzīgais...
Un tāpēc nesteigdamies
šai zīmogojošā repā
krīt vārdi...

6.

Ko nozīmē "sacerēju tev dziesmu"?
Ko nozīmē "tu iegūli krēslainā stundā"?
Un kur tu aizej,
vairs "es ienīstu" spēli
neturpinot?

Es tev noaudu dziesmu kā mīloša
sieviete – divi.

Vien tā mana vaina.

7.

Kā Medžuns prot glāstīgs būt
ar sevi... Tas Dieva dots, ne cita – bet Dieva...

Tā, varbūt, omāri savos tīšuprāt posmainajos skafandros,
rotējot elles konveijera lentā, mīl pavāru pēdējo reizi.
Un mīla ir abpusēja.

Tā upes, jau iecerot plūdus,
nes bezvārda zvēru līķus uz svešajiem krastiem,
kur tie spētu, kas zina,
augšāmcelties.

Вот тогда,
если ТАК повезет, вот тогда

слушай час комендантский,
слушай шелест белый и черный,

земля.

1987–2002

ИЗБРАННИКИ ТИРА

...в глухом коридоре выбирая мишени –
кто тигра, кто лестницу, кто патефон –
с непонятною дрожью докладывали о желаньях
физруку.

Коридор в полутьме, только сцена обнажена
пуленепробиваемая. Скоро
послышатся выстрелы, и в летописи нерукотворной
мы оставляем следы своих взглядов, спрессованных пульей.
Потрясенные, падают наши победы в окопы,

и что нам советы, что пыль на щитах придорожных,
что мельтешение Шивы и что бурелом Парфенона,
когда сквозь игольное ушко стреляем в свою
неподвижность,
а мельничка времечко мелет и, вечность летая, стоит!

...И – первой расплатой немотств физкультурно-
культурных –
«бегущий кабан» нарисует банан в дневнике
и незаметно вздохнет.

И выплеснут влево и справа проколот, как сердце,
простой ручеек-недотрога спешит затеряться в листве
зазеркальной,
разбитой нами
вновь оживляемой
в ночь.

ВЕНЕДИКТУ ЕРОФЕЕВУ

Зрю просыпаясь-всплывая –

Ja nu paveiktos
TĀ, ja nu paveiktos

ieklausies komandantstundā,
klausies baltā un melnā čaukstus,

zeme.

1987–2002

ŠAUTUVES IZVĒLĒTIE

...mērķus izvēlēdamies attālā koridorā –
kurš tīgeri, kurš kāpnes, kurš patafonu –
ar neskaidriem šermuļiem ziņoja par vēlmēm
sporta skolotājam.

Koridors pustumsā, tikai atkailināta aina
ložu necaurļaidīga. Drīz
šāvienī atskanēs, un ne rokām darinātajā kronikā
mēs atstāsim mūsu uzskatu pēdas, lodes sapresētos.
Satricinātas, mūsu uzvaras ierakumos krīt,

un kam tie padomi, kam putekļi ceļmalas plāksnēs,
kam Šivas ņirbeklis un kam Partenona vējgāze,
kad mēs caur adatas aci tēmējam savā
nekustīgumā,
bet dzirnaviņas laiciņu maļ un, lidojot mūžīgi, stāv!

...Un – kā pirmo atmaksu par fizkulturāli kulturāliem
mēmumiem –
“skrienošais mežakuilis” burtnīcā pāvu uzzīmēs,
tad nopūšas nemanāmi.

Un izšļakstīts pa kreisi un pa labi caurdurts, kā sirds,
vienkāršs strautiņš neaizskaramais steidz lapotnē pazust
aizspogulijā,
mūsu sasistajā
no jauna atdzīvināmajā
jaunajā.

VENEDIKTAM JEROFEJEVAM

Mostin mostoties-uzpeldot –



Рига опять, где в городском канале
фонтана железное горло –
перископом подлодки, затопленной с экипажем
во спасение тайны
государственной
в стельку.

Здесь ты служишь вабилем местным стервятникам
да и стервам (когда повезет),
что хуже,
потому у местных пивных стратегического значения
мертвые с косами
Орфеи –
петушки-домоседы
съеденные:

– ВОТ ЭТО КОСТЬ ОТ КОСТЕЙ МОИХ...

И – если продрать глаза –
сердце Его
стоградусным словом сочащееся перезревшее
зря – опять обманет

Непроницаемость.

. . .

В этом городе
зима весна лето
прячутся в водостоки

и только осень
способна на открытое сопротивление.

И ее сжигают, как ведьму.

. . .

...А вещий отрок кажет путь путем немногих.
Я вижу тень плаща и кончик шпаги.
Орлиное перо антенну заменяет
связующую нас с вневременным пространством.

Rau, tā pati Rīga, kur pilsētas kanālā
strūklakas dzelžaina rīkle –
par periskopu zemūdenei, gremdētai līdz ar
ekipāžu, noslēpumu valstisko
glābjot pilnās
burās.

Te nu tu kalpo par ēsmu vietējiem maitasputniem
un arī maitām (ja paveicas),
vēl jo jaunāk,
gar stratēģiski svarīgām rajona dzertuvēm tak stāv
ar izkaptīm mirušie
Orfeji –
mājsēži-gailīši
apēstie:

– LŪK, KAULS NO MANA KAULA ...

Un – ja izberzēt acis –
Viņa sirds
kā simtgrādīgais vārds sāk pārbriedis sulot
veltī – atkal pievils

Necaursitamība.

. . .

Šai pilsētā
ziema pavasars vasara
slēpjas notekcaurulēs,

vienīgi rudens
spējīgs uz atklātu pretestību.

Un to sadedzina kā raganu.

. . .

...Bet viedais zellis neba katra ceļu rādīs.
Apmetņa ēna vīd, tur zobena smaile.
Un ērgļa spalva it kā antena ir vietā,
kas vieno mūs ar izplatījumiem ārpus laikiem.

Мне хочется сказать ему: Прости
за что-нибудь, как я простил однажды.
Я умер не от нестерпимой жажды.
Я все же услышал свои шаги.

Прости меня, что я приду вторым.
Что номера! Здесь нету номеров.
Здесь все равны. Никто не жаждет жажды,
а просто – счастливы – во веки всех веков.

ПАКИ ПАКИ

7

Пристально глядя на воду, прощаюсь.
Северный ветер гасит огонь от спички.
Синица в руке, журавль – нигде, все верно.
Тихая осень, тихая, как покойник.

Северный ветер крепчает, даже качели
на побережье заиндевелом качнулись...
Остекленевшие водоросли, ломкие, словно губы
жен, помогающих в них влюбленным поэтам.

Вот уже небо в алмазах соленых и горьких.
Лист кленовый в прорву летит, кружась от восторга.
Жестокое время – осень. И необходимо – немое,
как и поэты, когда помогают любящим женам.

Строки ложатся на лист тяжело и сутуло,
собой покрывая молчание, отвоевывая пространство...
Северный ветер утих, прости ему непостоянство,
стрельни окурком в окно, качаясь на стуле.

...А здесь над лесом стелется влажный дым,
по побережью вдали друг от друга тащатся пенсионеры...
Отдаленный хруст – бронепоезд или так, аноним –
садовник спецсанатория в поисках новой веры.

Es vēlētos viņam teikt: Jel piedod
man kaut ko, kā pats reiz piedevis esmu.
Un miris ne dēļ neizturamām slāpēm.
Un tomēr savus soļus izdzirdēju.

Jel piedod man, ka nākšu tikai otrais.
Ko daudz tie numuri! Te numuru nav.
Te visi ir līdzīgi. Tie neslāpst cita slāpju,
bet mūžam – vienkārši – ir laimīgi arvien.

ALPĀM ALPĀM

7.

Cieši skatoties uz ūdeni, es atvados.
Ziemeļu vējš apdzēs sērkokciņa guni.
Zīle ir rokā, mednis – nekur, gods godam.
Kluss rudens, kluss kā mironis.

Ziemelis pieaug spēkā, pat šūpoles
iešūpojās piekrastē nosalusī...
Pārstiklojušās aļģes, trauslas itin kā lūpas
sievām, kas palīdz dzejniekiem, kas iemīlējās.

Nu debesis vienos dimantos, sāļos un rūgtos.
Kļavas lapa traucas bezdibenī, griežoties sajūsmā.
Bargā sezona – rudens. Un gribot negribot – mēma,
kā arī dzejnieki, kad palīdz mīlošām sievietēm.

Rindas lapā iegulās smagas un stīvas,
ar sevi pārklājot klusuciešanu, atkarojot sev telpu...
Ziemeļu vējš pierimis, piedod tam nepastāvību,
izšauj izsmēķi logā, šūpodamies uz ķebļa.

...Bet tepat pār mežu stiepjas valganti dūmi,
perspektīvā izklienētie pensionāri gar piekrasti klejo...
Tāla gurstēšana – bruņuvilciens vai tāpat anonīms –
specsanatorijas dārznieks jaunu ticību meklējot.

Перевели с русского Алда Бароне и Сергей Морейно

Komandanta stunda. Stunda, kuru kāds nokomandē — no augšas.
 Vai klusā stunda iekšienē. Neesam raduši domāt,
 ka ne tikai latvieši mīl Latviju. Un tomēr...
Alda Barone

Комендантский час. Час, кем-то скомандованный — сверху.
 Или час молчания внутри. Мы не привыкли думать,
 что не только латыши любят Латвию. И однако...
Алда Бароне

Ивлев — это экосистема.
Кристан Вецеравис

I. Холодно

Русский поэт Алексей Ивлев родился в 1956 году в Риге, умер в 2006 году в Москве. Сын крупного слависта Дмитрия Даниловича Ивлева (1932–2009), профессора филологии ЛГУ (Латвийского государственного университета, теперь просто — ЛУ). Некоторое время учился в ЛГУ на факультете журналистики.

Один из основателей «Рижской школы» (вместе с Саввой Варяжцевым [1960–2022], Григорием Гондельманом [1962] и Олегом Золотовым [1963–2006]), группировавшейся вокруг созданного латышской творческой интеллигенцией двуязычного журнала «Avots/Родник» (русская версия существовала с 1987 по 1992 год, на каком-то этапе ее идеологом и редактором стал Андрей Левкин). Принимал участие в создании самиздатского журнала «Третья модернизация», 1987–1989 (вместе с Владимиром Линдерманом и Александром Сержантом). Занимался графикой и коллажем. С 2002 года жил в Москве.

Единственной изданной книгой до сих пор остается «Печать. Перманентные мутации» (Чебоксары, 2004), с предисловием Агнера Хузангая и аннотацией типа blurb Геннадия Айги. (Чебоксары — город, где родился отец, чуваш по национальности; хотя дед Ивлева переехал в Ригу еще в 1947 году, ментальный чувашский субстрат играл важную роль в его поэтике.) Перефразируя слова Ильи Кукулина об одном из младших (minoris) участников «Школы», можно сказать, что живший между Латвией и Москвой Алексей Ивлев — один из самых незамеченных среди

самых незамеченных авторов, которые изменили лицо русской поэзии. В настоящий момент издательство *Literatūras Kombains* («Литературный Комбайн») ожидает прибытия из типографии тиража сборника переводов Алексея Ивлева на латышский язык — *Komandantstunda* (2023).

II. Теплее

Одно из немногих зафиксированных высказываний автора о себе:

— Мне близок язык коллажа, его напряженность. Полистилистика. «Перманентные мутации». Это не «осмысленная цель», но свойство природы, «жанр» души. Вместе с тем, я не согласился бы с зачислением себя в постмодернисты. Мое творчество — попытка прикосновения к Традиции, которая, по определению Люка Бенуа, есть «не местное своеобразие, но сама суть вещей» (2004).

Айги также процитирую:

— Впечатления от книги Алексея Ивлева — как от некой поблескивающей доброй россыпи: «вещи людей» и «вещи природы», рассыпанные в ней, просты — при чудесности, теплы при суровости людского существования; естественен здесь и свет того, что автор называет Традицией, это пульсирующе — живо, постоянно пронизано искрами его врожденной поэтической одаренности (2004).

Наконец, «коллективная цитата» от переводчиков, работавших над антологией современной русской поэзии «Песенный сезон» (*Literatūras Kombains*, 2019) на латышском языке, в которую из представителей «Школы» вошел единственно Золотов (пер. с латышского):

— До последнего времени работа над переводами Ивлева не очень-то шла. Лишь издание самого «Сезона» помогло найти подход к «латышизации» его необычайно сложных фраз. К тому же его, как и Олега Золотова, уже нет среди живых, а одним из образующих принципов книги была проверка переводов в совместном чтении: в Риге с Вадимом Месяцем, в Вентспилсе — с Игорем Беловым, в Калининграде... [...] Оттого в сборнике у нас Олег Золотов, но Ивлеву нужно посвятить весь этот кризисный год. Невзирая на корпулентное телосложение, кожа у него оказалась чрезвычайно «тонкой», душа нежной и незащищенной, поэтика отверженности и непринадлежности очень актуальной, русская просодия — подлинно латвийской, *Latvijas*.

III. Тепло

Ивлев был «профессорским сыном», вернее, сыном заведующего кафедрой, избалованным, почти никогда не работавшим физически, замкнутым на личных переживаниях. Он не был мажором, потому что мажорность как бы предполагает двигательную активность, а Ивлев был скорее Обломовым, нежели Штольцем.

— Ведь я не любитель этих затей — воевать, просыпаться («Допустим, Обломов» из цикла «Романтики»).

При своих внушительных габаритах он действительно оказался достаточно тонкокожим. А «врожденная поэтическая одаренность» позволила ему взять у языка то, что причиталось поколению — его, а также последующим. Язык существует вне нас — это утверждение давно уже стало общим местом, но много ли пользователей следуют ему с «общим выражением лица»? Да — мы пестуем, холим, храним язык, порой даже перегибая палку и выплескивая целые выводки вместе с водами, но и он искренне заинтересован в своих пестователях и хранителях.

И если кто-то обладает силой, достаточной для того, чтобы спросить, язык — ответит.

— Это сдвиг языка в наркотическом гимне часов... («Допустим, Шариков» из цикла «Романтики»).

И вот что получается: люди скудного пайка и серых будней, желчные, ядовито стебущие действительность из мрачных бараков, или же озабоченные справедливостью записные плакальщицы коммунальных квартир...

[...Не особенно-то желая принизить, поставить на место, выстроить по ранжиру (хотя подрезать слегонца не прочь! все по краю ходим, по минным полям текстов), я все-таки позволю себе:

— В своих стихах лианозовцы использовали язык подчеркнуто непоэтический, который можно было услышать в бараках, в магазине, на заводах — язык маленького человека, вынужденного существовать на окраине жизни (Википедия)...]

...зачастую, погружаясь в суровый мужественно-восторженный плач, рыдали на самом-то деле о своих драных носках, в то время как порхающий в небесах и мнущий «без всякой прошвы наволочки облаков» Ивлев умудрился поплакать над нами всеми — и что удивительно — или, напротив, удивительно — вперед, авансом.

И это не свойства почвы или судьбы, это особенность дара.
Вот — тупо взято из той же Википедии.

*Коридор. Восемнадцать квартир.
На стенке лозунг: МИРУ — МИР!
Во дворе Иванов
морит клопов, —
он — бухгалтер Гознака.
У Макаровых пьянка.
У Барановых драка.
(Игорь Холин)*

*Я поэт окраины
И мещанских домиков
Сколько, сколько тайного
В этом малом томике:
Тусклые окошечки
С красными геранями,
Дремлют Мурки-кошечки,
Тани ходят с Ванями.
(Евгений Кропивницкий)*

Простой вопрос: если я по-прежнему маленький человек, живущий шаткой жизнью, практически без социальных гарантий, редко ночующий в трехзвездочных отелях — разве что по приглашению, но у которого есть машина и который может пролететь по автобану, выпить кофе на заправке посередине или в глуши Европы и коньяка на балконе с видом на старый или новый город, послушать или посмотреть stream из Байрейта или Метрополитен Оперы, при этом неотвратимо несущийся в лапы тотального контроля со стороны государства и прочего галактического ужаса практически со всех сторон, переполняемый смертельным восторгом от многоликости этого мира и смертной тоской от того, что даже самый малый из ликов сих не будет им опознан, постигнут, спасен, то — не кто я, это меня не так волнует, а: что могут сказать мне те — эти?

Их боль — не моя боль; возможно, их боль архетипична, но моя боль возможно больнее; но я не о том, что они не о том, я, скорее, о том, о чем Ивлев:

*Что ж ты в раздумье стоишь у порога?
Эвридики-утра
и тень остыла, тихо*

*ночь-Эвридика
заглянула в окошко
кабаньим рылом...*

*Что же стоишь ты?
Ждешь внутриклика? Смотришь
на посох и нож...*

*И лишь посох берешь
и, безоружный, идешь —*

уходишь, уже

победитель,

Лицо Огня.

98

Просто другой дар, иной. Просто.

IV. Горячо

##

Нашим учителем было само протухшее, воняющее время, мы расправляли крылья, снова «заправляли» их, как зонтики, и «плакали навзрыд». И наших слезинок не могли утереть даже маменьки-доценты и папеньки-профессора. По дороге в пункт Б нам встречались только унылые старухи, поедающие наше мороженое. И это, наверно, были мы сами. Прости меня, Алексей, что я пишу не то, что ты, может быть, ожидал от меня услышать; никаких умных разборов твоей поэзии не будет. Она, видишь ли, не к тому призывает меня. Она зовет к горькому братству на тризне нашего времени и на пиршестве времени нового, к которому мы с тобой относимся столь различно: ты с полуприкрытой надеждой, я с холодным нетерпением.

Но наша правота, друг, действительно ущербна, как у того верблюда, что пробирается к игольному уху и для того, чтобы вопреки Иисусовой притче пройти сквозь него, худеет и худеет, теряя один горб за другим.

Вадим Руднев, «Родник» 1988/8

#.#

Мы учились вместе... почти. Ивлев на журналистике, на третьем этаже рижского филфака, а мы — на втором, на филологическом. Он от скуки спускался к нам и говорил, кого выловит: «Василий, сплотим ряды!», что означало просто — «скинемся на что-нибудь выпить». Оттого и кличка у него была: «Василий», «Василий Ивлев» — и «Поэт», разумеется. Потому что все наши оргии заканчивались вполне поэтически — чтением им самим своих стихов и, как правило, на Ивановском кладбище ночью, что в Московском форштадте Риги.

«Сюрреалистом из притона» его называли в Союзе писателей Латвии, советской, само собой. Его тогдашние стихи использовались нами как некий мифологический язык наших настроений, символов и ценностей. Из этого отчасти и выросла его поэзия, то есть из нашего обыденного языка, потому что мы ею и говорили. Говорим ею и сейчас, потому что знаем ее точную жизненную «референцию». В этом отношении нам без его стихов уже не обойтись. То есть без его понимания внутри него самого происходящего, которое стало и нашим происходящим. Так теперь выстроен наш мир демиургом «Василием» — Алексеем Ивлевым, и так этот мир строится любым настоящим поэтом, то есть самим собою. Иначе бы и мира не было.

Анонимус в ЖЖ dkuzmin, 26.09.2006

66

Улдис Йостс ПЕРВЫЙ СНЕГ

100

В этот день, когда выпал
Первый снежок
Капельку,
Мне хочется помолиться Ему
Капельку.
Когда все бело наконец вокруг –
Пó-черну,
Начинаю грустить
Капельку.
С утра еще на тропе листва
И бычков дрянь,
И пакетов рвань...
Теперь над ними белым-
Бела грусть
И мысли дурацкие,
Что можем хотеть и ждать
Капельку.
Капельке недостает капельку.
С Ним так не пройдет –
Капельку,
И нельзя полюбить –
Капельку.

...

Пустая строка.
Пустая строка меж рельсами,
Пересеченная скорым.
Меж берегом и облаками
Один мазок кисти скорый.
Один только скорый
Меж нами.

*Перевел с латышского
Сергей Морейно*

Šai dienā, kad uzsnidzis
Pirmais sniedziņš
Mazliet,
Es gribu Dieviņu palūgt
Mazliet.
Kad balts visbeidzot visapkārt –
Pēc melnā,
Man skumji kļūst
Mazliet.
No rīta vēl lapas uz takas
Un izsmēķi līķi,
Un papīra pakas...
Tam pāri nu baltas,
Baltas skumjas
Un domas dumjas,
Ka varam gribēt un cerēt
Mazliet.
Mazliet ir mazliet par maz.
Pie Dieviņa neiet –
Mazliet,
Un mīlēt nevar –
Mazliet.

...

Tukšais attālums.
Tukšais attālums starp sliedēm,
Ko šķērso ātrvilciens.
Starp mākonī un jūru
Viens otas vilciens.
Viens ātrvilciens
Starp mums.

Uldis Josts
PIRMAIS SNIEGS

Uldis Josts ERSTER SCHNEE

An diesem Tag, als er fiel
Der erste Schnee
Eine Winzigkeit,
Will ich Gott anbeten
Eine Winzigkeit.
Wenn endlich alles weiß ist ringsum –
Auf Schwarz,
Werde ich traurig
Eine Winzigkeit.
Am Morgen noch Blätter auf dem Weg
Und Kippen Dreck,
Und Tüten Fetz ...
Nun liegt auf ihnen weiß,
Die weiße Traurigkeit
Und dumme Gedanken,
Dass wir wollen und hoffen können
Eine Winzigkeit.
Der Winzigkeit fehlt eine Winzigkeit.
Mit Ihm vergeht sie nicht –
Eine Winzigkeit,
Und lieben darf man sie nicht –
Eine Winzigkeit.

...

Die Kluft.
Die Kluft zwischen den Schienen,
Von einem Schnellzug überquert.
Zwischen Wolke und Meer
Ein Luftzug.
Ein Schnellzug
Zwischen uns.

*Перевела с латышского
Франциска Цверг*

Šai dienā, kad uzsnidzis
Pirmais sniedziņš
Mazliet,
Es gribu Dieviņu palūgt
Mazliet.
Kad balts visbeidzot visapkārt –
Pēc melnā,
Man skumji kļūst
Mazliet.
No rīta vēl lapas uz takas
Un izsmēķi līki,
Un papīra pakas...
Tam pāri nu baltas,
Baltas skumjas
Un domas dumjas,
Ka varam gribēt un cerēt
Mazliet.
Mazliet ir mazliet par maz.
Pie Dieviņa neiet –
Mazliet,
Un mīlēt nevar –
Mazliet.

...

Tukšais attālums.
Tukšais attālums starp sliedēm,
Ko šķērso ātrvilciens.
Starp mākonī un jūru
Viens otas vilciens.
Viens ātrvilciens
Starp mums.

Kristiāns Iesalnieks

KARA KAPRACIS

TRĪSSKANIS

a capella poēma

: | Trīsskanis piepilda rīkli ar vīnu,
Tradicionālo Pusdzīvo
Un pēc katra malka
Naivi un sūri
Iesmej zobstarpēm rāp'jot
Pa siekalu sviedri.

Nekā nav īstāka par manu izdomu
Divskaņi robežo ar vaļas brīvību
Viesulim nonākot sirdsvainu aptiekā,
Šļircēm aiz šprīces stūri asinī turot.

Bet aiztiekot pamazām rociņām vēlēto,
Ar ērmām elkoņām tvaikoņiem izplešot
Skaņas krastus – burtu smiltīm
Ienāk trīsskanis lolots iekš dvēseles esmības,
Lai laižas no lūpām tā jautrums un griba –
Būt eksistē!

Ja bez šaubītes dzīvotu katruprāt cilvēciņš,
Tad vien stindzinot atmiņas un ētikas pazīmes,
Laistītos cīrulīs metāla spārnēm
Un turbīnas būtu kā līgo plaukas.

Mīla, mīla, mīla garā
Pestītājs nāk!
Ak, svēti jel mūs izturībā,
Iekš savas trīsvienības,
Pret spontānu jugulāciju,
Lai esmu kā rosībā kabans
Pret mednieka mērķi iz rietumiem.

Pil putuplasta svins priekš' krūtīm
Viss atkal tīrāks par pašu laiku.
Un kā tik dīrā, tā nava ādas.

Кристиан Иесалниекс МОГИЛЬЩИК ВОЙНЫ

ТРЕЗВУЧЬЕ

поэма а капелла

:| Вином трезвучье полнит горло,
Классическое Полуживое,
И за глотком глоток
Наивно-горько
Всмеивается межзубьями
Мой пот соплёный.

Нет ничего реальной моих фантазий
Дифтонгов границы свободы воли,
Пока торнадо в аптеке сердечного горя
Держит укол в крови углами шприца.

Но тебя желанное капельно ручками,
Раздвинув локтевыми локопарами локус
Берегов звука – в песчаные буквы
Всплывет трезвучье в холе заветных сути,
Пусть с губ слиняют их веселье и воля –
Быть – суще!

Живи без сомненья межеумно товарищ,
Тогда, лишь стреножь знаки меморий и этик,
Сверкали б стрижи металлами крыльев
И стали б турбины оплеух колыханьем.

Любо, любо, любо в духе
Спаситель грядет!
Да святимся ж в терпенье мы
В триединстве своем,
От стихии купирований,
Да стану в беге лицом кабана
К мишени охотника против заката.

Течет пенопластов свинец на вымя
Всё чище вновь, чем даже время.
А как освежешь, это не кожа.

Un kā tik sijā, tā nava rīsu.
Lai kā vien guļas – mums celties rītā.
„Tur esot skaisti”, man saka bieži,
Es ticu arī, jo dzied no segas plašos
Trīsskanis.

Hruščovka savā nāvīgumā applūd,
Jumis vēja svilpē nojūk,
Pulksten's sākot prātot jūdzis,
Tā vien ira, ka jaunums vainās,
Jo apspiež kūdru, kas dedzas paša,
Bet asmens smailēm cērtot zārku
I saplēš līķi, kam sieva dzīva
Un tagad brīva – no miesas gribas –
Atraitne nekrofile.

Un tu tāpat ar stāju pālī
Vistālāk leksi pār tēva sīvi,
Jo trīsskan's ierod'
Ar karadziesmu:

Mēs soļojam ar bisi rokā,
Lai trīsskan's līdzinās.

Mēs soļojam iz sāpēm dziļi,
Lai bēdas projām dūc.

Mēs soļojam priekš mājas savas,
Lai lopī pienu dod.

Nav atkāpes no zemes plača,
Ne solis sievetē – tiks sperts!

Mēs galinam aiz svētas mīlas,
Lai tīrums piepildās.

Mēs galinam iekš smailiem smaidiem,
Lai niknums pārveļas.

Mēs galinam pēc vaļas vētras,
Lai sirsnīgs ira puns.

Nav atkāpes no zemes plača,
Ne solis iesmērēts – ar kritu!

А как обтрусешь, это не каша.
Как ты ни ляжешь – встать с утра нам.
«Там красиво», – я часто слышу,
И я и верю, ведь вширь с покрывала
Трезвучье.

Тонет хрущоба в смертности личной,
Сдулся в ветродуде Юмис,
Час от часу гадает умильный,
Мол, так и есть, вины новинки,
Торф подавляющей самогорящий,
Но лезвия гроб секут остриями
Да порют труп, чья жены живы
И ныне свободны – от воли плоти –
Вдовы от некрофилии.

И ты стоишь так же в хлам
Прыг-скок за отцовским пряным,
Ибо трезвучье здесь
С воинской песней:

Мы с дулами в руке марш,
Так подтянись, трезвучье.

Мы изподбольш глубоко марш,
Так отженись уже, горе.

Мы дома своего заради марш,
Так млека дай, скотинка.

Мы с пяди земли ни ногой,
Ни шагу в женщину – пнем!

Мы из-за святой любви бей,
Так исполняйся, поле.

Мы в наитончайший усмех бей,
Так перекаати, злоба.

Мы после дикой бури бей,
Так хорошей, шишига.

Мы с пяди земли ни ногой,
Ни шагу замазано – мелом!

Mēs smīnamies kopš pirmā vārda,
Lai ir sirds atelsums.

Mēs smīnamies i dzīvi esam,
Lai akm'ī klintī grūst'.

Mēs smīnamies virs kara lauka,
Lai absurds pārņem jūs.

Nav atkāpes no zemes plača,
Ne solis jēdzīgums – ir mests!

Trīsskani, kam tu lutini
Kā aklu vadītāju putenis?
Šeit tavi draudu maiši
Ir olnīc' sēklu pilni.
Tā gribas pacelt glāzi
Un aprīt sāļu gaisu,
Lai plaušās augas
Nākotnes sacepums.

Es tavu māti drāzu
Ar līdzko taisnu muti,
Es jūrā gāju laivā
Lai pamest' dzimtenīti.

Kā ceļas benzīnviļņi
Kaislas cenas sildās,
Jo peldēt ira dziļi,
cilvēcīgi.

Jau nāk no tumsas auros
Līdzgan baltens Trīsskan's,
Ar kalnu plecu kaili
Viņš satver pazemību.

Aiz verga ķēžu sēra
Brūk manas īstās smiltis,
Kas veļas miesu perot
Kā meža māte ūdri.

Draugi, barins klāt!
Zemi skūpstiet lūpām krītot
Trijos apavu pāros
Mītos par mūžīgu skaņu,

Мы с первого слова в смешки,
Так отдувайся, сердце.

Мы живы и да мы в смешки,
Так лезь в скалу, камеш.

Мы по полю битвы в смешки,
Так поberi нас, нонсенс.

Мы с пяди земли ни ногой,
Ни шагу в смысле – жребий!

Трезвучье, чего балуешь,
Как вьюга слепого друга?
Вот угроз твоих джут,
Чрева семени жгут.
Так хочется рюмаша
И соли воздуха шмат,
Ты в легких пока
Футурозапеканка.

Я мать имаю ж твою
С губами что вёсла,
Я в море в лодке жду,
Чтоб родинку бросить.

Как плещут бензина волны,
Так цены жаркие пляшут,
Плыть – это глубоко,
гуманно это.

Уж гоном из мрака идет
Бледным-бледно Трезвучье,
Нагим точным плечом
Постигнет оно смирение.

За серой рабских цепей
Подлинный пал мой песок,
Отдраит исподнему плоть
Как дева леса – выдру.

Друзья мои, барин здесь!
Лобызать землю зубами в пол.
В парах трех башмаков
В легендах о вечном звуке,

Sitot vardarbes raišus,
Planēt virs gaisa.
Smaganu ķuncis,
Lai izlaiž pa putai
Pa maisītiem ilkņiem,
Pa saistītiem bītiem
Pievakarē
Jums miers un sāga,
Jo trīsskanis vārās
Plašā marmora vannā
Gandrīz vai mormonu blikš.
Tīrs neo-čīksts.
Tās durvis veras,
Eņģēm slidinot raisi.

Trīsskāni, izdrāz mūs līdzi!
Dari to slīkstoties vīnā!
Bet es šaubīšos mūžīgiem soļiem
Staigājot sevisprāt ceļiem. :|x3

108

Творя насильице споро,
На воздухах куражась.
Десен колода да
Стравит сквозь пену
Сквозь помесь клыков,
Сквозь связки битов
Ввечеру
Мир вам да сказка,
Трезвучье кипит
В широмраморной ванне
Что твой видок мормонский.
Чистый неописк.
Эта дверь отошла
На салазках петель.

Трезвучье, отымей нас!
Жги, в вине утопая!
Я ж замечусь в вечных шагах,
Ходя стезей своеумной. :|x3

Перевели с латышского Вия Лагановска и Сергей Морейно

Medžuslovjanska poezija

Išču junu aškenazku dlja izučanje jidiša i metafizičnih odnošenij v ramkah jezyka

SVOBODA NASILJA

Vranok, Vranok mojih oče synok
Vozmi menje s soboju
Hoču ubivati
Nasmrt

Kak bleskavy totalitarizm v snegu
Sněžinkami napolni guby svoje
Dobro, to je smeška
Ty kat
Cvětny.

Tapki šatki polom dřěvěnym
Klatite pesti, spite vragi
Kojka namilovatoj košulji
Zasnite dětetka
Sup!

Bezplodny korabnik buntu
Bude bljuvati
Na novu istinost
Oblivajte!
Glagolami

Čest poeta vo kvalitetu tendnecijam
Dopoka car banny
Abo slova jest lagodni.
Budučnost jedna
Čelja.

BARHATNY MOZGOVY UDAR LIBERLIZMA

Solidarnost metnuvšyh koftany
na tanky.
Bože Isus, kak že jim hladno
ale gordo,
toliko ty preškoda
na masakru sladku,
kako zakančanje sona
smrtnosnogo.

Konkurencija domašnjih visělic
v povešenjah koservativcev,
komunistov,
myslij, *myslij,*
předrešenjij,
genov,
krh zabludžyh.
Alpinist horugvu vozpěvati
Pozdno, Pozdno, Pozdno
V mogylu leži,
pokoče zapalka prosvěčajuča.

DĚVČINA

Kak katoliki svěče skupeče,
Tak ona bere oči čuže
na pančohy svoje.
I každo slovo iz jih ust
odvratne debelogo kapitalista
iz sovětskoj agitaciji.
Toliko šepot bukv
znamenityh uže pančoh
Moje son
jój utro.

ZDRAVĚTE

Konec vsej banjam
I Romantizmu jebanu
Novy klas urodeči
Sarkasmu lěpota.

Kto uměti bojevati
Kak obyvatelj vojny nasmrt?
Život tutdnej hladilnik.
Budež otkryvati a tam žarovka.
Slěp bog nyně.

Znama Kronštatskyh morjakov
Istinu molvit na ledu
I pod njim opet
My budemo pozdravjati tebe, budoučnost!

**Стихи, сочиненные kormak'ом и mauz'ом
во время проведения семинара
«Призвание»**

я пилица ты пилица

нам с тобою сладко спится

нам не нужно писунов

после наших сладких снов



ОКНО

Переустроен воздушный город.
Озера пространства легли на дно.
Застегнут до пуговики жесткий ворот,
чтоб в башне открылось одно окно.
Летят против ветра большие птицы.
По ветру ложится фабричный дым.
И мой отец из окна больницы
за стеклами кажется молодым.

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Гуляй там,
где мы видели радугу
над детской площадкой, пап.
Там был выход в сосновый лес.
Ты помнишь радугу?

Я не могу ответить, что не помню.
Что-то такое было лет 15 назад,
когда я жил вместе с детьми,
и мы наблюдали однажды грибной дождь.
Теперь в посёлке негде гулять.

Раньше за нашей дачей
начиналось поле
и мы ездили на велосипедах
на местное кладбище есть сливы.
Теперь на этом месте — дома,
дворцы, слагбаумы, заборы.

Я устал проходить сквозь стены.

Лучше всего гулять
в освещённых местах души,

и если их нет у меня,
они есть у тебя, дочь Варвара.

БАРЫ

1

Сколько не путешествую,
люди рассказывают мне
свои секреты:
говорят об изменах жен,
о болезнях,
национальных страхах.
Никому такого не скажешь,
а мне — можно,
будто я им родственник,
или «всех живущих прижизненный друг».
Я избегаю панибратства,
никого не тяну за язык,
но дистанция исчезает мгновенно,
стоит сказать привет.

Я внушаю доверие
большинству людей на планете.
И только ты считаешь,
что я живу с фигой в кармане
и лгу на каждом шагу.

2

Исключения случаются.
Один чувак в Шарлотте
как-то огорошил меня мыслью,
что мы — люди разной культуры.
Родом он был с Лонг Айленда, северянин.
Я рассказал ему, что мой друг

живет по соседству с Билли Джоэлом,
вспомнил сюжет о Великом Гэтсби.
— На Лонг Айленде я помню сверчков, —
сказал я.
— Это все что ты помнишь? — переспросил он.
— Тебе мало?
Мне действительно
было этого достаточно,
чтобы полюбить Лонг Айленд,
и даже однажды
переехать туда жить.

Мы люди — разной культуры.
Отношение к сверчкам —
тому подтверждение.

3

114

Все начинается с аэропортов,
где в ожидании рейса,
невольно заговоришь за стойкой
с каким-нибудь рыжим чуваком,
хотя твой English is not fluent enough.
Неважно, на каком языке
ты говоришь, если и так
все понятно.
«Шотландцы и русские — один народ, —
скажет он — перед тем, как уйти.
Ты вкурил?
Жди часа «Ч».
Мы вместе выедем англосаксов,
отомстим за все».

И он уйдет, подарив мне пачку сигарет,
которые для меня не слишком крепки,
почти дамские сигареты.

И дома
я начну читать кельтские легенды,
сочинять собственный эпос,
способный сдвинуть
Европоцентричность мира,
или просто стать забавой
для чудаков типа меня.

Вовсе не Джойс или Беккет
заронили сомнение
в мою душу,
а именно этот поддатый пассажир,
скрывшийся навеки
в турникетах JFK в 93 году.

САНСАРА

Рассыпчатая сущность кирпича,
стены Китайской детская основа,
коричневая охра, умбра, марс,
сиена жженная, и городской дымок
прозрачно рыжеватый на закате,
такая сладкая забытая болезнь.

Хромые стулья, проржавевший ключ...
Кто погружает вещи в пустоту,
становится пустым и безразличным.
В чайниках заболоченной воды,
всплывающих со дна, не меньше света,
чем в искрах. Вечер веслами скрипит,
изображая старческий восторг.

Незрячие глаза, застывший воск...
Весь мир окутан ветхой паутиной.
Пожарная кренился каланча,
пузырчатый надломлен позвоночник...

Расталкивая няnek любопытных,
в руках живое зеркало растет.

И хлеб как еж сжимается в комок.
Окрепший голос, обгоревший флаг.

КОМПЛИМЕНТ

Главный комплимент
своей жизни
я получил от давно погибшего друга,
когда нам было лет по двадцать:
все равно кто твой отец,
сказал он,
мерзко, что тебе
все слишком легко дается,
ведь тебе будет нормально
хоть в тюрьме, хоть в Афгане:
придешь... подружишься...
и тебя все любят...
Иногда мне хочется,
чтоб ты сдох...

Искренность ненароком благословляет и хранит нас.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Женщины, заводящиеся с полуоборота,
спрашивающие, не задумываясь «когда»
с выражением лица, на котором
уже проступают отблески радости:
знакомая плоть, немного стесняющаяся себя.
Всю жизнь я провел с вами,
изучая строенье ключиц, округлости животов,
перебирая словно четки ваши теплые пальцы.

Я верю, что это — любовь, жадность жизни,
последние мгновения молодости.
Гостиницы, шампанское в номер,
чужие квартиры, салоны автомобилей.
Можно поехать на испанские острова,
плавать на лодке вдвоем вдоль берегов.
Это не гедонизм, а солидарность
к увядающей красоте и осени,
которая поселилась и в моем сердце.
Это родство взаимного умирания,
что сильнее семейных уз и приличий.
Опыт души и отзывчивость тела
сопряжены. И ничто не повторяется никогда.
Поэтому это — любовь. И ничто иное.
Все равно наши дети стали уже большими.

ЛИШНИЙ

Строишь города, прокладываешь мосты,
рубишь лес и выращиваешь рис,
а потом в одночасье становишься лишним
для детей и любовниц, собственно ради них ты и жил.
Дети и женщины — гости в наших домах.
Я это слышал, но почему-то не верил.
Лев Толстой говорил, что ему отрубили руки
и, хотя он простил, обнять никого не может.
Я не тянусь никого обнимать,
и зачем все обнимают меня — не знаю.
Сделано много — особенно мне нравятся
дети, воспитанный кот, несколько стихотворений.
Этой радостью можно поделиться
с такими же потерянными людьми,
но их нет в живых, а я еще полон иллюзий.
Тропа войны и тропа любви равнозначны.
И пепел, которым посыплю я голову, не прогорел.

БРАТУ ГРИММУ

Нет больше историй,
брат Гримм,
все прочитано дочерям.
Теперь можно
уйти к своим
хмырям.

И я прихожу,
мой брат Гримм,
по лесам-морям,
бросаю с плечей
свой рассвет-дым
к дверям.

XII.2022

118

[...БРАТУ ГРИММУ

*А у порога, Брат Гримм,
теперь матрешки стоят.
Мал-мала меньше, одна внутри
другой – о нас говорят.*

*Вот, говорят, смотри,
кинули кости свои то здесь, а то
и вовсе там, брат Гримм!
Да, говорим, и то...*

III.2023]

Литориновые этюды

##

После восьмого удара она снова вернулась
В лоно большой страны
Эпоксидка сочилась на камбий
В камбузе торчали головы рыбы
Вот что ты сообщил в своем сабже
Саботаж, мой друг, саботаж
Себеж, мой друг, себеж
Сесибон, мой друг, сесибон
Домино, мой друг, домино
До минор
Пересекая пролив
Мы догнали вчерашний день

2017

##

Пока пастушок качал зыбки новых моделей,
за слюной что-то сопело, поспевало,
прыгали напряженные корневища,
сопредельные государства.
Читая программу озера слюдяного,
выйти из берегов
чаяла новая вила. Даже если Лидо — муляж,
с иголки обитый вагонкой. И вагонка —
завод — еще не закрылась. То у старых
ворот красивые девушки. То ли наоборот —
старые девушки у ворот красивых.
Уже не слышат
шаги колумбов. Чуни свои не считают.
Берегут
Четьи-Миней.

Беруши
хранят молчание.
Тихо поскрипывают
Корыта-ушата.
С прописной буквы.
В деревушке Чунь Ли.
Чувства теперь образуют
систему дисперсную.
Перстни, перси, фильдеперсовые дела
спрятаны в чемодане.
Музыку ждут
не здесь. А в доме напротив. Лобные
доли шестнадцатых. Дворжак,
Игорь Берукштис
(был такой джазовый исполнитель)
в новом свете предстанут.
Номер поди по
диа-гонали, в шестистах метрах
отсюда звон склянок или бокалов
и происходит.
Тот, что не слышен.
Но глагол «отгони» вместо калиточного.
Для всех притворившихся
католиками, православными.
С эвкалиптовой мазью на все венцы,
короны, костры, случаи жизни. Минуты.
Хотя Лидотель — это сказочно схоже
с латышским словом, символизирующим
искусство воздухоплавания.
В шестидесятых тоже раздача была
моря. Шума его. Был он более пряным.
Не таким прямым. Тесным аккордовым
расположением. Но внимательно,
как и сейчас приводняются за фужерами,
приземлялись в Румбуле, тщательно позабыв,
что еще недавно там опускались ниже

уровня литоринового, плитуса адского,
хорды вся земли, принося жертвы
меандридам-мегалодонам,
расставляя флажки
в соседнем урочище.
Не рассказывай мне про Магдебург
и Дессау. И о том, что Рупшин дергал за нити.
Прибереги для других
злонамеренность,
риторическое вранье.
Беломраморный блеск с прожилками
отражается в темных
стеклопакетах.

2020

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

Сома огромных размеров нашли в реке под Черкассами.
Из ленты новостей

и я знавал седого грека
он был отцом контрабандиста
рассеян день и льется млеко
на месте солнечного диска
он подрабатывал в яхт-клубе
его девчонку звали Санта
(рыбачка с балтики полюбит
в лучах янтарного десанта)
план отвратительно заманчив
в тряпичном мире нет игрушек
и младший Дорсет — милый мальчик
однако Билла тряс как грушу
виновна игрек-хромосома
в разведку с ней, она не струсит
найди в пруду хромого сома

и ущипни его за усик
еще попробуй грабить будку
где правит старая дворняга
а жир смущается как будто
но говорит, что он ни дня бы
не задержался в рыбьих чреслах
костяк навроде комбидресса
дрессура помогает слабо
на берегах древесной лавы
кору и камбий будем трескать
когда космические тучи
торос трещит и льдину пучит

Онегин жил тогда в Одессе
и в Каменке, но если здесь ты
здесь и сейчас, какая жалость
твоя подруга разбежалась
знать скипидар иного века
кипит и парит человека

от галактических невежеств
уехать в город Паневежис
где литориновые сосны
искусство весен високосных
вискоза плещет у виска
от эпоксидного эрзаца
давно пора нам отказаться
ведь есть и килька, и треска
как говорил мне друг Касмынин
как путь намеченный треской
как Строк в Харбине-Хошимине
здесь нет покоя и в помине
(капут банд[у]ре есть покой)

от паводков и бифуркаций
и женских чар не зарекаться

ночные тени пляшут дико
сожжен в камине Жан Жене
меня не хочет Вероника
я нравлюсь с ником и без ника
но только собственной жене
не скроет лучший пиджачок
твой отвратительный гештальт
дверной моргающий зрачок
и на цепи штабная сталь
и шурились во все лицо вы
и посещаете балет
тускнеют руки, окольцован
на апельсиновом столе
на рюмках цокая, меня
моя красотка не догнала
из панорамы звуков дня
нацедят сонные сигналы
«У Менелая» болтовня
клубок бесед о Че Геваре
компот, кипящий в самоваре
чай из пяти счастливых трав
мышкуешь, даже проиграв
но мешкаешь, зайдя в виварий

из допотопной конуры
давно затопленной слезами
уже не помня о сезаме
наружу лезут гусяры
и о тебе они поют
на лоб картузики надвинув
(и кони взнузданные ино-
ходью, хоть ты почти на юг
где греки под одной обложкой
и не свирепствует тоска...)
сегодня вам сыграют ска
Сковороды на тайных ложках

казачий курень, финский нож
купи три диска на Горбушке
«Поет и пляшет Исер Бушкин»
его на патоку умножь
в саду ли, во поле, во сне
чарльстон и вопли на рояле
в часах завелся постоялец
ну вот и всё, а вы боялись
что ялик веслами в вине

2009

**Из песен народных, собранных чибисом
во время полевых исследований**

1. ЗАОСТРОЖНЫЙ РЭГ

Обличают наши ба-
бы мужчин
Обливают тем, чему
каменьть
Гусь в башке летит, и нож перочин
Бй-река течет из Тьма ко мне

Грусть летит и мучит ночь
напролет
Безразличное молчанье твое
По степи или по тундре вольет
Прямо в жилы золотое шитье

Грета Тунберг всех возьмет
под уздцы
Над столом ее портре-
тик повесь
А пока паромщик пра-
вит концы
Корешками мы пита-
емся здесь

Ни сторожки, ни жилья, кореша
Ромом лечат ту печаль холодрыг
Ноги-ножницы в прыжке антраша
Режут пленку, но не «Скок» и не «Прыг»

Сколько можно в Тым впадать. Это транс
Мы засранцев ранцы ставим у парт
Холостяцкий дым станцуем на раз
И на Север, как учил нас Истпарт

Не тоскуй, ведь здесь не хлябь-Колыма
Если есть еще один водный тракт
Говорят, что скулы сводит с ума
Арво Пярт, а также скрябинский пакт

Но эстонцам будет сложно ругать
Ту психушку, где ушел президент
В море Лаптевых впадает нога
Бабка Ёжка здесь и дальше везде

Девятьсот км, Сартанг, Дулгалах
Высота истока сто тридцать два
Самандон — не вурдалак, не Аллах
В руки флаг, но ты останься сперва

На участке Батагай-Верхоянск
Гаплогруппы Эр-один и У-два
Ты меня так не ругай, я не пьян
И у дятла не болит голова

Плечевая кость уже не болит
Тихо брешет плейстоценовый волк
Сорок тысяч лет назад завалил
Рыболов какой-то древний его

Электричка, и биплан, и торцы
Старых книжек, или хлам в рюкзаке

Это речка или кличка на цы-
Почках спелых, это кряк в потолке

Но перцовку пей, ведь все на фу-фу
Кто нанижет ряд случайных стежков?
Держим головы мы в книжном шкафу
Заряжаясь от чужих корешков

2. БАЙКАЛЬСКИЙ ДЖИТТЕРБАГ

Как до Алдана будет ближе?..
Иосиф Уткин

Дважды уже не войдете в курятник
С камнем подводным.
Важно, что станет твой фартук опрятней,
Что-то подводим.
Не подвести бы друзей, а покамест
Множим итоги:
Пустошь вынослива, сердце — не камень,
Пятна на тоге,
Шов на колготках, тело и локон
В дом францисканцев;
Праздник под водку, стекловолокна
Коммуникаций.
Разница всё же — штоф или брови —
Чайки из дома домиком чайным.
Что нам итожить, братья по крови,
В сайках подовых, в гирях пудовых,
На обечайках?
К зимней заимке заячьей разве,
В той Мангазее,
Вы улыбались разной заразе,
Цел магазин и телесообразен
Чучел музейчик.
Чуден тулупчик и слепок пожара.
Без обещаний

Странная глупость налево бежала
За овощами.
Цел баргузин, и Тюссо отдыхает,
Путь до Алдана.
Кто ты — жена ли, невеста, сноха ли?
Примем как данность.
Светит в окно подозрительно верно
Зрительным нервам
Этих небесных качелей таверна
С треском фанерным.
Скачет на лосях по старым ухабам,
Кажется кухней.
Луковый клопс мы оставим лукавым,
Пусть себе тухнет.

ДИАЛОГ

1

решение с запасом крутизны
ты давеча заметил что нигде
не значится заведомая ложь
работа отвечающая дня
задачам и потребностям усвой
такой простой быт нудный распахни
окно на стадион «Динамо» сам себя
(и кружку) подпираешь и бумаг
тесьмы катушку бухту одолжи...
спешите в Ригу — способ не стареть!

2

Найдется адресат и на Луне
Но в Энск ты лучше писем не пиши
Как в город отвечающий но не
Являющий лягушку камыши

Забудь короны не было. Дай в нос
На счастье. Тараканом товарняк
Быки речные скрежет на износ
И полукруглой фермы пятерня

А в Баде — воздух. В Баде на курорте
Затерянном в отсеках обещаний
По теме (если честно) по природе
Которая туриста не прельщает

3

Промозгица нам капает на мозг.
Под совами на Ангере ремонт.
На кремерский эпиталамный мост
Просовывает выжатый лимон,
Вползает словно сжиженный азот.
Про эрфуртскую фирменную скань
Ты эльфами из студии изо,
Гуситами расскажешь. Перестань,
Промозгица. Ты капашь из зорь,
Строчишь, как раньше пулемет Максим
На бюргельскую крапчатую синь.
Так Расскажи на всякий — ху из ху,
Рецептам внемля доктора Воф-Ху.
Распашка шла несобранной козой.
Как звался хан? Кончак, Кучум, Азой?
Хусим!

ИЗ ЛАННИТА

1

Говорят, на Астафия Ветряка объединилась Германия,
а еще прошел миллеровский концерт в ангаре Кингс Клайфа,
последний. На пост заступила,
как в Москве вечерняя хроника,

Он заразил даже вас, трансгендеров и вошедших:
Оглушающий взрывами, дикий смех.

2

Удивительно быстро, но это не радует, выпивается водка.
Убедительно быстро черкешенка формирует свое поместье.
Безо всяких заминок коллега на радио,
выспренно пишет свою подводку,
Николай Минх с оркестром чешет пьесу «Когда мы вместе».

В этой жизни ничто не водится, вывод сделал еще Вергинский.
Здесь зачем ты, май лав, не спрашивай, и, конечно, не жди приязни.
Знаем, плавали в Наркомводе, съели мы еще ту скотинку,
Повторяем зады: from Russia мы, и не лезем ни в сны, ни в князи.

Ехал чибис, академически, мимо девы, пьяного полустанка.
Ехал крыша, не удивляйтесь, он бывает мужского рода.
Начиталась Дэвида или Маргарет Митчелл аватарка,
сиречь — бастардка,
Как у Бродского, буду блядью из парижского огорода.

Лед мы слепим из парафина, есть сюжеты куда прикольнойей.
Все растаяло в Ванкареме, все просушим, бывает *schlimmer*.
Не пропустят в крем *de la Creme*, и если с Душкой в одном флаконе
Осгут, Дафна и Жозефина, будь как тунбергша — бей на климат!

Дескать, в этот каяк не влезут все, а тем более без горилки.
Ты зачем меня моришь дезою? Можно каждого перемаять.
Вот фатальный примат науки, слух по линиям обострился,
Продуктовый русский лабаз в Берлине в ночь сгорел на восьмое мая.



por Дима Драгилёв & Kristaps Vecgrāvis

накорми свою память посмотри сегодня что-нибудь
офюльса и кинутасы не утасло чтоб у друга на участке
над стружкой появляется первый арбуз хороший оммаж
главное слишком рано не отойти от курса и кино не
заменить какой-нибудь умозрительной образностью
хотя хоть кальку бери что там что там формулы старика
и ходы мармадыюка нори ещё на столе а рис с маслинами
уже съеден уж больно встреча наша на той опушке
затянулась будто держали экзамен мы по эмалям хотели
ещё спросить да карточка нужная запропастилась куда-то
только в шутку про псилоцибе и не менее серьёзная
просьба правильно записать имя giusto severo pertinace dacci
хорошо поймёт буравицкий состояние зато столько не
тех о которых хотел говорить композиторов но которых
всегда вспомнить приятно случилось пропустить статковский
шамовский буланже и ещё ближе а всё благодаря тому
что дюка и видаль мельцер-щавиньский михаил кондрацкий
настоящий заводной апельсин для друзей изыскания
небольшина не больше чем на день рождения произнести
хвала и всё таким как святослав чекин а чем тебе
собственно чекин-то связь такая с эшпаем и маршами
я ведь вижу тебя насквозь всё тянешь к конфликтам
музыки и бессмертных картин тебе не хватает до испытаний
на атоллах которым названия помнишь только ты
будто всю жизнь провёл с карандашиками над местными
газетами красный и синий а какая картина раз уж
так зашло далеко прославляет баллиолов берега мел
какие-то мутно постройки вдали и очень чётко гнездовка
юмор как в фильме зелёные мясники но да ухмыляется
левитский правильно кариотип по таблице не зря же
столько у кого-то плёнки у некоторых репетиции

а у третьих мегатонны филипом шаффом кого нашёл
 заинтриговать но не уходи так далеко джованни росси и
 клеофонте кампанини и мультфильмы времён
 меня снова выбросило в парму но хорошо я как раз
 думал о судьбе бедного короля довелось же ему себя
 показать а если бы характер муссолини знакомый мне
 с детства был в большей степени с характером эфиопа
 схож здесь мало звука хиджра по мрамору по водорослям
 продолжается всегда и пока бульдозер последний
 не сойдёт с холста самолёт в небе не остановится праздник
 и потом ищи девушку по фотографии жди ругай себя
 за робость чтобы потом так же робко признаваться
 в любви но зная не смерть и не память главные разлучники
 истинных заговорщиков жопой кушать можно
 только индексов жди только вспомни как ищешь
 правильного человека зная только год что на линии
 времени так далеко от тебя удалён что возрождения
 не видно ещё но уже есть роды что до сих пор в трудах
 на свету и что данте им звенья одной цепи на берегу одной
 лодки главное потом заплатить кому главное признаться
 влюбившись и может своим остраконом спасти

##

великий классик ԳՅ ՈՏԿ ՔՕՔՈՒ великий друг теперь народов
 империя дышала бы светом цветов если бы не кровь заговоров
 до самого конца так пески и болезни налаживают древние
 культы доносятся из всех элементов из элементов христианства
 из роз из песков из крови и ветра кровь сидамо пока музыка
 но приграничные не знают терпения сейчас мы сравниваем
 с лучшими оставив специалистам тени панчатантре оставив а
 ждать негус лично встретит удар в барабан и аксум но слышу
 оромо огромная радость кадр гимнософисты показывают свой
 колодезь оромия не чувствующим всех ещё тонкостей астрономии
 дарит центр смысл очередной подвигает хадия калила ва димна
 возвращается сон с отчётом кади со стягами по острой траве

адаль но всегда были на султанов сутаны кровь ветра кровь
льва и жирафа не рассказывай о знакомых тебе последователях
культа тамрат таддесси скажет лучше в его руках такая наука
θάλασσα вместо рядов афар агау фалаша моря путешествий
зеркальные праведным невозможны иные загадки рукопись
оставляет след как пену волна с сетями лодками и обрывается
своего рода закол присягнувшим под водами фракталам и олу

##

и вариации долгожданные к горлу
нет — сок прямо в кувшины путницу
мою любимую сопроводи до ворот
в корзину положи чтоб унесла банки
город — доверительное лицо ближе
лени-в-нас разврат холодные будто
его и нет только глотни я вижу
как старые абаки как телеграфные
сети — должники этого: скоро?
я чувствую как в вариации время
теряю артефакт не хуже изолятора
иголки кроненшпробки я люблю эти
мелодии и ещё вернутся к порции
нет ленивых пока жив на этом
пути среди возвращённых проверь

##

пока твои счета не превратились в легенду
и суицид остаётся ритуалом незаметным только здесь
только здесь пока хочешь растений им не готовят
серьезный асфальт на двоих вечер твой чай
мои первые вещи числа и только потом алкоголики
на лестничной клетке но старые знают термины
которыми описывается пестуется этот порядок вполне
мой приют на неделю ли аптекарь нужен

каждому здесь а не выхлопные грузовиков обороны
 контракты увеличение скорости движения
 границы скопления людей и дальнейшего из песни
 кровь универсум растений восточных ещё наш север
 способен ром переработать хочешь движений
 не поднимай телефон разрывает буква блокнота
 стену отделяющую меня от тебя не пауком у алтаря
 агентом мысли своей продолжать хочу сад
 тот же ром это легче если нащупал интересующий
 миф социальный мой друг поверил в призыв
 и я жду как от свечи воды социальных ритмов
 понимаю земляника клубника не все могут на
 центральном рынке здесь строят трамплин в мелкое
 будущее где без гомеопатии немислим офис
 но нет никакой мистики мы на кладбище не курим
 траву вид ужа совершенно забыт на такой скорости
 я не могу прогнозировать только письмо красоте
 только данкены и лексемы значительно проще глины
 пока не подошёл к текстилю слоны и верблюды
 зелёные как все символы нашего мира без подмены
 пляж был и камыш и птицы международная
 вспомогательная скоропись во имя любви мы
 снова просты твои друзья снова смотрят наши бокалы
 сухи пусть делают что должно трансцендентные
 слуги и люди на страшной службе своей пока
 живы береги талисман чудотворное действие
 этих слабых порывов ветер каменный лев эстафеты
 на голубом глазу для них хочется спасти этот
 мир и мозаика ещё не в конец развалилась любимые

##

кожу долой камни долой
 тьму долой солнце долой
 слепота разрушается
 тишина абсорбирует
 их и себя

тебе и городу тень
не возникнет так и
останется нетронутой
как жизнь
которой не дано
запомнить
ночей и дней бокалов
стрельбы и берега
я шёл бы им
ещё раз
славный город вина
не жаль ещё наполнен
пустотой теряем
воздух теплее чем вчера
гремят гудят ненужные
детали
акварелисту
оркестров
нам надо ещё меньше
здесь в окружении
парней безвестных
вилис лацис проходил
уже работал
нос помнит город
иду я в барселоне
нет этой тяги
к твоей земле
зимой
местами и зелёной
кроткий
от слухов
как жизнь
запинаясь ты ещё жизнь
её чем-то наполнишь
ненужные пятна света
лёгкое опьянение

некий секрет
что даже если
раскроют
ни мускул
на моём лице
ведь ничего
в нарушении
даже нет над люком
сургучным
закона

##

фармазон
это улей чудес и таких же ресниц
здесь тарелки без мороси
а прослезится тончайший из классиков
там нарциссово поле там пикник
этот день не разрушен походом
эта рана рождена для застолья
я не жду пока путь мне проложит судьба
над своим я не думаю
эта тема серьёзная
знаешь когда всё бежит и тоскливо
когда и бижутерия дорожает другая
узнаю
сам же привык всё раздаривать в зрение
веруя
зная завет камышовый руин и пруда
в темноте что и пиво не пить
а вернуться в беспохмельное
странствие карт не нашлось дурака
мы не станем орган насиловать
снежный плов
также снедь тоски жну незваные тропы
и не пустит кто знает и остальные забудут

чем раньше закончишь
тем дольше будешь в пути

XI-25

##

крепки ещё иерархии в людях
я не любовник не духовный наставник
можно конечно не даже просто
близкий друг поэтому нет повода
для встречи как же порой получается
вот уже говорим о чём-то общем
вот уже эти знакомые улицы
неудобство это правда что можно
начать правда тяжесть но и не напиться
этим поверишь уже невозможно

XI-23

##

покорно допивала ночь ломала брови
знания глаза слипались знаешь толк
покуда россыпь от угла к углу
я не забуду как лакуны рождались
главное из чего слова росли
ответственности бралось меньше

XI-10

##

я к тому наконец приду что потеряю близкого
караван уползёт благо путь близок
потеряю окончательно тогда же придётся снова
прятать книги выдумывать истории
придётся снова долго бродить где-то во избежание
разговоров бояться за свои собрания

за любой ответ зато
мне легко будет встречать друзей и встречать
девушек знакомых девушек и новых людей
другой держать реверс-ответ легкомысленно
ты скажешь не потеряй друга-по-цеху он
насторожен в нём действует не один тайный порядок
и он видит лучше куда выводят псалмы пока

##

манит магнит
белков нетронутый очаг
стихов
кривою тронется дорога
покрывать
как у мастера был
элемент разгрузки
ясколка

яснотка

я сколько ясности хочу
от своих полей

бог

туманов
маковые осколки и пепел
маковая флуктуация
мака напряжение

результаты

ястребинка

ятрофа

я тропами трофейными
иду как ребёнок

старец

смалец и сланец

осталось

под слоём плаща

нет торжественности

ТОЛЬКО И ВСПОМНИТЬ
Тронулись маки
 яснотка
язвенник
 пальчатокоренник
якорцы
вот и все ценности
какого-то места результат
всего труда
 холодной деформации

##

не вспенит старых сильных чувств
но хоть посмеёмся хоть наметим абстрактных
походов и сборов лица привидится
ночь потрошит на камнях косяк сети
на тот же воск походят жирандоли ребячьей
провинции что вдруг ближе как умершим
так и вновь достающим до верхних полок мне
помоги говорит чудо вернуться лебедям
металлическим с дверей и малиновому звону
и шорканью обуви мы в сумках бутылки
теперь без привычки аккуратней несём
и насадки заботятся теперь о граде
мы редко встречаемся мы не пьём в старых
барах мы вообще никуда не идём
есть бетонная стена в граффити камыши
у железной дороги там вечно что-то роется
от моста возвращаюсь к пруду мои диалоги
во мне и ещё больше сидра с вином и пивом

##

может хочу доложить ветряки стоят
нет в моей ране яда нет и печали (пауки

сейчас спросят суки демократии ради
явьсь ним не видно спасательных кругов
нас от берега гонят ледниковый помёт
от избытка тепла они вдруг теряют
власть над тишиной но не над
астролябией из скважин плещутся
простят серебро ребро
в горячих источниках памира
слушатель сплошь солнцу
без проговорённых методов без даже
своей истины закончились-с
как статуи в парке при этом
споры даже собирательство с
обменом плохо ключ ссор значит
начало чертежа с бойницами или
меньшие системы не сразу столица
за дубровы ров топи и не спи народ
ночами рынки налоги табак даже если
совсем дорого прекращены
все исследования закрыты
обсерватории учителя поздние
не сожжены разогнаны что может
хуже при такой пестроте бижутерии
глянца и свободных ганглиев при том
пещерный фотосинтез английского
изучайте могло быть приливы
солнечные инструменты для себя
собирательство и прощаемся
с миром навсегда что мне до того
что за этими топиями с вайями
выпью и гати твои песнь неточная
моя лишь иногда оттого всё лучше
пьянее надёжней

VI-12-/MMXV a.u.c.

Hagensberg ༄ཕྱོམས་

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན

Марсель Шульмон

##

конечно протестовать
не получается но и не река
чтобы нести корни
деревьев в себе камень
переворачивать он ближе
к берегу чем ранее
рѐв бури луч света солнце
тесто чудесных превращений
солнце ожидание
моя работа с друзьями
мои ночи с музыкой
моё слабое зрение
выходящее в красивые
буруны пастбища свои где
мелкие руны и майя
где пчёл
ворон вертишейка любое
присутствие что ожидают
корни встреча слышно
друзья для духа
бурили ночи теряю нет
сейчас уж ничего
одно продолжение это ночь
это труд краски тома
и энциклопедия на перьях
и музыка чуть ближе и
богаче разворот
лапки жука неплоха латынь
его для каллиграфии
любовной как центр после
и нить можно тянуть
в любую точку мира

#.#

получается следующий праздник только новый год

(10/08/23)

#.#

подпись дня рождения
неожиданное пока
падежи не уйдут тебе
мужское женское есть
дактилическая
константа
любимого верный
дубликат од и блуда
доломит еловых
испарений
гжели скань пока
смотришь впереди
себя и адрес тоже
неожиданность должна
быть полная
удивительные
кажется некоторые
больше знают неужели
ради этого
разговора

VIII·12

#.#

сравнения с забытой страницей нет
я который раз повторяю про крест здесь
нет тех поздних намёков здесь и другой
свет

я без него пропустил бы ваш придела
 блеф
 эта вера какая готова расти в духоте
 созерцающим любящим пена потока
 сегодня без дождя голодным выйти тебе
 минуи зубная боль осенних гор раскаты
 провожают правильно ли делаем

но вставай я не для того проклинай
 проповедовал и куёт сам магистр
 песчаник
 я ничего не хочу кариатида от тяжких
 ночей одиссея действительных
 чисел бьеф
 золотого сечения ждёт констрикторы
 наши ещё не готовы
 поверните к оставшейся на тёмной
 лестнице
 я хочу видеть

VIII-19

#.#

любители анала
 не бродят вдоль канала

#.#

я понимаю особые дары внимание
 истории
 я повторяю всё те же чудеса земли

πάντα ῥεῖ готика πάντα ῥεῖ готика
 πάντα ῥεῖ готика πάντα ῥεῖ готика

я понимаю особые дары внимание
истории
я повторяю всё те же чудеса земли

весь мир показан всему миру ясно

πάντα ρεῖ готика πάντα ρεῖ готика
πάντα ρεῖ готика πάντα ρεῖ готика

meta meta puchu-puchu puchu-puchu
meta meta puchu-puchu puchu-puchu
gu gu
meta meta puchu-puchu puchu-puchu
meta meta puchu-puchu puchu-puchu
gu gu

πάντα ρεῖ готика πάντα ρεῖ готика
πάντα ρεῖ готика πάντα ρεῖ готика

и всё лишнее отпадает само собой и
всему хочется протянуть копию
задержаться ещё на пару часов дождь
πάντα ρεῖ gu πάντα ρεῖ meta meta

не мешает прибором изваянья царей тех
диких говорят племён тех правильной
веры тех лучшего слуха и меры

и ничего пиблокто 悠著點 悠著點
悠著點 хочется прежнего течения
любви в дорогих мыслях дорогих
приветствующих но как может вода
камень точить так хорошо слово
любое труд мысли может труд что

всегда с тобой то дыхание те самому
понятные инструменты поведения
холодная мишень и случайный цвет

πάντα ῥεῖ πάντα ῥεῖ πάντα ῥεῖ πάντα ῥεῖ

VIII-07

##

курить бонг это как
играть на варгане
заиграл

VIII-10

Торлоб Шлоссфрай

##

в нектаре в рассвете приветствия
полегче проворней тропа и порода
слоится до моря золотыми лунами
это держат мечи загробного мира
есть и другие меры но между ними
не так хорошо ориентируются есть
и с нашей стороны отклонения чудеса
спасающие рифы при такой работе
обречённые под давлением отдают
лучшее просим ещё способные
верить буфер только от буфера на
опасное расстояние отойдёт перевернём
всё проверим коллекцию института
так сказать в рассвете без сил
без любого иного правда бденья
развиваем все вместе всё же
огромную скорость проверяем самые
интересные эффекты чем дальше

они от словаря пусть и в нём
просторы небитые не травят и
примыкающий порой прорывается
мир дешифровка по лучшему
фильмов эклог продуктов температур
по лучшему партнёру иметь
немного при ожидании больших
побед довериться таинственной
харизме и старому как всем этим
печальным пряткам року

VII·30

##

не проверить не институт тяжелейшую веру только приветствуй
разбегается мастер преследуя образ всё рулон разворачивается как
фарфоровый изолятор неожиданно быстро и банки на подступе к
открытым литрам где покрытию делать нечего так привыкли кто ж
знал храни терпение привилегия не пропустят без равноценного
пения зачем убеждать что не я их благой поводыр а после пасечник
совсем объяснять нет никакого времени царское жжение в груди
и птицы заподозрили уже кажется какое-то время что-то неладное
а стройка медленно идёт и извергают новое стекло в морось туманы
и легенды что мы не напишем в две руки работали стратеги и большую
имеющие связь крепче проблем входящих в порт лишь твоего
сознания где и пространства нет и перекладываешь так легко что
есть другим конечно отрицая значимость у совести репутации не
может быть такой приток невиданной реки к которой ещё с косою
водят там люди с именами знакомыми у каждого не меньше трёх

VII·30

##

1.

и я их так же читаю как вы повреждённые буквы я пробую
и помогает беседа каждый доверенный будет должен другому
за что-то другое но пока за столом никому ничего не должны

2.

собраться и всё приготовленное называть вспоминать книги
в которых и на это стоит обращать внимание и к этому сводится
к культуре потребления алкогольных напитков есть традиции
сводится объяснение и немного о соусах как в древнем свитки
были такие фокусы помнишь в любой музыке здесь как с
хорошим соусом но тьмы не выбирать приди мне позже в помощь

3.

корпускулы разбиваются и не остаётся членов кроме таких как
существительное или глагол в беспорядке полнейшем повторений
то никаких то очень плотные серии возможно другое прочтение

VII-30

150

Мухтар В. Левкосирис

##

если выбрал перемен путь он
позволь идти

я бы тоже хотел видя яхты и
бедность увидеть ещё

как грузят мои бумаги и книги
как разгружают

услышать как читают мне
переводы и как на варгане

ведро видеть трески улов
небывалый кто младше смеётся

в бухту с тобой сходить а всем
рассказывать было в кино

фильмов снимают хороших
не меньше чем ставят

на сцене хорошего или же
только музыка может

равняться я был в рижском
заливе и не нашёл никого

спросить о положении в
науке я также узнал жизнь

берега балтийского как та
теперь к которой успел

привыкнуть на других берегах
но соседи что сами не

зная того ждут случайный
характер присвоив надейтесь

до кладбища можно долго
идти но есть и вдоль берега

тропка там встретить кого-то
нельзя там притормозить

можно но надо быть тише
тогда приезжать можно чаще

отдушина новая
достаточно сделать усилие

VII·15

##

рыбные хозяйства в которых бывал
правила отrekliсь от двойственностей
рыбные хозяйства от которых расходятся
тропки где кто-то настраивает уже
гитару а кто-то зло думает кому нужно
начинающему обрадовался остаётся
даже когда сам говоришь позади уж
непрерменно позади и они мои во снах
иногда ещё переставить что-то желающие
навестить тропки те в облепихе
радость медленная но самая живая здесь
столько убилось народу а нас клонит в сон
говорить тем не менее легко обо всём
обо всём и приходится иногда туманно
чаще всеми доступными другими способами
как часто не имеет значение часто
но иногда хочется что-то отметить
с кем-то отметить хоть бы за рыбным
хозяйством идущим к концу в своей темноте
советские красные блоки кругом деревня
у канала каждый друг или у горы угля
вываленной отметить за пунктом сдачи
металла у них кузнечиков высокая
трава у них вначале крапива а потом
почти топь но лежат для своих доски
доски наследовать с радостью туманы
каждое утро потом спросят дедушка а зима
в свободное время понить нет холодного
пива потому что есть те кто любят открывать
своё дело и ждут меня и за рыбой пошёл
сосед разгрузит другой тару позвонит
такое колесо событий но я жду в камыше
и они знают если пришли а меня нет то
свободны а волноваться не стоит я вернулся

и уже ужин подогрев продолжаю писать
может в следующий раз прямо на концерте

##

тинктуру берёг к твоему приезду
планы рушились на звёзды смотрел
забывал

скорпионы боролись только победив
хомяка чудо за чудом
под атаками ежа пали

я представляю как потом с утра
тяжело
книга в руках но уже внутренний
голос не та это книга в сетях
ты вчера паука оставил
рано рассудок

он строит свои на новой земле
кашпадокийские планы
на фарфоре рис осьминог
на гладильной доске остывает утюг

все мы вин шторма уже отведали
и героями точно веды о нас были
перелистни

VII-12

##

хорошо когда у тебя вполне чёткое
представление о наследниках
хоть ничего не болит хоть ещё своим
голосом своим ухом а глаза видят

приглашают у реки выпить
выступить на встрече сказать
провожают до переезда
смотришь и спрашивают и да

это то

в ступе вступления плещется
уже корм
хороши рыбаки наши остры на язык
можно слушать
и каждая беда теперь приносит
пользу
и с каждой можно вечно жить не
меня позы а позже и зачтётся
и голосом своим

154

VII-15

##

лишний раз не кормить
себя ужасами
тяжёлыми
грамотными или глупыми простой
расчёт

замечательные сны обтекают
оптика будто бы всегда готовился

провожаю своих свои не спрашивают

покоя или прозрения
иногда я хочу картинки но не могу
её получить
но будто бы и не так сложно даже

не нужен проводник или
больше терпенья всё должно быть
нормально
так что же учитель

VII·15

#.#

где место
откуда нас не гонят кто люди
что нас не гонят
дом в который враг не входит
суп который враг не спросит
дни когда совсем спокойно
кто эти люди
зачем мне даже этот
город
где сад ждёт в который друга
пригласить
какого дерева тот стол за коим нам
сидеть
подругу ждать с вином и ромом
и малиновой
и грушевой
молоко с черникой хлеб с мёдом
трава сразу за яблонями
рви друг

VII·17

#.#

метры их злополучные
река сомнений но
мыльнянки чертополох недотроги но
кто-то пройдёт но
я так часто хожу этой тропой и

##

одна мёд подрежет
одна мёд подрежет
одна мёд подрежет

одна мёд подрежет
устанет
а тут дна и так нет
а туда без труда
а тугая беда им зачем
она дна без труда
достаёт
голодающих нет ведь
голодающих нет
ни в париже ни балтика
ни в париже ни балтика

яблок сок побежит
для тебя она режет
для тебя одно держит
я стою в счастье нем

VII-22

Юрис Куннос

* 1948

+1999

Ояр Ваццетис

* 1933

+1983

РАСЧЛЕНЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Обкусал кожу вокруг ногтя. До крови. Палец был большим, рука — правой. Обкусал кожу вокруг ногтя. До крови. Палец был большим, рука — левой. Он бы ни за что не бросил это нервное и болезненное занятие — оставалось ещё восемь пальцев, если не считать ног, — но гонка закончилась. Латышов сдох, Халили пролетел мимо подиума, Логинов снялся ещё до старта. Кто такие? Не важно. Слабаки. Мудаки. Слабые мудаки.

За окном стоял игольчатый синий цвет. Ему даже показалось, что иглы незримо пробиваются через стекло и шторы, окружают его, медленно впиваются куда-то под левую лопатку и в пах. В этих местах была не боль, а тревожное раздражение, но вот обкусанные пальцы — пылали.

160 Подошёл к зеркалу. Лоб вспахала и надулась, как полноводная река, вена — признак бессильной злобы на биатлонистов. Или признак боли — ноющих кровотокающих пальцев. Или всего сразу. «Сам ты слабак», — сказал зеркалу. «Сам ты мудак», — сказал зеркалу. Хотел добавить ещё что-нибудь испепеляющее, но не вспомнил ничего нужного. Вообще ничего не вспомнил. «Сам ты слабый мудак. Сам задрот», — сказал зеркалу. Отошёл от зеркала. Потоптался в двух метрах от зеркала. Вернулся к зеркалу. Потоптался у зеркала. Почесал правую бровь, но больше не выдохнул ни слова. Это сейчас, а тогда...

Тогда он ходил по бортику, а она плескалась у его ног. Фыркает как собака, думал он. Раздражает, думал он. Уродина, думал он. Вода была какой-то вязкой, даже — желеобразной. С хлоркой, наверное, напутали, думал он. «Что вы там гундосите?» — спросила она, барахтаясь в желе. Получается, он не только думал, но и шевелил губами. Проговаривал. Беззвучно. Сам себе. Или вслух? Такой хрени с ним ещё не бывало. Или бывало, но когда-то — никогда. Или... «Гундосите? Надо же», — почти удивился он редко-му слову. «Именно», — весело кивнула она из воды и нечаянно хлебнула увесистую порцию хлорки. «Я плавать не умею», — сказала она после того, как откашлялась. «И что?» — спросил он (фыркает, раздражает, уродина). «Научите. Вы же инструктор», — сказала она. «Аааа, вы меня клеите. С удовольствием бы, но я женат, вот, ага, девушка», — неожиданно для самого себя ответил он. А потом (ещё неожиданнее) показал ей обрубальное

кольцо и протяжно дунул в свисток. «Вы не профессионал. Вы... Вы... Я буду жаловаться», — возмутилась она и опять хлебнула хлорки.

Разбирательства длились полдня. Сначала в кабинете старшего инструктора, потом в кабинете директора смены. Письменные объяснения, приказ о наказании, лишение квартальной премии. Чёрные тучи, ледяной дождь, выбитые зубы у сына. Про сына — это уже позже. Это после работы. Поехал в детский сад, забрал своего шестилетнего пацана, но пока выруливал со стоянки, тот выпал из машины, здорово расквасился: нос треснул, четыре передних зуба — долой. «Ты что, забыл его пристегнуть? А дверь? Почему открылась дверь? Как ты мог!» — пилила жена. «Хорошо, что скорость была игрушечной. Хорошо, что вырастут другие зубы. Ты его чуть не убил!» — пилила жена. «Знаю. Уймись», — огрызнулся он. Он знал. Он страдал. Он любил сына больше всего на свете.

На следующий день эта уродина опять бултыхалась на ближней дорожке. «Научи женщину плавать. Только не с бортика. Ныряй к ней», — сказал старший инструктор. «Это будет как бы нашим извинением за твоё свинство», — сказал старший инструктор. Пловчиха слышала каждое слово. Она улыбалась. К концу первого урока девушка держалась на поверхности не так беспомощно, как раньше. Она уже не была так уродлива, как раньше. И он передумал её топить (как раньше). Прошёл день. И ещё один. И ещё. На четвёртый день и урок она превратилась в привлекательную молодую женщину под тридцать. На пятый день и урок он угостил её чаем в кафетерии бассейна. На шестой день и урок она ныряла и выныривала как русалка, а после занятия он подбросил её до дома. На седьмой день и урок они переспали. На восьмой признались друг другу в вечной любви. Потом устроили себе трёхдневное путешествие на горнолыжный курорт. Ничего заоблачного — это здесь, под Миассом. «Ладно», — сказала жена, узнав о первой командировке в его карьере. «Ладно», — сказал старший инструктор, узнав о его чудовищной простуде.

Потом ещё неделю он не мог решиться. Как уйти? Он любил сына, да и жену — тоже. Но пловчиха совсем свела его с ума — без неё не хватало воздуха. И вот когда он собирался заговорить об этом самом важном, нелепом, постыдном поступке своей жизни, его опередила жена: «Странно, что ты ничего не заметил. У меня появился другой. Это серьёзно. Я ухожу». Ну, она сказала не так опереточно — как-то по-другому, растягивая и теряя слова, как бы извиняясь и одновременно проявляя твёрдость. На его

лбу — скорее всего — набухла вена. «Я не отпускаю тебя», — сказал он без металла в голосе. Сказал как слабак. Как проигравший. Как поверженный. Он пытался отговорить её, умолял, угрожал, призывал подумать о сыне, он совсем забыл, что сам собирался бежать не оглядываясь ещё пять минут назад. Но какая-то точка невозврата уже была пройдена. Оставалось — смириться. Почти успокоившись, договаривались на кухне о главном и не очень: разводиться надо без вражды, по-людски; сына никто прятать от кровного отца не собирается; она переезжает к новому возлюбленному; бывший живёт здесь, пока не продадут квартиру. Это тогда, а теперь...

Теперь уже несколько дней, как жена и сын испарились. На работе, войдя в положение, дали отгулы. Пловчиха непрерывно названивала. Он не отвечал. Не хотел ни видеть её, ни слышать. Вот-вот начиналась женская биатлонная гонка. Эти ещё беспомощней мужиков, думал он. Черепахи, думал он. Утоплюсь, думал он. Обкусанные пальцы саднили, полыхали вокруг ногтей кровавыми ранами. Но оставалось ещё восемь нетронутых, если не считать ног.

Он раздвинул шторы. За окном больше не было никакого игольчатого света. Был паршивый декабрь. «Это время разъединения, время расчленённого человека»*, — сказал он. В мусорном баке, прямо под его окнами, рылся пегий пёс. Он как-то умудрился запрыгнуть в контейнер и теперь раскидывал ненужное по сторонам. На минуту (нет — на секунду) пёс бросил свои дела, поднял (нет — задрал) морду и увидел человека в окне четвёртого этажа. Человек, подумал пёс. Человек увидел пса. Пёс, подумал человек. Или не просто подумал, а сказал. Вслух. Беззвучно. Одними губами. Сам себе.

КТО ПОСМЕЛ

Пегая собака (а не пегий пёс — большая ведь разница) выпрыгнула из бака, прихватив кость, от которой шёл гадкий запах мокрых окурков. Ничего другого не нашлось. Можно было поискать ещё, но следовало торопиться — её ждали.

*) Все стихи приводятся по книге «Поэзия Латинской Америки. Перевод с испанского, португальского и французского». Издательство «Художественная литература». Москва, 1975. Здесь: из стихотворения Карлоса Друммонда де Андраде «Наше время». Перевод — Марк Самаев.

Когда-то она считалась почти породистой сукой, вытянувшей счастливый билет. Жила себе на полном пансионе в квартире то ли архитектора, то ли скульптора — человека ветреного и капризного, но ласкового и любящего. Ошейник за сорок тысяч (в рублях, конечно), ежегодный отпуск где-то там, на тёплых морях, и возможность спать в одной постели с хозяином — чем не признаки этой любви? Была, конечно, и обратная сторона счастья — что уж скрывать — ничего идеального в жизни не существует, не так ли? Этот архитектор-или-скульптор обожал кошек, держал их при себе дюжинами, подбирал на дорогах всяких там больных-увечных, ташил их в дом, чтобы накормить и вылечить. От хозяина всегда несло кошатиной, а это похуже перегара (брррр) и даже мокрых окурков. Его питомцы сбивались в стаю и гоняли пегую собаку по периметрам комнат. Потом она выслеживала врагов поодиночке и справлялась с каждым из них. Ни о каких ранах, не совместимых с жизнью, речи не шло, боже упаси: так, по мелочи — кому ухо отгрызёт, кому хвост передавит (не такие уж мелочи, не правда ли?) — чтоб знали: всякое действие приводит к противодействию.

В один прекрасный день хозяин перестал пить напропалую и уединяться в спальне с сомнительными — по большей части — особями обоих полов. Потом настал черёд лечебного голодания, после дом заволокли какие-то шаманы, маги и целители. Дальше скульптор-или-архитектор поменял свою грушу крови своей же силой мысли и наконец заявил всей дюжине кошек и пегой собаке, что земля плоская. Были и другие отклонения, но питомцам казалось, что ситуация под контролем: так, небольшие тектонические сдвиги, до вселенской катастрофы всё живое успеет на десять раз издохнуть и возродиться вновь, но не тут-то было.

Однажды пегая собака так обрадовалась возвращению хозяина, что хотела расцеловать его от сухих — каких-то соломенных, ей-богу — глаз цвета хлорированной воды из бассейна «Металлург» до носков шведских (блатных, выписанных за евродоллары) ботинок, но не рассчитала силу. Она подпрыгнула. Столкновение пегой собаки и улыбки хозяина привело к ушибу мягких тканей (у неё) и выбитому переднему зубу (у него). С кем не бывает. Раньше о такой мелочи все забыли бы в ту же минуту, но в новых обстоятельствах на хозяина нашло умопомрачение. Он схватил пегую собаку за дорогуший ошейник, забросил её, как барахло (по-другому не скажешь), в машину и сдал приюту «Усы и хвост». Через два дня приют

заполыхал, но пегая собака не успела превратиться в горсть пепла, поскольку один работник, рискуя собственной шкурой, открыл вольеры, о чём позже сообщила газета «Южно-уральский меридиан».

Домой собака не вернулась, но жизнь на улице тоже имела свои плюсы, что уж скрывать. Например, очевидным плюсом был чёрный в седине толи-лабрадор-то-ли-нет, ухаживавший красиво, любивший нежно, но — недолго. Он пах бензином и свежей выпечкой одновременно — нереально и чарующе, как-то нездешне, будто прилетел с секретной миссией из другой галактики. Домой, к детям этого посланца (и своим — тоже) спешила сейчас пегая собака. Она давно поселилась в уютной норе, почти пещере, над которой гудела обёрнутая в новогоднюю фольгу и сказочно парившая теплоцентрально.

Шенков на месте не было. Пегая собака придумала не паниковать, а разобраться по горячим следам и действовать. Она со всем охотничьим тщанием обнюхала ребристые отпечатки обуви великанского размера у входа в нору и побежала на запах. Запах терялся в пивных облаках и выхлопных тучах, в желтушных метках других собак и островах коммунальной соли, в азотном свете окон и звёзд, в пьяных накрахмаленных голосах, в обглоданных деревьях, заснеженных клумбах, разверзнутых светофорах. Запах пропадал и появлялся снова, когда надежда вернуть его почти угасала. Теряясь и появляясь вновь, следы играли с пегой собакой какую-то несправедливую игру.

И вот она стояла над полыньёй. Лёд на озере Смолино потрескивал: начало декабря — морозы только-только пришли. Шенки не могли быть там, в немом царстве воды, они слишком игривы, чтобы молчать. Конечно, пока она искала их, они наверняка искали её. Надо просто вернуться к норе и ждать. «Страданье? Кто посмел сказать, Что я страдаю? Только следом За светом, памятью, победой Придёт моя пора страдать»*, — вспомнила пегая собака.

На пути домой её привлёк запах тушёного мяса (что ли). Прямо под расклёванной рябиной лежала внушительная стеклянная банка с остатками чего-то волнующего. Не банка даже, а — вот уж странно — аквариум. Пегая собака запустила в широкое горло язык, просунула нос, ещё немного продвинула морду внутрь и — попалась. Аквариум стиснул голову,

*) Из стихотворения Хосе Марти «Страданье? Кто посмел сказать...» Перевод — Овадий Савич.

словно космический шлем: дышать ещё как-то удавалось, но тяжело и болезненно. Мир с недоумением наблюдал за животным через жирное и вспотевшее стекло.

«Подойди, милая», — сказала женщина в шапке крупной вязки (жвшкв). Собака подошла. Жвшкв взялась одной рукой за дно хрупкого предмета, а другой — за шею пегой собаки. Казалось, стекло намертво впилося в скулы и глаза, но постепенно, покачивая-поворачивая банку (аквариум, да?), пританцовывая её краями вправо и влево, жвшкв освободила пегую собаку от удушливого прозрачного намордника. «Это всё мелочи, — стала откровенничать жвшкв. — Мой вот окурки об меня тушил, представляешь? А я? А что я? Думала, что сама виновата. Любила его, дура, жалела. И до сих пор — люблю. Или — нет. Не знаю. Не помню». Пегая собака лизнула сухую распахнутую ладонь жвшкв и поведала спасительнице о всех тревогах своего сердца: о бедовом хозяине и его кошках, о недолгом муже и мокрых окурках, о том, что под теплотрассой её ждут два несмышлёныша — пора домой. Она очень спешит.

ВЕТКА ДУШИСТАЯ

Пегая собака помахала женщине в шапке крупной вязки. Чем? Хвостом, получается. Женщина помахала собаке. Чем? Рукой, получается. Так они попрощались и разошлись навсегда. Почти стемнело. Неожиданно задул ветер — сорвал скособоченные белые горы с домов и ненасытных синиц с обомшелых кормушек. Вдалеке какой-то гигантский молот стал бить по наковальне, но во двор долетало только слабое эхо громогласного столкновения. Женщина знала, что это за набат: так составляют поезда. Откуда знала? От верблюда. Всю жизнь проработала на железной дороге, на складе. Поезда всегда были где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, но — отчаянно далеко: она ни разу не путешествовала на них к морю или в город своего детства, вообще ни разу никуда не выезжала, вот ведь жизнь... Так, что там... Набат... Составляют... Да, контейнеры и цистерны на железных колёсах съезжают с горки, притормаживая и ускоряясь, а там, где один рельсовый путь превращается в десять, безошибочно выбирают свою колею, едут-стучат по ней, пока не врежутся в хвост уже отобранных вагонов, которые все вместе станут новым товарным составом. Скоро он загудит-задышит и повезёт всё-превсё туда, куда надо. Женщину по-детски

восхищал секрет составления поездов. Неужели ни разу ни один вагон не прилепился к чужому хвосту, неужели ни один не потерялся?

Она вернулась домой и подумала: надо уехать, просто сесть в поезд и — уехать. Муж давно умер, детей никогда не было, как не было и хороших воспоминаний об этом доме, этой квартире — что она здесь делает? Доживает свой век? И что это был за век? Почему она всегда терпела издевательства того, кого ненавидела? Потому что боялась. Не любила, а боялась. Даже сказать, что весь ворот его пиджака в перхоти — боялась. Как же она ненавидела эту перхоть, этот пиджак, этот нос, эти руки. Муж не пил, он трезво и методично срывал на ней всю свою злобу на несправедливое мироустройство. А потом вдруг оттаивал, извинялся и клялся. От этого становилось только хуже, потому что она знала, что следующий приступ будет беспощадней и больней. Почему не делилась ни с кем, не заявляла куда положено? Потому что своё надо держать при себе, потому что тебе не помогут, но кто-нибудь попытается тебя использовать, так-то. Однажды, доведённая до предела, она подошла к нему, спящему, в её руках был утюг. Один удар и — конец истории. Нет, начало какой-то новой истории, но такой же беспросветной и необратимой. Тогда она не решилась, пожалела не его, а себя. Или...

С этими не отпускающими и нехитрыми раздумьями женщина прошла на кухню, включила чайник, достала стакан в подстаканнике (всегда пила чай по-дорожному), но тут — жжжжж — тишину разорвала бронебойная дрель. Стакан выпал из рук и разбился. «Бог ты мой, — вслух сказала женщина, — что за ужас на ночь глядя?» Сосед сверху всегда что-то сверлил, колотил, пилил. А ещё там круглосуточно орали друг на друга — и вся эта ругань легко пересекала картонные границы стен. Женщина поднялась этажом выше, позвонила. Никто не открыл. Прислушалась. Какие-то тихие неартикулированные звуки доносились до ушей, будто за дверью изъяснялись на языке будущего, прекрасного своей корявостью и тщетностью дешифровки.

Напуганная, нет, смущённая, нет, сбитая с толку, да, женщина вернулась к себе, прошла на кухню, стала убирать осколки. Когда она нагнулась, на ладонь упала капля (пот? какой ещё пот? дождь? в квартире?) Потом замигал и вырубился свет. Не только на кухне — вся округа за окном погрузилась в темноту. Опять проделки соседа? Женщина стала шарить рукой по полу, но осколки будто пропали. В локоть ударила ещё одна капля,

другая обрушилась на темя. У соседа прорвало трубу? Уже через секунду вода врвалась в квартиру и сверху, и снизу, откуда-то из-под холодильника, а хозяйка по щиколотку стояла в ней. Это стало ясно, потому что по периметру кухни вспыхнули яркие прожекторы. Вода уже доставала до рёбер, бурлила, и сквозь её зеленоватую искривлённую толщу были видны ступни женщины, сделанные из белоснежного бисквита — будто это всё, что осталось от гипсового памятника дискометателю или молотобойцу в парке Победы.

Она нырнула. Рядом, резвясь, взлетая над зеркалом воды и погружаясь, пролетело несколько пингинов, черепаха тяжело смотрела из водорослей, метались неоны, мелкие, аквариумные. У поворота в комнату женщина замерла, потому что стало нечем дышать — между потолком и океаном не осталось ни молекулы воздуха. Она втянула в себя воду, думая, что захлебнётся, но получилось наоборот: дышалось непривычно, но терпимо. Её ушные раковины залепило смолой (или жевательной резинкой из восьмидесятых — бубли-гумом, да?), а ниже прорезались жабры. Прямо по курсу мелькнул русалочий хвост, но она не успела понять — чей он, может, её собственный? — так как хвост потерялся из вида, завернув за телевизор.

А потом каким-то чудом женщина в шапке крупной вязки снова оказалась на улице, в том же месте, где спасла пегую собаку. Только теперь перед женщиной лежало непонятное существо, напоминающее человека в столетних лохмотьях или гигантского осьминога, выброшенного на берег. «Эй, — наклонилась к нему женщина, — ты замёрзнешь насмерть. Декабрь же. Иди куда-нибудь греться». Существо зашевелилось, распустило свои кудлатые щупальца во все стороны и пьяно заявило: «Бухая, что ли? Мороз, а ты в одном халате». И правда. Женщина похлопала себя по бёдрам, тронула затылок, посмотрела на ноги — не было ни пуховика, ни сапог, ни шапки крупной вязки. Но и признаков того, что она только что исплавала свою квартиру вдоль и поперёк, — не было. «Верую в сердце моё, в эту ветку душистую, — Дышит господь на неё и колышет в тени»*, — ни с того ни с сего выдохнула женщина без шапки крупной вязки и перекрестилась. А потом перекрестила того, кто всё ещё лежал перед ней. «Иди уже, блаженная», — пьяно заявило существо с лохматыми щупальцами и попыталось подняться на две конечности.

*) Из стихотворения Габриэлы Мистраль «Кредо». Перевод — Инна Лиснянская.

НЕБО ОДИНОКО

Когда женщина без шапки крупной вязки завернула за горизонт, он попытался встать ещё раз. Не сразу, но получилось. Его трясло, шатало, тошнило. Ветер трепал полы его одежды. В чём это он? Ну да, в своём овечьем тулупе. Но почему тулуп так тщательно располосован на лепестки от низа и до пояса, почему от него за версту (наверное) несёт тухлой рыбой — не знал. И как он здесь оказался — тоже. И что делает в его кармане эта уродливая бесхвостая игрушка сына — тоже. Один знакомый сказал ему однажды, мол, всегда помнит, что с ним вчера приключалось. И этот, в тулупе, весь день ходил под впечатлением, да и ворочался долго, когда спать лёг. Такая простая штука, а в голове не укладывалась. Вот у него — наоборот — никогда не было, чтоб утром он ну хоть что-то помнил. Иначе зачем тогда вообще садиться бухать, если ни одной чёрной дыры в памяти не образуется? Ради какого такого кайфа? Расслабиться? Развеселиться? Почувствовать лёгкость в теле? Понять, что язык тебя не слушается? Нет, всё не то.

168

Главным в его жизни было слово «мусорокамера». Это помещение, соседствующее с входом в подъезд любой девятиэтажки. Так вот, метр на метр — на полу коробка стоит, над ней — труба. По трубе всякий хлам летит в коробку. Потом приходит дворник, хватает коробку, отвозит её на тележке к мусорным бакам и вываливает содержимое в них. Стало быть, человек в располосованном овечьем тулупе — дворник. А мусорокамеры — это его гордость. Он их содержит в образцовом порядке. Все шестнадцать штук. Зачем нахватал столько? Из-за денег, конечно. Но образцово они выглядят, если он не пьёт. Редко то есть. А если он пьёт, то жильцы вешаются чуть ли не коллективно — от смрада деваться некуда. Летом, конечно. Зимой ещё туда-сюда. Так вот, если он валяется или пропал неизвестно куда, тогда его жена за дело берётся и возит тележки с дерьмом до самых сумерек.

Когда тебе сорок восемь, жене твоей сорок пять, а сыну — три годика, что-то здесь не так то ли с подсчётами, то ли с человеческой природой. Но в том-то и дело, что — так. Они сошлись на пепелище старых своих женитьб и замужеств, а их дети от этих связей давно уже разлетелись кто куда. Скучно им стало, что ли. Родили сына, словом. И дворник всё ходил и приговаривал: «Мой сынок — самый лучший!» И соседям говорил, и

случайным людям в «магните», и в обезьяннике без конца повторял. Только мало кто его понимал, наверное. Потому что у него и трезвого-то язык был не очень поворотлив, а пьяным он вообще только междометиями выражался. Он, может, и хотел бы вежливо и серьёзно с людьми изъясняться, а выходило нелепо. Дело в татарских корнях. Случай сейчас не редкий: человек своего языка толком не знает, а приобретённый, на котором все вокруг говорят, хромает у него на обе лапы. То есть такая вот петрушка выходит: вроде, двуязычный, а на деле — почти немой. Писать он и вовсе не умел — ни по-своему, ни «по-ихнему». Разучился. Так тоже бывает, оказывается. А ведь всё вполне сказочно начиналось: с детских лет мечтал о море. Знал, что надо ехать учиться в Калининград. И ведь поехал после восьмилетки, и представлял уже себя за штурвалом огромного туристического лайнера, и ведь мог бы... Напился, словом, со случайной компанией в поезде, нашёл себя посреди чистого поля — то ли выкинули, то ли ссадили. Как ещё живым остался?

Обитали дворник и его жена в колясочной на Вагнера. Всё просто: колясочная — помещение для колясок. Это комнатухи такие, которые в советские времена предусматривались на первых этажах жилых строений. Везде, а не только в домах этой улицы. Ну а теперь туда коммуникации разные провели и дворников заселили. Улица Вагнера — это не имени того, о котором все подумали. Это фамилия челябинского инженера, что ли, или директора завода. Но чем он там прославился, ни дворник, ни другие люди с этой улицы не знали и не знают.

Сегодня дворник преспокойно колотил лёд на крыльце по Вагнера. И тут позвонила жена: «У сына — температура. Из садика сообщили, его скорая забрала, я побежала, нас в больницу кладут, собери там щётки зубные, тапочки, прочую лабуду, вечером приходи. Да, и про лошадку не забудь. Помнишь, любимая его игрушка, такая серая, с отколотым хвостом, керамическая, что ли. Ну, я позвоню ещё». У дворника аж скулы свело от этого шебета. И первая мысль предательской какой-то вышла: ну, а я-то тут причём? Он про опасность для жизни сына и не подумал — подумал о том, что его достают. И как-то отчаянней после этого стал крыльцо колотить. Через час ему из деревни позвонили: «Отец у тебя умер. Приезжай срочно. Похоронами кто займётся, если не ты?» (Мать лежит, парализованная, тоже что-то придётся решать). На этом месте дворник просто взвыл. День был такой — солнечный, дышалось так легко, лёд отлетал на три метра от

одного только взгляда, никаких усилий не надо было прикладывать. А теперь лёд метровым кажется, как на Байкале в трескучие морозы (вряд ли он про Байкал подумал, ну да ладно), и все планы на вечер полетели псу под хвост. Он посмотрел на небо, внимательно так, сощурившись, но никакого успокоения не наступило. «Идите! Вы! Все!», — проорал он, ставя невидимые восклицательные знаки после каждого слова, отбросил могучий лом и исчез.

Стоял вот сейчас в располосованном овечьем тулупе под шквалистым ветром, ощупывал себя. Бровь явно подбита. Ухо как-то неестественно оттопырено. Его трясло, шатало, выворачивало. Тут увидел, как к мусорке идёт какой-то неопределённый человек с пакетом. «Эй!» — окликнул его дворник. Неопределённый человек остановился. «Как там мои, не знаешь?» — спросил его дворник. «А что твой?» — не понял или даже испугался неопределённый человек. «Ну, отвезли жене в больницу тапочки и халат? А отца — похоронили?» — спросил его дворник. «Кого похоронили?» — не понял другой человек, пожал плечами и растворился в ночи. «Над морем сумерки... Вот середина жизни. На виноградины похожи волны; небо одиноко»*, — всплыло из каких-то всё ещё пьяных глубин и сорвалось с языка дворника. Он достал из кармана уродливую бесхвостую лошадь, которую так беззаветно любил его сын, повторил ей слова про море, сумерки, середину жизни и выбросил игрушку в снег.

МОРЕ ВЕЧНОСТИ

Лошадка знала, что нельзя влюбляться в первого встречного-поперечного, в того, кто каким-то божьим промыслом заполучил тебя и поставил на полку между глиняными свистульками и деревянными истуканами. Чаще всего это были случайные люди, настолько глиняные и деревянные, что, казалось, человеческая плоть досталась им по какому-то недоразумению. Лошадка знала, что они никогда не прирастут к ней всем сердцем, не дадут имени, не назовут равной. Лошадка знала, что она всего лишь фигурка. Знала, но не могла ничего с собой поделать. Всякий раз лошадка обожала своего нового хозяина всей силой игрушечной души, надеясь на взаимность и никогда не обретая её. Впрочем, были случаи. Вот один одноглазый... Ладно. Потом.

*) Из стихотворения Пабло Неруды «Ода надежде». Перевод — Овадий Савич.

Лошадка приземлилась в сутроб. Сутроб притворился сонным и мягким. Кажется, обошлось без травм, подумала лошадка. Кажется, пахнет новым годом, подумала лошадка, потому что её ноздри упёрлись в свежую мандариновую корку, не успевшую ещё превратиться в ледышку. Кажется, через пару часов я околею, подумала лошадка. Что уж там, она не в первый раз готовилась к прощанию с земной жизнью, и это было... отчаянно обидно и несправедливо преждевременно. Потому что хорошо быть прославленным поэтом Алексеем Парщиковым (лошадка жила у него какое-то непродолжительное время), который относился к смерти как к началу новой жизни. Здорово, что и говорить. Но если ты какой-нибудь среднестатистический человек или бесхвостая игрушка, то перспектива небытия пугает тебя больше, чем... что? больше, чем все другие страхи, вместе взятые. Потому что не знаешь, что тебя ждёт. А вдруг там ещё хуже, чем здесь? Ладно.

Лошадка воткнулась в сутроб хвостом кверху. Конечно, никакого хвоста давно не было, но как ещё скажешь? В таком положении кровь прилиwała к голове, и хорошо думалось обо всём, особенно далёком. И потому казалось, что это далёкое было только сном, ну или всё-таки явью, но не твоей. В первый раз она влюбилась в модного московского художника, ещё до революции, в доме с телефоном и электричеством, роскошь, да. Художник был влюблён в свою натурщицу, натурщица — в студента-революционера, а сту... Ладно. Где в этом любовном многоугольнике затерялось место бессловесной миниатюрной лошадки? Правильно, его нет. Зато был печальный и молчаливый штурман подводной лодки. Это уже годах в семидесятых, да, где-то так. Приходя с вахты в каюту, он подолгу держал её в руках, то ли согревая, то ли греясь сам. За все годы офицер не сказал лошадке ни слова, но ведь любовь не измеряется тоннами разговоров. Даже трудно придумать, чем она измеряется. Глупостью, наверное, и — зависимостью. В один прекрасный (наоборот) день штурман потерял голову (лошадка было подумала, что от неё, но доказательств не существует), стал глупым, зависимым, достал из сейфа табельный пистолет, разможил себе череп — вот и вся любовь. Лодку срочно развернули на базу, а новый офицер даже не потрудился смыть с лошадки застывшую кровь, бросил её в коробку вместе с другим хламом и — привет.

А как-то игрушка попала к одной девушке из Берлина, которая наклонялась к подоконнику, практически прикасалась к нему своей нижней

челюстью, чтобы оказаться с лошадкой на одном уровне, быть с ней соразмерной, что ли, и ведала о своём новом и опять неудачном любовном опыте. Девушка плакала, случалось, вода из глаз попадала лошадке на гриву и круп, это было неприятно и даже болезненно, но кто сказал, что сострадание — это лёгкая миссия? Однажды игрушка надолго задержалась в доме одноглазого и больного на всю голову врача. Он жил сам по себе, предпочитал ходить по дому абсолютно голым, ежедневно — и по несколько раз — дёргал свою свайку, кряхтя, мыча, наращивая скорость с каждым новым движением руки, работавшей как неугомонный поршень. Всё это время врач волочил игрушку по зарослям волос в паху, на животе, зажимал её в подмышках, примыкал губы лошадки к своим соскам, а иногда засовывал её морду прямо себе в рот. Ужас. Выплеснув на рёбра жидкий клейстер, он обволакивал им лошадку, и она стояла потом под софитом настольной лампы — липкая, возмущённая, не самая цветущая — и всё же восторженная. Пульс её зашкаливал, будто она только что преодолела пятиметровый болотный ров на королевских скачках в Уэмбли. Ладно.

Лошадке было не впервой стоять на пороге жизни и смерти. Так было в блокадном Ленинграде, где её дом превратился в руины — а на руинах — без единой царапины — возвышалась она, рыдающая, несчастная и счастливая. Так было в одной цирковой семье, где ревнивый метатель ножей воткнул в свою жену весь реквизит, ранило и лошадку, но, слава богу, обошлось. А хвост она потеряла при совсем уж смешных обстоятельствах. Сейчас. Сейчас. Вероятно, переохлаждение вызывает остановку памяти. Разве говорят «остановка памяти»? Говорят «остановка сердца», да, именно так. А про память как говорят?

«И где ты их потеряла?» — недовольно спросил мальчик. «Не знаю. Где-то здесь. Я перепрыгивала сугроб, зазвонил телефон, ключи выпали. Где-то здесь, да. Но их нет. Нет», — ответила мать. «У кого-то головы нет. Зачем прыгать по сугробам, если дорожка в двух метрах? Вечно ведёшь себя как ребёнок», — продолжил воспитательную работу мальчик, распинывая снег. Он задел носком ботинка заиндевевшую лошадку, взял её в руки, отряхнул. «Надо же. Ценная. Товарищество Кузнецова. Предположительно начало прошлого века», — сказал мальчик. «Выброси эту дрянь. Ключи! Мы ищем ключи!» — возмутилась мать. Мальчик положил находку в карман. «И тело твоё было как река любви, что в море вечности впадала»*, — в ознобе

*) Из стихотворения Эдуардо Каррансы «Сонет Тересе». Перевод — Инна Чежегова.

прошептала лошадка сухими губами. «Она ещё и говорящая, мама!» — обрадовался мальчик.

ЗАПЁКШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

Мальчик положил лошадку под подушку. «Давай позже расскажешь что да как, когда тут всё устаканится. Устаканится — так дед говорил, когда ещё умел», — шепнул он ей на ушко. Впрочем, этого уха, как и хвоста, не было. Мать в это время разогревала ужин. «Ну да, ну опоздала, ну с кем не бывает, — доносилось из кухни под гром тарелок и чего-то там ещё. — Ты бы у отца пожил, а? Пока я с квартальным отчётом мучаюсь, постоянно будут какие-то накладки». — «Ни за что, — Мальчик пришёл на голос матери, приоткрыл дверь, просунул в кухню рыжую голову на тонкой шее. — Они же меня припашут подгузники менять. У них там дурдом похлеще нашего. И потом — а деда я на кого оставляю? На тебя, что ли? Ты же его голодом заморишь». — «Точно!» — всплеснула руками мать и побежала в комнату, где лежал старик. Он был вполне живым, только много спал, всё на свете забыл, разучился говорить и ходил под себя. «Как дела, папа? Скоро, скоро будет ужин», — улыбнулась она и чмокнула старика в лоб. «Он протух, — шепнула женщина сыну. — Кто тут старший по подгузникам? Иди занимайся любимым дедулей».

«А что предпочтительнее — болеть раком головного мозга или не иметь обеих рук?» — спросил мальчик за ужином. «Руки, глядишь, и отрасли могут. Поэтому я за второй вариант», — подмигнула мать. «А что ты выберешь...» — начал было сын, но женщина перебила его: «Нет, теперь моя очередь. Значит, о приятном. Ладно? Чего ты больше хочешь: весь день провести в объятиях Клавы Коки или два часа провалиться в ванне, до краёв наполненной малиновым сиропом?» — «Не знаю никакой Клавы, а сироп — он же липкий», — сказал мальчик. «Ещё бы, ведь ты у нас — старикашка, тоже дедуля, только — мелкий», — развеселилась мать. «Что ты выберешь — упасть с девятого этажа или быть насквозь пропоротой носорогом?» — продолжил сын. «Что лучше — всю жизнь заикаться или всего лишь один раз попасть под машину скорой помощи?» — продолжила мать.

Потом мальчик долго бултыхался в ванне без всякого малинового сиропа, зато пены было — до потолка. Вокруг него плавали семь резиновых уток, и он знал, как зовут каждую из них. Потом кормил рыбок в аквариуме.

Их тоже насчитывалось семь, и у каждой имелось своё имя. Потом играл с четырьмя крысами, их имена мальчик всегда путал. Покупали-то одну, но скоро она родила трёх крысят — и всё семейство теперь было на одно лицо, то есть — морду. Потом читал деду «Котлован». Тот самый, Андрея Платонова. Потом лёг в постель. «Тук-тук-тук, — заглянула к нему голова матери на тонкой шее. — Что там у тебя завтра?» — «Шахматы с утра. Дальше школа. После — кружок робототехники», — ответил сын. «Пусть отец тебя с этой робототехники заберёт, позвони ему», — предложила голова матери на тонкой шее, поцеловала воздух и исчезла.

Да ну вас, думал мальчик, у отца новая семья, новый сын, ползает, хнычет, обдывается, там и без меня забот по горло, что я буду приставать с этим увези-привези, надо жалеть несчастных людей, сам доберусь, хотя мог бы иногда и спросить, чем я занят, чем я болен, совсем они все от рук отбились, привыкли, что я один всё на себе тащу, уверены, что не надорвусь, вот и пользуются, а я, может, безответно влюбился, мне, может, совет нужен, все вокруг считают, что дети так не говорят и не думают, мол, они же тупые, они же недоделанные взрослые, но я-то знаю, что к чему, ой, лошадка, забыл про тебя совсем, извини, ладно, завтра, рак неизлечим, так что, да, второй вариант, Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка.

И заснул.

«Ты чего это, заблудился? — Продавщица перевалилась через прилавок. Она была пышной и молоденькой. — Семи же ещё нет». — «Почему семи? Мне уже почти десять», — сделал вид, что обиделся, мальчик. «Ты время видел? Семи часов ещё нет», — заколыхала бёдрами продавщица. «А, это, — ответил мальчик. — Семи часов нет, да. А у нас хлеба нет. Съели ещё вчера. И дрыхнут — хоть бы что. Дед — бог с ним. У него своё на уме. Но мама могла бы и озадачиться. Какой завтрак без хлеба?» — «Вот бы мне такого. У меня тоже все дрыхнут. Одна за четверых пашу. Батон или чёрного?» — Продавщица отлепилась от прилавка. Она была пышнее прежнего, но не содержала никаких «четверых» — это сочинилось как-то само собой, на ходу. В углу торгового зала замаякала коробка. Мальчик подошёл, открыл её и увидел тощего рыжего котёнка. «Ночью подкинули, пока я в кладовке возилась. Вот и забирай его. На тебя чем-то похож. Тоже рыжий и умный», — сказала девушка. «Пусть пока здесь побудет. В течение дня пристрою, у меня есть кое-какие связи. Ко мне нельзя, там

крысы — они его разом сожрут», — ответил мальчик. Продавщица только хлопнула руками по бёдрам — от восторга, что ли. Мальчик достал котёнка из коробки, тот не прекращал пищать. «Он пить хочет, налейте молока хоть в крышку, а?» — «Молоко денег стоит. Ты заплатишь?» — «Чего уж тут, заплачу». Котёнок жадно лакал, обмакивая нос, разбрызгивая молоко по бетонному полу. Когда он напился, мальчик прижал подкидыша к себе, отчего тот заурчал и мгновенно уснул. «Воды и следа не встречалось, и лопалась под ногами запёкшаяся земля. Такая стояла засуха!»* — сказал мальчик. «Засуха», — повторила продавщица задумчивым голосом. «Постой-ка, — Вдруг опомнилась она, вышла в торговый зал и даже одёрнула фартук. — Это не ты недавно в телевизоре, как же это, передача «Доброе утро», да? Умножал в уме трёхзначные числа? А ведущие всё прицокивали языками и кашляли от восторга и удивления?» — «Вообще-то четырёхзначные», — ответил мальчик.

Когда он вышел из магазина, было по-прежнему темным-темно, только теперь ещё отключили уличные фонари. И всё же по каким-то бликам на снегу, по редкому свету из разрозненных окон можно было понять, что ветки раскачиваются вверх и вниз, дома — вправо и влево, редкие люди — вперёд и назад, птицы спят по краям города, а четырёхзначные звёзды освещают какие-то другие галактики.

ЛАДОНЬ ЛУНАТИКА

Девятилетний гений ушёл. Обманула она его. Ну, не обманула, а приврала. Котёнка не подбросили. Часа в три ночи его принёс один покупатель. Не такой уж и покупатель. Покупает он крайне редко, всё больше побирается. Как на работу в круглосуточный ходит. Весь лохматый какой-то, оборванный. Завшивленный, наверное. Всегда сутулый и разговорчивый. Сегодня в руках у него была коробка из-под обуви, в которой, кажется, кто-то стонал. Или не стонал, а рыгал от переедания. Но второе вряд ли возможно. «Забери котёнка», — сказал человек с порога. «Не приближайся, у нас — санитарные нормы!» — выпалила продавщица (откуда она вспомнила про эти нормы?). «Его никак не зовут». — Завшивленный отступил к двери. «Уходи!» — повысила голос девушка, взяла тряпку и пошла протирать прилавок с колбасой и селёдкой, хотя полчаса назад уже делала это.

*) Из стихотворения Алехандро Карриона «Засуха». Перевод — Борис Дубин.

«Как знаешь. Утоплю, значит. Был никак — нет Никто», — бесцветно сказал оборванец уходя. «Тоги куда хочешь!» — крикнула девушка, не поднимая головы. Дно прилавка прогибалось под тяжестью её руки.

Когда-то этот мужчина показал продавщице ногу. Просто так. Закатал свои жуткие джинсы на правой, что ли. Икры на этой ноге не было — просто кость, обтянутая неестественно белой кожей в пятнах ожогов и рваных полосах шрамов. Голень выглядела как палка, замотанная в тряпку. Если, конечно, то, что растёт между коленом и ступнёй, называется голенью, в чём девушка не была совсем уверена. Оказывается, перед оборванцем когда-то взорвался телевизор. Пылающий обломок корпуса врезался в мякоть ноги и унёс эту мякоть с собой за окно, которое тоже вышибло взрывной волной. Продавщица не очень-то поверила. Ни про какие телевизоры четвёртого поколения «Рубин» она ничего не знала. «Их ещё гробами называли. Такая бандура, скажу тебе, руками не обнять», — сообщил он. «Кого не обнять?» — не поняла она. «Телевизоры эти, ну, рубины», — обиделся завшивленный. После услышанного девушка то и дело представляла взрывы, кровь, крики, а иногда специально вызывала это неприятное видение, чтобы прекратить летать в облаках.

Не утопил он котёнка. Бросил коробку у входа в магазин — через пять минут животное стало надрывно мяукать, пришлось занести в тепло. А что делать? Теперь настенные часы показывали семь утра. В это время всегда так — покупателей почти нет, очередей не случается. Забегают одиночки: кому хлеба, кому сигарет. Потом и вовсе затишье — торговые сети давно задушили мелкие продуктовые точки. По-настоящему пахать в круглосуточном приходится часов с одиннадцати вечера и до двух. Ну, приблизительно. Вот тогда тебе и очереди, и солидные суммы. Вот тогда тебе и театральные подмостки — неожиданные встречи, ссоры, драки.

Она заканчивала работу. Настроение перед трудовым финишем обычно резко идёт в гору. Изюм дня в день происходит — какие-то волны внутри, какие-то мурашки предвкушений, какие-то знаки извне (солнце выглянет из-за туч или любимую песенку поставят на радио). Кажется, что за дверями магазина непременно случится что-то важное и долгожданное. Девушка закрыла глаза и представила, как идёт домой, издалека видит на тротуаре свёрток, наклоняется, поднимает, разворачивает. А там — миллион! Нет, с миллионом — не очень-то: его ведь кто-то потерять должен. Быть счастливым за счёт чужого горя нехорошо. Ладно, тогда так. Выходишь из магазина,

заглядываешься на свинцовые облака и — бац! — врезаешься в светловоло-
сого блондина. Тьфу ты, светловолосый — это же и есть блондин. Значит,
в светловолосого красавца. Он тоже, оказывается, наблюдал за полётом
облаков, ему жутко неудобно, что чуть не сбил с ног такую милую девушку.
Его зовут Свен, он из Швеции и приглашает её на ужин.

Она жмурилась, как кошка на припёке, представляя себе галантного
шведа, но тут привезли хлеб — надо считать батоны, проверять и подписы-
вать накладные. За этим занятием её посетила мысль, что никакой швед не
заглянет на улицу Новороссийскую. Это, конечно, не такая уж и окраина,
вполне рабочий район. Да и озеро здесь живописное. Но всё же шведам не
рекомендуется выходить из центра Челябинска даже в экстренных случаях.
Так что с иностранцем — облом. Ладно, тогда уж совсем просто: сейчас
позвонит мама и скажет, что угроза миновала, анализы — лучше некуда,
динамика — положительная.

Стоило так подумать — завибрировал телефон. Неужели? Нет. Не мама
это, а бывший. Вот блин. «Нам надо срочно поговорить. У тебя смена? Я
у подъезда торчу. Перепутал твой график, что ли. Я должен кое-что ска-
зать», — Голос у него низкий, но когда накручивает себя, чуть ли не на визг
срывается. Девушка уверена, что его проблема — пустяк. А вот он сам — её
настоящая проблема. Вроде, всё решили, мирно разъехались наконец-то,
но — нет, не даёт покоя уже три месяца. Хотя его звонки всё же лучше,
чем совместная жизнь, в которой протекающий кран — ужас планетарного
масштаба. И так далее. Куда ни ткни, всюду ему мерещились подвохи и
провокации. Работа, соседи, деньги, секс, транспорт — кругом засада. «Я
на отгуле. В деревню уехала, к тётке», — соврала она. «Значит, жди меня
в Полетаево. Считай, что я уже в пути», — не сдавался бывший. Девушка
хотела взорваться, но тут в магазин зашёл покупатель. «Пока», — сказала
она телефону и отключилась.

Вот так. Настроение было — хуже некуда. Бывший преследует. И мама
не звонит. Видно, с анализами — полная катастрофа. Девушка закончила
смену — злая, накрученная, несчастная. Утро выдалось — так себе. Снег
и ураганный ветер давно сошли на нет. Небо висело низким свинцовым
шатром, под которым, как акробаты, иногда качались птицы на своих
невидимых стропах. Было не больше десяти градусов холода, потеплело,
да. Ну и что? А ведь вообще-то она спасла котёнка, пристроила его в
добрые руки. Радоваться надо! Значит, когда-нибудь кто-нибудь, если,

конечно, потребуется, спасёт и её. А ещё навстречу шёл какой-то закалённый парень — без шапки, в расстёгнутой куртке. Его соломенные волосы смешно выглядели на фоне серого дома, серого снега, серых деревьев, серого воздуха. «Наверное, ты и есть мой швед. А ещё от мамы вот-вот придут хорошие новости», — подумала девушка. «Здесь шелестит как раскрытая в классе грамматика дикое поле темней чем душевная смута полное влажных сапфиров упавших с ладони лунатика полное облачных плачей бредовых как сон лилипута»*, — почему-то вспомнила девушка и широко улыбнулась. Швед увидел эту улыбку, состряпал в ответ недовольную мину и отвернулся.

СТРЕКОЗАМ ВСЛЕД

178 И чего они все сегодня лыбятся? Эта вон тоже, думал швед, разминувшись с продавщицей круглосуточного. Он, конечно, и не догадывался (не гадал вовсе), что она продавщица, а вот она вполне знала, что никакие шведы здесь не водятся. Может, у меня на лбу слово из трёх букв написали чёрным жирным маркером, пока я спал? Кто ж его напишет? Целый месяц один живу, как медведь в берлоге. Лапу сосу. Паршиво это, да. И всё остальное — тоже, продолжал думать швед. Навстречу неожиданно вывернула сказочная старушка — валенки, расписной платок, кривой посох, только вот велосипед был навороченным — тысяча за сто. «Молодой человек, вы — в бахилах», — Притормозила старушка. Он подозрительно посмотрел на неё и вокруг (но не на собственные ноги), будто заблудился, а потом как-то легко выдохнул, даже уменьшился в размерах и, не сказав «спасибо», двинул дальше. Да, бахилы, потому что сначала была поликлиника.

Врачиха первые три минуты не обращала на него никакого внимания — она заполняла формуляр (писала завещание, сочиняла сонет, стряпала донос — нужное подчеркнуть). Он видел только череп, накрытый плотной шапкой крашенных, золотистого цвета, волос. Она похожа на Шарлиз Терон, думал швед, хоть не видел её лица, и стал вспоминать, кто такая эта Шарлиз, но не вспомнил. Наконец врач подняла голову и оказалась лысым мужчиной, уголками рта отдалённо напоминающим Иннокентия Смоктуновского. Швед стал вспоминать, кто такой этот Иннокентий,

*) Из поэмы Висенте Уидобро «Высоколёнок». Перевод — Анатолий Гелескул.

но у него не получилось. «Итак», — сказал врач. Его лоб сиял, как выбритые ноги Мэрилин Монро. Но швед не мог вспомнить, кто она такая. «Итак», — повторил врач. Пациент стал озираться, как бы не находя слов для объяснения: что он вообще забыл в этом накрахмаленном месте? По стенам кабинета висели многочисленные плакаты. Швед уткнулся в один из них: женский бюст, обрубленный на шее, талии и в локтях. По бюсту шли какие-то разноцветные пунктирные линии. Они пересекались и расходились, иногда превращаясь из пунктирных в сплошные. Как схема минского метро, подумал швед, хотя никогда не был в Минске. На другом плакате доктор Айболит показывал, как правильно чистить зубы. В этом кабинете и — зубы. Почему? А третий назывался «Обязательные исследования в разном возрасте». Швед посмотрел на колонку «46–50 лет», хотя был значительно моложе, и прочитал: «обязательное исследование кала на скрытую кровь». Из распахнутого окна доносились деревья, которые шуршали на ветру, как газеты. Прослушивание деревьев тоже заняло какое-то время. «Что вас беспокоит?» — спросил врач, закатив глаза к небу, словно пророк Илия (но швед не мог вспомнить, кто это такой). К тому же никакого неба не было, а потолок давно нуждался в побелке.

«Мои яйца раскалены до предела», — сказал пациент. Врач улыбнулась. Да, это снова была женщина. Швед вдруг обратил внимание, что он сам, кушетка, на которой он сидел, стол и другая нехитрая мебель кабинета отбрасывали тень в одну сторону, а врач — в другую, противоположную остальному. Это было так неожиданно, что пациент встал и даже сделал пару шагов по направлению к двери. Он испугался, и ему показалось, что деревья за окном теперь не шуршат, как газеты, а гудят, как линии электропередач. «Идти никуда не надо, снимайте всё прямо здесь, передо мной», — сказала врач. Швед выудил из потаённых залежей памяти слово «Гондвана» и подумал: хорошо бы древний материк раскололся прямо сейчас, на наших глазах — так, чтобы разлом отделил меня от врачей. А пока я оттягиваю резинку трусов, часть материка с женщиной в белом халате за столом успеет отплыть куда-то к линии горизонта и навсегда. «Какая ещё Гондвана?» — сказала врач, будто умела считать внутренние монологи с глазных яблок больного. Но он её не слышал и продолжал ходить по заколдованному кругу своих странных мыслей. Что было дальше, пациенту не запомнилось. Очутившись в коридоре, швед прочитал табличку на двери покинутого им кабинета: «Врач уролог».

Ниже — «Дерматовенеролог». Ниже — путаный график с днями недели, часами приёма и двумя фамилиями специалистов в области раскалённых яиц: Сопего В. А., Плочик С. С. Обе фамилии, подумал швед, вполне могут принадлежать как мужчине, так и женщине. Впрочем, этот вывод не тянул на сенсацию. Он смутно помнил, что происходило в кабинете. Врач, кажется, уверяла его, что это сушая ерунда, что едва ли не каждый мужчина проходит в жизни подобное испытание: неудачно подобранное бельё карябает то, что вылезает у организма наружу и прочее, и прочее. Но он, сам себя накачавший страхами, да ещё и обескураженный превращениями врача, теньями разной направленности и гнетущими плакатами, никак не соглашался с благодушием уролога.

Да, день задался не очень. После поликлиники был яхт-клуб на Смолино, где у шведа стоял небольшой парусник с двигателем (на случай полного штиля). Конечно, обманули. Конечно, не вытащили из воды на зимовку, не водрузили на стапель, не укрыли, «птенчик» (так прозвал его швед, хотя на борту было выведено «Колибри») уже успел обрасти льдом. Вот козлы. Звонил же, деньги им перевёл. Теперь промёрзнет вся винторулевая группа, весной вешаться можно. Суки. И вот швед шёл к отцу, тоже не ожидая ничего хорошего. Отец переметнулся к другой женщине, когда мальчику было десять лет. Но в другой семье, где родилось трое детей, с годами тоже что-то не заладилось. Отец — не старый вообще-то, но вдребезги разбитый шестидесятилетний мужчина доживал свой век в крохотной комнате общаги, брошенный всеми. «Ничего не надо, только попугая заberi», — встретил шведа отец. Он лежал завернутым в какие-то грязно-белые тряпки, как египетская мумия. И лицо у него было таким же землистым. «Откуда у тебя птица?» — «Внучка принесла. Сказала, что будет приглядывать за обоими». — «Приглядывает?» — «Полгода никого из них не видел». Договорились, что швед приедет на днях — сегодня он без машины. «Выпусти его полетать тогда, он потом сам в клетку вернётся», — сказал отец. Попугай совершил круг почёта над людьми, сделал короткую остановку, присев на створку шкафа, и выпорхнул в форточку. «Бооооже, забыыл, а ты-то, ты-то? Что я внучке скажу!» — запричитал отец. «Там ласточек вьётся стая, незримым стрекозам вслед, меж розовых туч витая, таинственно выплетая на шёлке прощальный привет»^{*}, — сказал

^{*}) Из стихотворения Леопольдо Лугонеса «Старый холостяк». Перевод — Павел Грушко.

сын первое, что пришло в голову. Вряд ли это были его слова, но чьи они — он не знал. «Что я внучке скажу, спрашиваю?» — хрипел отец, пытаясь подняться из саркофага. Но уже через мгновение обмяк, заплакал, швед присел на краешек затхлой постели и стал гладить редкие седые волосы предка, приговаривая «тшшш».

ДАЛЁКИЙ БЕРЕГ

Попугай, выпорхнувший за пределы своей вселенной, сразу же почувствовал, что лёгкие вспыхнули, ему мгновенно потребовалась передышка, и он уселся на внушительных размеров кондиционер за чьим-то окном. Запахи трубопрокатного завода и электровозных гудков, оглушительный скрежет неба и снегоуборочных комбайнов, перламутр кривых балконов и слепящая седина дороги — всё это разом набросилось на несчастную птицу, сбilo с толку, свело с ума. Уже через минуту дышать стало легче: внутри не полыхало, а только тлело, но голова была чужой. Попугай не понимал, как сюда попал, что здесь делает и к чему готовиться дальше. Его голубое оперение, казалось, потускнело, сам он превратился лишь в облачко смога — одну миллиардную дыма, что изрыгнули в это утро челябинские трубы. Его память обнулилась, из неё исчез шаркающий хозяин и тёмная комната, где попугай был единственным болтливым предметом среди печального молчания вещей. Поэтому ни о каком возвращении домой мысли не приходили — этого дома попросту не существовало: окно старика было одним из многих прозрачных квадратов в зоне видимости, одинаково чужих и враждебных.

Да, прошлого не существовало, но в этом птица ничем не отличалась от тысяч людей, которые вышли в этот день за хлебом в соседний магазин и уже не вернуться никогда. Или вернуться, но не вспомнят прошлое, а будут от безысходности лишь и благодарности принимать заботу чужаков, называющих себя родителями, жёнами, детьми. Людей всё же ищут, а попугаев — нет. Есть, конечно, небольшая надежда, что внучка, подарившая деду клетку с птицей, чтобы «присматривать за обоими», обнаружит пропажу и объявит тревогу. Но ведь было сказано: девочка заглядывала к старику полгода назад. Нет, никто не хватится пернатого. Так-то.

Уже два дня, как на Урал пришли нешуточные морозы. Не всякая дикая птица готова к такому, что уж говорить о декоративной. Но попугай

немного пообвыкся (дышать, правда, по-прежнему было тяжело и огненно), взлетел с кондиционера, сделал какой-то неуклюжий круг внутри новой безразмерной клетки (крылья, кажется, немного спотыкались о мёрзлый воздух, но это с непривычки) и присел на рябину, где уже обитала небольшая стайка синиц. Попугай клюнул красную ягоду по примеру остальных, плод оказался кислым и горьким, вяжущим рот (вяжущим клюв, наверное, а не рот, ну да, конечно), отвратительным, одним словом. Гадких ягод хватило бы на безразмерную стаю волнистых попугаев, если б они каким-то волшебным образом вдруг нарисовались на рябине, но пернатые с жёлтыми грудками недолго терпели присутствие чужака — две или три птицы набросились на него и выгнали вон, злостно щебеча «ци-ци-пи». Удирающий попугай не понял претензий: птицы, как и люди, говорят на разных языках.

Вот голуби вообще не обратили внимания на яркого (и потускневшего разом) пришельца. Они грелись большой колонией на раздольном квадрате земли, по периметру которого, как сторожевые башни, возвышались колодезные крышки. Между колодцами зеленела трава (и это при минус двадцати!), земля прела и парила, хлебный мякиш лежал здесь и там, за него никто не дрался, клюй — не хочу. Попугай сел рядом с каким-то округлым сизарём, сразу почувствовал тепло и дважды зацепил ничейную корку хлеба. Крошки тут же встали поперёк горла, птица чуть не подавилась насмерть, но всё разрешилось само собой. Хлеб вылетел из клюва от каких-то внутренних конвульсий, задел не соседа, а ещё одного голубя, чей цвет переливался от шоколадного до ослепительно-сахарного. Его предки, вероятно, происходили из рода английских коротколицых турманов. Впрочем, обе птицы ничего не знали ни о породах голубей, ни о породах попугаев, ни о породах людей. Шоколадно-белый возмущённо заворковал в сторону чужака «гул-гул-гул», захлопал крыльями, но с места не сдвинулся. Слова, как известно, могут не только ранить, но и калечат, если понимаешь их смысл, а попугай не понимал по-голубиному. Птицы опять затихли, настало время отдохнуть и подремать.

Внезапно всё пришло в движение. Колония колодезных голубей взмыла вверх, с ними вспорхнул и голубой попугайчик — за компанию, не зная причины. Но некоторые не успели взлететь: тот самый округлый сизый уже безвольно висел со скрученной шеей и закатившимися глазами в пасти голодного подвального кота. Попугай не видел этого — он летел и летел,

будто получил задание срочно доставить военную почту по утерянному или несуществующему адресу. Он не видел, как самодовольно кот облизался и вонзил зубы в дымящуюся плоть. Он не видел, как уже через минуту глупые голуби вновь слетелись на колодезные крышки — будто эта земля не была местом свершившихся и будущих смертей. Он не видел почти ничего — внутри опять началось это нестерпимое жжение, лапы околевали, крылья не слушались, адреса посадки не существовало.

Попугай влетел в небольшое помещение — это вышло случайно — где с каким-то отчаянным топотом крутились барабаны стиральных машин, гудел воздух и сотрясались люди. Птица стала метаться по периметру и биться в стекло, она упала на каменный пол и затихла. Какая-то яркая женщина, похожая на переодетого Дастина Хоффмана из фильма «Тутси», подняла попугая, положила на гору грязных тряпок и опять уткнулась в телефон. Птица ожила, её глаза до краёв наполнились вертящимися в стиральном порошке цветочными простынями, она взлетела и выпорхнула на волю, набрала скорость и высоту, вспомнив про старика и общагу. Дело оставалось за малым — добраться до дома. Но в голове уже звучал шум прибоя, голос багрового заката и музыка прощания. «В раковине морской древний грохочет ветер, раковина хранит далёкий берег рассвета»*, — ниоткуда вспомнила птица перед тем, как ни о чём и никогда не вспоминать.

ПАНЦИРЬ ЛЬДОВ

Она села за руль, и тут — бац! — что-то рухнуло на крышу автомобиля. Поневоле вздрогнешь. Поневоле испугаешься. Поневоле... Вышла: лежит голубое создание лапками кверху. Смерть в полёте, так получается? Но попугай неожиданно дёрнулся. Или ей показалось? Что на морозе делала домашняя птица и что теперь делать женщине? Спасать беднягу от переохлаждения? Вспомнился сюжет из телевизора: дождь из жаб, дождь из трески, дождь из морских ежей. Посмотрела на небо: других птиц не падало. Дождя из волнистых попугаев не предвиделось. Это сейчас, а вчера...

Вчера в садике объявили карантин: грипп, или орви, или ковид, или всё и сразу. «Боже, куда мне его девать? — подумала она. — Офис отпадает. Если взять четырёхлетнего ребёнка на работу, то жизни не будет не только

*) Из стихотворения Клаудии Ларс «Песнь об индейском ребёнке». Перевод — Татьяна Глушкова.

мне — вся контора встанет». Отца у ребёнка нет. Отец у ребёнка, конечно, есть, но он... ладно, долго объяснять. «Мама, в садике объявили карантин. Понянчишься завтра с единственным внуком?» — спросила она. Матери исполнилось пятьдесят пять, и недавно она вышла замуж. В четвёртый, кажется, раз. «У меня медовый месяц», — ответили с другого конца провода, хотя никакого провода, конечно, не было. «Хватит говорить глупости», — обиделась дочь, почти потеряв надежду. «Что-то ещё?» — спросили с другого конца провода, давая понять: разговор неумолимо приближается к финишной черте. Но в самый последний момент, вероятно, встрял этот четвёртый муж, потому что мать, не прикрывая телефона, ответила ему (кому же ещё?): «Ребёнка деть некуда. Я вот вырастила её этими самыми руками, надрывая эту самую спину. И никогда никого ни о чём не просила». Слова её мужа расслышать не удалось, но что-то такое он там сказал, возможно, «да ладно тебе», а возможно, «какая муха тебя укусила?», но на другом конце провода — не прошло и минуты — поменялось решение на противоположное. «Веди своего карантинщика. Мир не без добрых людей. Муж посидит с ним», — послышалось оттуда. «А это... безопасно? Чужой всё-таки человек», — сказала молодая женщина, но вызванный абонент уже отключился.

Первую половину дня мама четырёхлетнего сына неотрывно отвечала на рабочие звонки, сама кому-то звонила, с кем-то спорила и соглашалась, выискивала нужные бумаги, находила их и теряла. Она совершенно забыла, что сын — не в садике, а в сейсмоопасной зоне бабушкиной квартиры. А когда вспомнила об этом, ближе к обеду, то позвонила. «Ааа, ты. Привет. Самарин упал с лутца, а Коляда вообще прыгнул бабочку вместо четверного сальхова», — сказали с другого конца провода, хотя никакого провода, конечно, не было. «Мама, ты о чём? Какая бабочка? Я звоню узнать, как там сын», — заволновалась дочь, хотя чего-то подобного она и ожидала. «Бабочка — это когда спортсмен заходит на прыжок, но не исполняет его», — ответили с другого конца провода. «Мама! Где? Мой? Сын?» — раздражённо спросила дочь. «Я тебе что, Пушкин, что ли? Сначала я смотрела короткую программу мужчин на этапе Гран-при», — сказали с другого конца провода. «Мама!» — терпению наступил предел. «Ты сбиваешь меня. Так вот: я смотрела короткую программу фигуристов, а они с дедом гуляли. Сейчас я в раздевалке. Я на йоге. А они с дедом готовят обед», — как ни в чём не бывало заявили с другого конца провода, хотя

никакого провода, конечно, не было. «Я приеду!» — почти закричала дочь. «Как знаешь. Но больше не проси посидеть с ребёнком, если не доверяешь своему отцу», — ответили ей. «Он мне не отец», — уставшим голосом сказала дочь. «Приёмный. Он твой приёмный отец. А ты ему, кстати, приёмная дочь. Мне пора. Тренер уже здесь. Целую», — беззаботно прозвучало с другого конца провода. «Из моих приёмных отцов можно собрать футбольную команду», — съязвила дочь, но вызываемый абонент уже отключился и в данное время, вероятно, усаживался в позу «лотоса».

Конечно, она осталась на работе. Во второй половине дня офис превратился в разворошенный муравейник. Срывались какие-то поставки из Удмуртии, а Бишкек что-то напутал — оттуда пришла пересортица. Мама четырёхлетнего сына вникала во всё с присущим ей синдромом отличницы, но как надо не выходило, выходило — так себе. Когда рабочий день близился к завершению, позвонила мать. «А что там завтра? Карантин ещё не отменили?» — поинтересовалась она. «Куда там», — ответила дочь. «Тогда, может, оставишь сына у нас хотя бы на пару дней? — спросила мать и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Они спелись. Два сапога — пара. Не разлей вода, короче. Дед и внук. Они даже чем-то похожи внешне». В голосе матери не было презрения и равнодушия, упрёков и надменности. Не помню её такой, подумала дочь, не помню, чтобы она кого-то любила. А теперь, получается, любит. Любит мужа. Любит внука. «Мама, — сказала она, — ты там не очень-то поощряй их взаимную любовь, потому что, подозреваю, это не последний дед у моего сына». В этот момент ей и самой захотелось влюбиться, только не в такого дебила, каким был отец её ребёнка. Да нет, он не был дебиллом. А кем же он был? Не имеет значения. А что имеет значение? Тот факт, что нормальных мужиков вообще не осталось. Но всё-таки стоило поискать, разве нет? «Твой сын — чудо», — сказали тем временем с другого конца провода, хотя никакого провода не существовало.

Это вчера, а сейчас она села в свою «альмеру», зная, что не надо спешить в садик за сыном. Оказалось, у неё — вагон времени и нет никаких планов на вечер. Впрочем, она устала. И тут что-то рухнуло на крышу. «Прости, что так вышло, но это конец истории», — сказала она и смахнула попутая в сутроб. Машина не завелась. Она открыла капот, совершенно не представляя, что делать дальше. Так и стояла, пока рядом не вырос (буквально из ниоткуда) высокий и молодой (ах!) мужчина. «Давайте я вам помогу», — предложил

высокий и молодой. «Плоскогорье в панцире льдов, звенящее холодом, синим, точно лоб мертвеца»*, — сказала она. «Что вы говорите?» — не слышал он, ковыряясь в пасти машины. «Спасибо. Вы просто волшебник», — ответила она и подумала: да, влюбиться, только не в такого дебила, как отец моего ребёнка. Может, в этого высокого и молодого?

ХОЛОДНАЯ ПЕСНЯ

Рассказ не вступает в противоречие с Федеральным законом Российской Федерации № 478-ФЗ от 05.12.2022, поскольку не распространяет информацию, направленную на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. Рассказ не навязывает информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях. Ограничения по чтению 18+.

Высокий и молодой шёл к станции метро «Озеро Смолино», улыбаясь чёрному небу и чёрному снегу, не веря в то, что случилось, и зная: это случившееся теперь навсегда с ним — не откажешься, не забудешь. Нет, никаких громких заявлений, никакого видимого сдвига обычной жизни не будет: он привык существовать незаметно и тихо, размеренно и надёжно. «Я ещё не знаю, что это. Или знаю, но боюсь признаться даже самому себе. Я счастлив? Да. А всё остальное — потом», — думал он, продолжая улыбаться чёрному небу, чёрному снегу, чёрным людям и чёрным фарам на чёрной дороге. Ему было так хорошо, что хотелось петь (он не умел), или писать стихи (он не умел), или делать добрые дела. Тут и подвернулась эта женщина с «альмерой». Он устранил неисправность за две минуты и сейчас, спускаясь в метро, не помнил ни как выглядела эта женщина, ни какого цвета была эта «альмера». Он опять представлял то, что случилось раньше, днём, когда приехал в ту девятиэтажку на Лизы Чайкиной.

Там, в одной из квартир, после невразумительного приветствия и мнимого знакомства, две фигуры повалились на безразмерную кровать, он потянулся к чужому ремню, а другой парень, всем телом лёжа на нём и целуя, пытался расстегнуть молнию его джинсов, и не хватало пространства, и

*) Из стихотворения Оскара Серруто «Плоскогорье». Перевод — Александра Косс.

руки путались, мешали другим рукам, и, казалось, это тянется целую вечность, и оба — пока предполагаемых — любовника одновременно оставались, и прыснули от смеха, и разлепились. И парень скатился с него, и лёг рядом, и каждый сам снял с себя одежду, и парень перевернул его на живот резким движением, и раздвинул ягодицы, и провёл между ними подбородком, ранив кожу мелкими щетинками, и прикоснулся сухими-сухими, показалось, в коросте, губами (высокий и молодой безотчётно понял, что он чувствует *там* именно сухие губы), и запустил свой жирафий язык в глубину, и у гостя запершило в горле, и ему показалось, что язык парня опять щекочет ему нёбо и трогает зубы, но уже не со стороны рта, а с другой. Он вскрикнул, но вышло какое-то мычание. Шею свело, а внизу живота, внутри, он почувствовал лёгкое покалывание, которое вот-вот обернётся чем-то разрушительным и безоговорочным. Парень оторвался от зияющей дыры и снова вошёл в неё, но теперь уже пальцем, двумя пальцами, резко, на всю их длину. Высокий и молодой дёрнулся от короткой пронзительной боли, попытался вырваться, но его не пустили, и он почувствовал беглое дыхание на затылке, и его опять целовали в макушку, в мочку, в висок, везде, и пальцы *там*, в незашитой пульсирующей ране, двигались сами по себе, отдельно от поцелуев, и пальцы уже стали частью дыры, и рана мгновенно затянулась, и боль исчезла. Его накрыло ветром, почти цунами, и он захотел, чтобы так было всегда. Но пальцы высвободились, парень шепнул что-то приторное, голливудское, что-то типа *я буду нежным*, и почему-то стало не по себе, высокий и молодой захотел сбежать подальше от этих соплей в сахаре, но в него уже входила какая-то кривая свая, навечно придавливая к земле. Член отвоёвывал пространство дыры мелкими размеренными движениями, а когда погрузился целиком, то остановился на секунду. И начал разгон с нуля, и парень опять сказал что-то неприятно-сладкое, что-то типа *тебе хорошо?* — но высокий и молодой уже не вспоминал о побеге.

Я работаю слесарем-сантехником воооон на тех домах, показал парень на отдалённый микрорайон девятиэтажек, разливая чай. Обзор был что надо: прямо под окнами стоял низкорослый детский сад. *Понятно*, ответил гость. *А жена у меня работает в этом самом детсаду*, сказал парень. *Понятно*, ответил гость, хотя он не понял. Парень понял, что гость не понял, и поэтому добавил: *Так что мы с тобой не сможем стать настоящей парой, ну, жить вместе не сможем. Хотя — о чём я говорю?*

Мы видимся первый раз. К чему строить планы на целую вечность? Так? И стал размешивать сахар. *Жаль, вырвалось у высокого и молодого, то есть — не знаю.* Парень размешивал и размешивал сахар, будто хотел заколдовать воронку. Чёлка падала на кончик носа, закрывая один глаз. *Ты красивый,* неожиданно для самого себя сказал гость. *Только давай сразу договоримся: без вот этого вот, без телячьих нежностей, ночных звонков и откровенных сообщений в любых сетях. Работаем по-деловому, потому что меня тут все знают и потому что — жена,* ответил парень. *Жаль,* сказал высокий и молодой, *то есть — ладно. Но всё же — жаль.* И опустил голову прямо на стол, уткнулся лбом в полированную поверхность и зажмурился, будто боялся солнечного света или у него началась мигрень. *Что-нибудь придумаем, не печалься.* Парень встал за гостем, поднял его голову, да и вообще выпрямил его так, что лопатками чувствовалась шершавая обивка спинки стула. Парень навис сзади, сверху, перегнулся и поцеловал высокого и молодого в губы затяжным поцелуем. Потом они опять пошли в спальню, и там уже не было никакой спешки, два человека насытились друг другом до полного триумфа и изнурения, а после — стали торопиться-расставаться и обнялись на прощание — не как любовники, а словно члены клуба анонимных алкоголиков.

Сейчас он спустился в переход и на минуту-другую задержался перед девушкой, почти девочкой, поющей «Ждём перемен». Песня не подходила исполнительнице по возрасту, но её голос был убедительным, а чувства — чистосердечными. В футляре лежало несколько мятых купюр, и медь, и серебро. Высокий и молодой достал бумажник, недолго поковырялся в нём, вынул банкноту, повертел её в руке и добавил к общей выручке. «Эй, — окликнула его певица, — это пять тысяч. Или забирай сейчас же, или не приходи потом ныть». — «И одинокая птица роняет свою холодную песню капля за каплей, как острый рубин за острым рубином»^{*}, — ответил он, повернувшись к ней и продолжая двигаться к поезду спиной вперёд.

БЕЗ ПЛОТИ

Когда она закончила петь, то поднялась вверх — станции метро у её дома нет, надо пешком идти четыре квартала, а можно ехать на троллейбусе или

^{*}) Из стихотворения Гильермо Вискарры Фабре «В стране окаменелого плача». Перевод — Алексей Эйсер.

маршрутке. Она живёт на Гагарина. Вид из её комнаты так себе: транспорт и легковушки разных мастей. Даже видом это не назовёшь: тоска какая-то, суета, пыль всегдашняя. И грязь повсюду. Даже зимой. Что-то такое на дорогу бросают, что лёд даже в трескучие морозы превращается в чёрное месиво. Никакие евроокна не спасают от гама главной улицы Ленинского района, в её комнате всегда что-то брякает, скрипит, визжит, гудит. Недавно перестали отключать ночью светофор на перекрёстке Гагарина — Руставели. Значит, и ночью здесь тлеет жизнь: нет-нет, да и проносятся такси, пешие одиночки и группы молча или с песнями и драками прикупают водку в раскиданных по кварталу круглосуточных. Она привыкла. Дом у неё кирпичный, пятиэтажный, с подобием башенки по центру крыши, на которой какой-то равнодушный строитель выложил красными кирпичами «1967». Она годится своему дому в дочери — и то, если бы он родил её в сорок лет. Значит, при определённых раскладах она могла бы стать своему дому даже внучкой.

Ей шестнадцать. И последнее время она без конца гадает: кто? Кто из четырёх? Лучше бы музыкант с пешеходной улицы. Как его там — Джуниор или Джинго, из Африки, короче. Хотя нет, чёрный цвет кожи не очень-то подходит к уральским пейзажам. Тогда этот — патлатый. Красавец, каких свет не видывал, породистый. Правда, кто он и что он — она не знает. Так, в компании познакомились, потусили потом. Ага. Потусили, называется. Есть ещё два кандидата, но о них как-то и вспоминать не хочется. Скоро у неё появится ребёнок, словом. Она ещё не совсем уверена, но знает — и всё. А вот с отцом этого ребёнка — незадача: кто? Кто из четырёх? Ладно. Беременность нисколько не пугает её, даже — радует. Она всегда мечтала занять своих детей раньше принятого. Никто не втемяшивал ей в голову (само пришло), что становиться матерью надо, ну, чем быстрее, тем лучше. Тогда можно выставить двадцатилетнего, например, сына за дверь (один живи, весь мир у твоих ног), а самой — не старой ещё, красивой ещё, сильной ещё — поискать наконец-то настоящее счастье. Да, всё так. Почему вообще нужен сын (которого необходимо выгнать из дома, едва он получит диплом айтишника или отслужит в армии)? Зачем откладывать с поисками счастья до сорока? Эти вопросы она себе не задаёт.

Она школьница, а ещё подрабатывает. Не только пением. Ищет себе клиентов. Конечно, объявления о чехлах для автомобильных сидений и в сети есть, и по старинке — на столбах. Но она не привыкла бездельничать

сложу руки — пишет и звонит всем кому не попадая. Ещё она всегда врёт — в независимости от того, выгодно ей это или нет, грозит ей это серьёзными последствиями или нет. Ещё она верит в Деда Мороза. Нет, не в этих ряженных-расфуфыренных, а в настоящего. Но такого людям, даже самым близким, не объяснишь. Вот она и помалкивает. Словом, она не выделяется ничем примечательным: нос как у всех, характер как у всех, повадки как у всех, тараканы в голове как у каждого встречного-поперечного.

Впрочем, есть одно... Ночью (это случится даже сегодняшней, хотя будет, наверное, минус двадцать восемь) она раздевается догола, не оставляя даже заколки в волосах, выходит босой из квартиры, поднимается по шаткому вертикальному трапу на чердак дома (ключик к замку на люке давно подобран), идёт по крыше к башенке, на которой красными кирпичами значится «1967», и стоит, всматриваясь в даль. Ни черта, кроме огней миллионного города, не видно. Даже так: иногда этот электрический свет распадается на множество огоньков, а иногда — наоборот — сливается в один огненный шар, который так и катится по шоссе с северо-запада на Гагарина, 17. Но ей плевать. Она видит не то, что на земле, а то, что в небе: крылатых коней, инопланетян, торчащих из иллюминаторов летающих тарелок, Эйфелеву башню в цепи проблесковых ламп. Она шевелит губами, будто считает секунды до отправления неизвестно куда, но так и стоит, и нисколько не мёрзнет. А в голове, как бы отдельно от подсчёта секунд, крутится что-то типа молитвы: «Господи иисусе пусть я верю в деда мороза но в тебя я тоже верю прошу тебя пришли мне сына поскорее чтобы потом сошлось вот так ему двадцать мне и сорока нет и я не старая ещё не страшная ещё сильная ещё тут как тут найду своё счастье».

Когда-то они всей семьёй угодили на своей «шестёрке» (или что это была за машина — она не знает) под колёса грузовика. Отец погиб мгновенно, от него осталось одно пятно, впрессованное в асфальт. Мама с тех пор сидит в коляске, вывести её на воздух — целая войсковая операция: в старом доме для таких людей ничего не предусмотрено, нужен отряд мускулистых добровольцев, чтобы спустить человека с четвёртого этажа. А ведь ещё и поднять необходимо! Дочь эту аварию не очень помнит, вообще-то — не помнит совсем. Ну, как это случается: есть слабые вибрации памяти, но думается, что не с тобой это произошло, а в книжке прочитано давно. Или, пожалуй, в кино каком-то, забытом напрочь, подсмотрено. Боли иногда возвращаются, тупые и резкие, но короткие.

Фантомные, что ли, сказала бы она, если бы знала это слово. Потому что она тоже тогда пострадала — ступни-то нет. Впрочем, другие и знать не знают, что у неё там протез. Думают, хромоногая от природы. И что с того? Над ней — весь звёздный атлас, на ней — ничего, только ветер, прилетевший с озера Смолино, с Новороссийской, Василевского, Агалакова, Руставели, Вагнера, Барбюса и других ближних улиц. Она стоит на крыше, будто погрузилась в сон, и ждёт то ли сына в клюве аиста, то ли марсиан, которые заберут её с собой.

Сегодняшнюю выручку она без пересчёта и разбора сунула в карман. Закончила петь, собрала вещи, почти поднялась наверх, и там увидела этого бездомного — часто здесь торчит, побирается. Только дела у него идут хуже, чем у неё — старый, облезлый. Некрасивый. Больной, наверное. Выгрэбла из кармана всё до копейки в пластмассовый контейнер бездомного. Правда, пятитысячную себе оставила. На невразумительные слова благодарности старика ответила: «Я исчезаю светом и пеной; телом без плоти, мир — это ветер, это лишь воздух на перелёте»*. И ушла.

У ВЕРЛЕНА

Я сидел и клепал свой бесконечный роман. Бесконечный не потому, что длинный, а потому что бьюсь над ним без малого пять лет. Стоило мне расписать невозможность будущего счастья главного героя с главной героиней, стоило мне закончить с неглавной героиней, которая никак не хотела превращаться в реального человека, а была словно вырезана из картона, плоская и предсказуемая. Стоило мне, можно сказать, наступить на горло собственному замыслу и спасти-таки её от фармакологической смерти, как — звонок. В домофон. Дева Мария Гваделупская, только не это! Только не этот! Не этот завшивленный бездомный из песочницы. Да, окна моего дома выходят на детскую площадку. Я каждый день вижу старика (или он не старик?) с рваной харей и ухоженной бородой. «Привет, Грантс», — сказали в домофон. Это позвонил он, бомж.

Боже, я только что разделался с самой сложной сценой романа, которая мне никак не давалась. Да. Я расписал неглавную героиню до самой точки, но не чувствовал облегчения. Наоборот: какая-то дыра образовалась внутри меня, всё более расширяясь и чернея. Мне было худо. Мне было паршиво.

*) Из стихотворения Октавио Паса «Ветер». Перевод — Анатолий Гелескул.

Хотелось сжечь все свои мёртвые души и провалиться сквозь землю. Кажется, я поставил точку в отношениях всех со всеми. Никто не счастлив. Все герои — страдают. И я. И я. А он уже топтался перед дверью, и кашлял, и смердел. «Сегодня девочка в метро тонну серебра мне отсыпала. И бумажек — море. Я пойла взял. Отметим?» — первым делом сказал гость.

Однажды я дал ему яблоко. Вижу, человек сидит на бортике песочницы. Подошёл и дал яблоко. В другой раз дал ему сто рублей. Вижу, всё тот же человек сидит в том же месте. Ну, подошёл и дал. Потом позвал принять душ и подарил одежду. Ну, джинсы с жирным пятном от чёрт знает чего, которые я так любил, что не решался выбросить. Трусы — заношенные мной до небольшой дыры в промежности, но — стиранные с присущим мне тщанием, чистые. Почему я не выбросил трусы? Не помню. Вот с обувью вышла промашка. Старик носил, наверное, сороковой размер, а я — чуть ли не вдвое больший. Ах да, ещё же пуховик. И свитер.

Бомж не злоупотреблял моей любезностью. Он захаживал, может, разок в две недели, а то и реже, чтобы «помыться». Но, ясен пень, ему перепалал и обед, и чистая одежда, и скудная денежная выплата. Я знал, что он «работал» на станции метро «Озеро Смолино», но вот где он жил? «Что у тебя на ужин?» — спросил старик, потирая руки. От них, казалось, отлетала шелуха. «Миска жёлтого риса с рыбой. Хочешь?» — ответил я. «Вот что странно, теперь мне снятся исключительно льявта. Льявта, выходящие на песчаный берег», — сказал старик. «Ты будешь есть?» — «Нет, я поем дома», — сказал старик. «Но у тебя нет дома. Ты живёшь в песочнице». — «Теперь — только льявта...» — зачем-то повторил старик. «Ты будешь есть?» — зачем-то повторил я, хотя ещё не случилось, чтобы бомж уходил голодным. «В море не принято разговаривать без особой нужды», — сказал старик. «Ты на берегу. На улице Руставели. У Яниса», — сказал я. «Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной», — сказал старик. «Ты подцепил большую рыбу?» — включился я в старую игру. «Рыба, — позвал он тихонько, — я с тобой не расстанусь, пока не умру». — «За год нашего знакомства я так и не понял: ты рыбак или ты — Хемингуэй?» — спросил я и поставил тарелку шей в микроволновку. Надо нарезать побольше хлеба: бомж мог запросто проглотить полбуханки. «Два в одном, как пакетик кофе. Я — два в одном: и старик, и Папа Хэм».

Микроволновка запикала, отсчитывая последние десять секунд. Мне всегда казалось, что это должно кончиться взрывом или вертикальным

взлётом, будто столешница была палубой авианосца, а микроволновка — устаревшим истребителем. От этого пиканья веяло катастрофой, одним словом. «Твоя рыба не даёт мне покоя уже тридцать лет. Почему акулы оставили в сохранности хвостовой плавник? А позвоночник? А голову с мечом? Почему они не растерзали твою рыбу по-настоящему, до конца? Ты написал неправду», — сказал я и уселся напротив. Тарелка щей полыхала перед его носом. А он... словно спал, покачиваясь на волнах. Голова медленно клонилась вперёд, а потом — в обратную сторону. «Дурак ты», — неожиданно резко и зло сказал старик, не открывая глаз. Потом всё же открыл их и стал хлебать из тарелки, шумно фыркая, сладко глотая, деланно рыгая. «Дурак ты, — повторил он уже без враждебности, почти нежно. — Вот писатель, а ни хуя не соображаешь. Возможно, стая акул и должна была разделать мою большую рыбу на атомы, разодрать и съесть без остатка, но тогда старику пришлось бы умереть. Потому что без этого вот позвоночника и... чего ещё там?... без этого всего он — мертвец. А я не хотел, чтобы он становился мертвецом, потому что он и есть я». — «Это ничего не объясняет, — сказал я и переключился на другое. — Морозы же. А где ты зимуешь? Под какой-нибудь теплотрассой?» — «Ещё чего! — Старик бросил ложку в щи, тарелка отозвалась звоном дешёвого фаянса. — Я уезжаю в Гавану. Зимой там — лучшая рыбалка!» — «Почему тогда ты ещё здесь?» — ответил я вопросом. «Точно, мне пора. Поеду, — Засобирался старик. — А как же бутылка? Я ведь купил нам с тобой крашеной водки. Перцовка, что ли». — «Выпьешь с кем-нибудь по пути в Гавану», — сказал я.

Он вышел в холодную ночь и вдруг прямо на крыльце взвыл: «Аааа, заболтал меня, Чехов конченный. Забыл самое главное». Побежал к тополю во дворе и запустил в него парящую струю, которая никак не угасала. Наконец дело было сделано, старик посмотрел вверх на прозрачную крону, обхватил дерево обеими руками и произнёс: «У Верлена есть строчка, которую я так и не вспомню, Где-то неподалёку есть улица, по которой я уже не пройду»^{*}. Тополь в ответ не сказал ничего.

ЭТОЙ НОЧЬЮ

Днём немного отпустило. Ну как немного: столбик пополз вверх и остановился где-то на минус двух. А к вечеру опять вернулся мороз, ветви тополя

^{*}) Из стихотворения Хорхе Луиса Борхеса «Пределы». Перевод — Сергей Гончаренко.

от подножия до верхушки покрылись инеем. И только ствол отчётливо чернел, не тронутый заледенелой сверкающей водой. Казалось, тополь умер. Но под слоноподобной потрескавшейся корой, где-то в глубине, медленно текли жгучие соки и чуть слышно стучало деревянное сердце.

Дерево стояло здесь больше пятидесяти лет. Окрестные дома выросли вместе с ним, но теперь выглядели горбатыми облезлыми стариками, а тополь всё ещё тянулся в небо, он смотрел поверх крыш, на звёзды, и не думал дряхлеть. Его, тоненькую веточку, высадили на пустыре, когда бульдозеры начали рыть котлован под будущую девятиэтажку. Уже тогда он знал об этом месте больше, чем геодезисты, архитекторы, строители и монтажники. Миллионы лет назад здесь был необъятный океан, в нём плавали огромные, как останкинские телебашни, то ли рыбы, то ли звери, которых давно уже нет. И осьминоги с медузами — а вот эти ничуть не изменились, будто наша планета ведёт отсчёт со вчерашнего дня. Осколок челюсти одного мастодонта застрял в корнях тополя. Точнее, тополю пришлось отрастить свои корни до того слоя земли, где уснуло вечным сном это морское чудовище, опутать собой его полуметровые зубы и огрызок кости, чтобы уже никогда не отпустить. Вообще-то мастодонт — существо исключительно наземное, поэтому лучше называть останки доисторического морского зверя мегалодон. [От автора. Никогда бы не подумал, что мой редактор докопается до этого мегалодона. «Ты смешиваешь неогеновый и четвертичный периоды кайнозойской эры, тебя первый же шестиклассник разоблачит», — сказал он. «Правда?» — задумался я. «С мастодонтами соседствовали другие водные гиганты — ихтиозавры», — сказал он. «Правда?» — задумался я. «И вообще, в отложениях Уральского океана пока не найдено ни одних останков крупного животного — сплошь какие-то брахиоподы, гастроподы и аммониты. Поэтому подумай, что и как подправить в рукописи, а то ведь насмешишь людей», — сказал он. «Правда?» — задумался я и понял, что не буду ничего менять].

Вы ещё помните, что речь шла о слоях земли, до которых корнями дотянулся дворовый тополь? Итак, мегалодон. А выше лежит тоже нечто уникальное — наконечник, всё, что сохранилось от копыя древнего человека и его самого. Когда море исчезло, человек заселил эти места и охотился здесь на саблезубых антилоп и вилорогих тигров. Деревянный закаменелый наконечник копыя, возможно, прародитель нынешнего тополя,

далёкий предок в сотом поколении, свидетель того, что когда-то люди не умели варить металл, а брали в руки то, что попадалось. Ещё ближе к поверхности лежат глиняные черепки, монеты, тлеющие страницы непрочитанных книг, невразумительные куски какой-то домашней утвари, чьё предназначение уже никогда не получится разгадать. На самой небольшой глубине корни опутали ошмётки пионерского галстука, дырявый презерватив, упаковку (почти сгнившую) таллиннской жвачки и пузырёк из-под капель для носа. Недалеко покоится серёжка — полый треугольник, размером почти с египетскую пирамиду. Серёжка выскочила из мочки одного ужравшегося юноши, мнившего себя рок-певцом и гитаристом. Его глаза были раскрашены на индейский манер, а вместо комсомольской причёски торчал ирокез. Он блевал на молодой тополь не меньше десяти минут, поскольку тогда организм ещё не принимал спирт в таких осатанелых дозах. Не принимает и теперь, но не по причине молодости и неопытности, а по другой — человек этот давно умер. Здесь же рядом сверкают (разве что-то сверкает в подземном мире?) два «секретика», два осколка бутылочного стекла, которые прикрыли собой наскоро придуманные натюрморты: лист порывшего девичьего винограда, фантик от «мишки косолапого», живого кузнечика. Где вы, девочки, где вы, подружки, оставившие под тополем свои секретики? Истлели, как лист девичьего винограда, рассыпались на песчинки, как мумия казнённого вами кузнечика, или всего лишь потускнели и состарились, как конфетная бумажка?

Деревья обладают сверхъестественной памятью: старый дворовый тополь поимённо помнит не только всех блевавших на него бездарных музыкантов, бывших девочек, прятавших секретики у его корней, безумных бомжей, справлявших здесь свою нужду, но и всех птиц, хотя бы однажды ночевавших в зелёной или седой кроне. А ведь были ещё пакеты, прилетевшие с помойки и трепыхавшиеся на ветру как паруса пиратских корветов. Были кеды, трусы и ещё какое-то шмотьё, выброшенное с восьмого этажа, висевшее когда-то всё лето как скандальный таблоид, рассыпанный на интимные цитаты. Были рабочие, приехавшие к тополю на асфальтоукладчике с пилами и другим смертоносным инструментом. Они хотели соорудить здесь автостоянку, но бабушки встали на защиту двора и дерева, хотя именно они каждый июнь грозят тополю расправой: он по-прежнему сеет по всем сторонам света такое количество пуха, что задыхаются не только аллергики.

Ну да ладно. Середина декабря. Тополь, облитый жёлтой струёй бездомного, спокойно провёл ночь. Никто не запускал фейерверки прямо в крону, никто не размахивал ножом у земли. Окна проснулись, зашевелились и замерли снова, распустив своих хозяев по работам. Но в одном окне не прекращается движение: женщина подходит к стеклу, на секунду задерживается в прозрачном квадрате и снова исчезает. Так проходит час. Женщина чем-то встревожена? Что с ней? Она вновь подходит к окну, раздвигает шторы на полную ширину, смотрит на двор. Больше всего её интересует тополь — контрастный как никогда: чёрный-пречёрный ствол и звеняще-белые ветви. Женщина удивлена. Женщина заколдована. Женщина не может отвести взгляд. Женщина видит тополь, который видела тысячу раз. Женщина видит тополь, который никогда не видела. «Тополь», — говорит женщина. Тополь видит женщину. Он не может её вспомнить. «Женщина», — говорит тополь.

Это взаимное пересечение взглядов, это взаимное изучение было недолгим — каждый вскоре занялся своими делами. Впрочем, дерево не планировало никаких дел на ближайшие месяцы: зима. Время сна. Время погружения. Время сбережения сил. Время памяти. «Этой ночью я один, и моё сердце переполнено непоправимым горем, обездолено твоей смертью»*, — вспомнилось тополю. Что это были за слова? Дерево не знало. Оно понадеялось, подсказку даст ворона, только что примостившаяся на одну из нижних веток, но ворона не умела читать чужие мысли. Дерево понадеялось, что автора строчек подскажет невесёлая женщина, но она удалилась от окна.

ТЁМНЫЕ ОРБИТЫ

Она отошла от окна и включила телевизор, шёл снег — и по Первому, и по России, и по Культуре. Профилактика, что ли. Зато на канале Боец в круглой клетке мутузили друг друга два звероподобных типа. У одного из них не было шеи — голова росла прямо из плеч. Женщина налила себе горького чаю и придумала болеть вот за этого — окровавленного негра в белых шортах и без шеи. Спустя минуту негр беспомощно развалился по центру ринга, и его соперник, жутко похожий на знаменитого писателя

*) Из стихотворения Хосе Асунсьона Сильвы «Ноктюрн». Перевод — Майя Квятковская.

Ермолина, стал бить себя по волосатой груди, как вожак стаи горилл, заявляющий о своём праве. Она всамделишно расстроилась, но потом решила выкинуть бои без правил из головы, потому что на свете бывают втрое горшие вещи, нежели любимчик, поверженный в круглой клетке — например... И ничего не вспоминалось. А заодно забылся и пододеяльник в стиральной машине, и желание поговорить с мужем. Захотелось есть, и она заказала пиццу.

Но голод отступил сразу после звонка доставщикам обедов, потому что в голове начали сталкиваться какие-то скалы с какими-то скалами. Вокруг стояла нетронутая тишина, а в ушах женщины трескался и рушился гранит, взлетали, шумно хлопая крыльями, десятитысячные сборища олушей (или кто там живёт по побережьям?), с хлестким разрывающим звуком бился о ламинат дождь из речных угрей (такой и вправду был, она читала, где-то в Испании). Женщина пошла в спальню. К аптечке. Выдвинула ящик трюмо, достала жестяную расписную коробку из-под импортного печенья, в которой хранила лекарства. Нашла анальгин. Оторвала один кружок, положила на язык. Сходила на кухню. Набрала стакан воды. Выпила половину. Вернулась в спальню. Вытрясла всё содержимое из расписной коробки и стала освобождать таблетки от бумажных и серебристых (какая-то крепкая фольга, что ли) оболочек. Упаковок набралось много: просроченных, безопасных, устрашающих. Таблетки были круглыми, овальными, почти плоскими, надутыми, с поперечным сечением для уменьшенной дозировки, гладкими, словно стекло, и в виде двухцветных пилюль, обтекаемых, как подводные лодки... Она выковыряла таблетки из их заточения, горка оказалась внушительной, и зачем-то принялась подсчитывать это богатство. Одна, две, три... Тридцать, тридцать одна, тридцать две... Шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят восемь... Она устала от подсчётов, рухнула на кровать и неотрывно глядела в потолок, который молча помаячил перед ней ещё секунду и исчез.

Когда женщина проснулась, было солнечно и тихо. Она прошла на кухню, взглянула на стрелки и поняла, что спала всего-то пятнадцать минут. Хотелось есть, но в холодильнике опять хозяйничала пустота. Надо было чем-то занять себя, пока не принесли пиццу. Или её уже приносили? На глаза попалась грязная тарелка. Женщина помыла её с мылом. Тщательно. Встряхнула руки, освобождая их от капель. Потянулась было к полотенцу,

но краем глаза заметила неладное. Снова намочила руки. Снова встряхнула. Так и есть. От капель, слетавших с её рук, по кухонным предметам расплзались недолгие, но отчётливые круги. Стол, поймавший каплю, пошёл кругами. Стена, поймавшая каплю, пошла кругами. Плита, на которую попала капля, пошла кругами. Потом предметы вернулись к себе прежним и стояли — хоть бы что. Женщина не стала продолжать эксперимент, боясь подтверждения своей догадки: всё в мире состоит из воды, и капли, упавшие из её рук, попали на водяную гладь стола, стены, плиты. Она всё же намочила руку ещё раз. Теперь и мойка пошла кругами. А потом и пол (на него вода стекала с ладони). «Только я не из воды. Только я».

Тут за стеклом что-то захлопало, зашумело, и её взгляд переключился на внешний подоконник (это карниз, да?) Туда слетелись голуби. Она впервые видела там птиц и с любопытством разглядывала их. Четверо были обыкновенными сизарями, изношенными борьбой за выживание, а пятый — благородным белым голубем с карим крылом. Вместо одной ноги у него торчала культияпка, и он переваливался как пират. Птицы на окне — к смерти, говаривала бабушка. Женщина помнила все нюансы её речи: это вятское «о» где ни попадя, эти интонации, тяготеющие к вопросу в самом утвердительном заявлении, эту певучесть. Бабушка говорила (по секрету), что Гагарин встретил на орбите Господа Нашего Бога. Господь Наш Бог попросил Гагарина хранить молчание. Гагарин обещал и — сдержал обещание. «А ты-то как тогда узнала?» — спрашивали бабушку. «Гагарин, повторяю вашим дурьим бóшкам, не проболтался. Сам Господь Бог шепнул об этом нашему настоятелю, ну, батюшке из церкви Николая Чудотворца. А батюшка — по великому секрету — нам», — отвечала она. (Женщина вернулась в спальню и начала заново пересчитывать таблетки).

У подъезда переминался какой-то парень в белой бейсболке (мороз же, почему бейсболка?) и с пиццей в руках. Он звонил и по телефону, и в домофон. «Заказали вот. Не открывают», — сказал он подошедшему человеку и по умолчанию пристроился следом за ним. Потом он долго звонил в квартиру, потом нажал на ручку, и дверь распахнулась. «Доставка пиццы!» — проорал он в тусклый коридор. «Я здесь. Несите сюда», — еле слышно ответили откуда-то из глубины. Женщина была, вероятно, за поворотом, в дальней комнате. Доставщик еды беспричинно

почувствовал жажду, беспричинно (и резко) сорвал бейсболку, подумал, снимать ли обувь, но не снял — так и пошёл, оставляя ребристые следы на ламинате. «Будете пиццу?» — спросила женщина равнодушно. Только тут парень увидел разбросанные по комнате таблетки. Не сказать, чтоб они усеивали весь пол, но их было много. Очень много. Будто кто-то взорвал хлопушку и оставил разноцветные кружки конфетти до завтрашнего прихода домработницы. «А сотни глаз зияющей тоски с меня не сводят тёмные орбиты»*, — сказала женщина, по-прежнему глядя на парня, который опять надел белую бейсболку. «Спасибо, я не голоден», — ответил он.

ИЗНЕМОГАЕТ УМ

Он вышел из квартиры женщины-с-таблетками (жст) не ошеломлённым, нет, а каким-то необратимым, что ли. Неустроенным, что ли. Сломленным, что ли. Думал не о ней — о себе. Что думал? Что всегда так было и будет, а он внушал себе другое. Врал, получается. Зачем держаться за те редкие минуты, когда действительно выросли крылья за спиной, если в пересчёте на его земное время это всего лишь погрешность? Зачем заниматься самообманом и талдычить: всё ещё сложится как надо? Зачем прогнозировать недостижимое счастье, если тебя всё равно придавит бетонной плитой — не здесь, так за следующим поворотом. Счастья нет. Он снова мысленно возвращался к жст — на хрена она разбросала таблетки по всей комнате? Хотела сожрать их разом и — привет? А потом испугалась, или решила бороться, или звонок в домофон её остановил — вот и смахнула со стола. Сейчас соберёт их повторно и сожрёт. Нет, уже не сожрёт. Это по-другому устроено: либо сейчас, либо уже никогда. Ну, то есть когда-нибудь она опять может решиться, но ей придётся по-новому пройти все фазы отчаяния до самой последней черты.

Он поправил свой квадратный короб (ему нравилось профессиональное название — термобокс) за плечами, сел на свой велосипед с необъятными шинами и двинул в свой недалёкий путь — на Машиностроителей. Зачем я в кепке, подумал он. Морозы отступят только к выходным, подумал он. Хана моим ушам, подумал он. Да, было холодно. И солнечно.

*) Из стихотворения Сесара Вальехо «Чёрные листья». Перевод — Анатолий Гелескул.

И безветренно. Навстречу попалась молодая мамаша с коляской для близнецов — хороший знак (это ещё почему?), студент, пьющий пиво на ходу, пожилая пара. Пиво на улице в такой день — экстремальный спорт. Бутылка же к рукам примерзает, это не наслаждение, а издевательство над собой. Я тоже издеваюсь над собой, подумал он. В бейсболке же, подумал он. Да и не в бейсболке дело, подумал он. Вспомнил, как его девушка вчера распахнула свои азиатские глаза и ехидно сказала: «Мы? Нет никаких мы. Мы не вместе — запомни». Она варила при этом какие-то рыбки головы. Запах готовящейся рыбы всегда вызывал у него приступы тошноты: всё равно — разделяют её сырую, жарят или варят. А вот есть её он любил: суп получился превосходным. «Ты думаешь, что можешь трахать меня по первому желанию, но не иметь никаких обязательств? Ты думаешь, что можешь просто взять и сбежать?» — почему-то завёлся он, хотя обычно терпел её надменность. Зря он это начал. Не с того начал. Не на тех регистрах. Так ведь это не он, а она.

Вообще-то всё всех устраивало. Ну, до этой перепалки в сцене над рыбьими головами. Конечно, парня с термобоксом задевали её сарказм, независимость и постоянные упоминания о временности их отношений. Про совместное будущее она говорила что-то типа: не верю, но хочу верить. Или: у нашего завтра есть много «но». Только зачем омрачать себе жизнь? Оставим все «но» на потом. Обычно он проглатывал такие заявления, хоть было неуютно и даже обидно, но вот вчера — восстал. Что ещё? У неё было сто тысяч подписчиков, а у него — постоянные приступы тревоги. Она была блондинкой-глаз-не-отвести, а он — дислектиком. Она всегда лучилась улыбкой, а он ходил и хмурился, потому что представлял, что потеряет её — не сейчас, так завтра — и поэтому не мог наслаждаться каждой секундой рядом с ней. Она смотрела на события и людей трезво и оценивающе, а он пытался увидеть во всём то, чего нет. Она не ждала от него подвигов, а он хотел, чтобы она любила его его же любовью. Как это объяснить? Ну, чтобы переживала и думала о нём, чтобы ревновала и боялась потерять. Стоило ему отвести от неё взгляд, и он скучал. Чего скучать, если она рядом? То-то и оно. Да, всегда так: один любит, а другой терпит эту любовь. Или не всегда, но у него — так.

Однажды в кругу друзей играли в какую-то токсичную игру — отвечали на откровенные и не очень вопросы. Ей достался такой: что делает тебя счастливой? Она покрутила карточку с вопросом в пальцах, подумала две

секунды и улыбнулась на все свои фарфоровые зубы: «Уж точно не он». И показала на парня с термобоксом (который — уж конечно — сидел в компании без термобокса), на человека, с которым два года делила постель и хлеб. Компания заплодировала, и он — тоже, но было до того муторно, что хотелось выброститься с первого (так уж вышло) этажа. Правда, все окна там были прикрыты решётками, поэтому идея провалилась.

Он ехал по Новороссийской и чувствовал какую-то дрожь неба — наверное, пойдёт снег. Но бывает ли снег при таком неуязвимом солнце, при таких ликующих облаках? Он миновал ресторан с летней верандой, увитой сухими виноградными лозами, которые зимой выглядели как щупальца доисторических осьминогов, проехал мимо частной клиники и остановился на светофоре у арки, ведущей на пляж озера. На льду, не у самого берега, а подальше, было многолюдно и суетно. Он спешился, подкатил велосипед к Смолино и увидел: работает съёмочная бригада, купаются моржи. Надо же: не пожалели сил и средств, чтобы выдолбить такую прорубь, практически мини-бассейн. В этой большой группе среднего и почтенного возрастов выделялся подросток — хрупкий и прозрачный. Он стоял на кромке льда в одних плавках и не думал дрожать, а по команде режиссёра нырял в мутную воду изящней самого Маугли. Было три или четыре дубля с прыжком в ледяное озеро. Всё это время разносчик пиццы смотрел на подростка не отрывая глаз.

А потом он скинул бейсболку и даже затоптал её, но забыл или не захотел снять с плеч термобокс, шагнул к проруби и рухнул в неё солдатиком вместе со всей своей одеждой и коробом. Озеро накрыло его с головой, несильное, но упорное течение стало затягивать разносчика под лёд. Наверху сначала не поняли произошедшего, а теперь вся закалённая массовка бросилась на спасение утопленника. Те, что остались на льду, закрывали лица ладонями или причитали, а режиссёр вызывал машину реанимации. Тут разносчик пиццы вынырнул прямо по центру выдолбленного квадрата — вода оказалась ему по пояс. Он стоял и улыбался. Когда в палатке медсестра пыталась узнать, что он задумал и как себя чувствует, а хрупкий и прозрачный подросток в плавках наливал ему чай, человек в мокрой одежде сказал: «Пьёшь наспех, дышишь наскоро; от дум устала плоть, изнемогает ум, и суета становится привычкой...»^{*} — «У меня тоже есть эта книга», — улыбнулся подросток и вышел из палатки.

^{*}) Из стихотворения Хуана Куньи «Жить». Перевод — Владимир Резниченко.

ОБРАТИВШИСЬ ВЕТРОМ

202

Надо же, думал хрупкий и прозрачный подросток, выходя из палатки, это именно тот доставщик пиццы, что прервал наш поцелуй на субботней вечеринке. Или очень похожий на него парень. Или — нет — это всё же он. И тогда она отлепилась от меня и даже вытерла губы, будто происходящее было ей неприятно, а звонок прервал эту неприятность. Отлепилась и побежала открывать, думал подросток. И всё. И никакого продолжения. С ней — никакого. Продолжение было с доставщиком. Выяснилось, что пицца не оплачена, и компания раскрутила подростка на наличные. Он и расплатился — из рук в руки. Компания была чужой. Все они из одиннадцатого, а он — из девятого. Может, она и позвала его для этого: чтоб раскошелится и сгинул? Конечно, как только раньше не дошло — вино, пицца, такси для кого-то там — она же его использовала, предварительно утешив поцелуем. А потом присосалась к пьяному лысому коротышке с коричневой бородавкой на затылке. Это открытие так поразило хрупкого и прозрачного подростка, что он стал мёрзнуть. Но чтобы одеться, надо было вернуться в палатку, а там сидел этот утопленник, которого подросток уже назначил виновным за своё субботнее поражение: повторно встречаться с ним не хотелось. «Съёмка окончена. Всем спасибо!» — сказал в это время мегафон голосом помощника режиссёра.

Дома подросток снял только обувь, прошёл в свою комнату, одетым — в пуховике и шапке — рухнул на кровать, раскинув руки, и принялся изучать потолок, как герой американской мелодрамы, запутавшийся в своих любовных связях. Только вот никаких связей не было. Был слюнявый поцелуй. Но подросток вспоминал не это, а зажжённую спичку, от которой она прикуривала на кухне. Она держала эту спичку вертикально. Почему всё важное всегда рассыпается в прах, а какая-то незначительная деталь, мелочь — вертикальная спичка — навечно задерживается в памяти? Да нет же, нет. Она не могла так поступить с ним. Не могла — и всё. Не могла позвать его только из-за кошелька. Она не такая. Ведь благодаря ей — впервые — подросток чувствовал себя неслучайным. Да, вот оно, это ощущение — неслучайность. Раньше он просто жил, как другие. И был, как другие. Куда-то ходил, что-то делал — нехотя или увлечённо, но механически, что ли. А теперь он почувствовал себя не просто набором хромосом, тарой с плотью и кровью или млекопитающим с отточенным

распорядком дня. Не просто ошибкой родителей или их обдуманном ходом (он никогда не интересовался обстоятельствами, которые вызволили его на свет божий). Он чувствовал себя не лучшим, нет, а — единственным, как наркобарон, лоснящийся от собственного величия. Властелин мира. (Пластилин мира, подумал он и улыбнулся). Впрочем, кокаиновые (или что сейчас в самом ходу?) воротилы сеют ненависть и смерть, а подростком управляла любовь, и его распирало от желания поделиться собственным счастьем, отщепить по чуть-чуть всем нуждающимся и нет. Он словно был смотрителем маяка, таким же могущественным, как наркобарон, только его могущество было другим: не диктовать капитанам кораблей ложные ориентиры, следуя которым они разобьются о рифы и скалы, а указывать путь в открытый океан. А ещё он был счастлив счастьем ребёнка, засыпающего при мысли, что так будет и завтра, и послезавтра, и потом.

Но всё же она его использовала — разве нет? Она над ним смеялась — разве нет? Да и других проблем хватало. Он не умел держать палочки для суши и стыдился этого. Ему снились сны с продолжением, он помнил их до последнего кадра. Никто не знает своих снов, а он — знал и стыдился этого. Ещё он любил вязать. О таком не расскажешь и самому ближнему, факт увлечения совершенно женским занятием беспокоил его днём и ночью. Он стыдился этого. Если он долго выдавливал прыщи или рассматривал лёгкий пушок над верхней губой, ожидая его превращения в жёсткую щетину, то переставал видеть своё отражение — оно попросту пропадало из зеркала. Он стыдился этого и боялся, что начинается какая-то неизлечимая болезнь на нервной почве, а с такими проблемами могут не взять в армию. Он стыдился своего отца, который давно, когда подросток был ещё сопляком, уехал в Канаду, чтобы осмотреться, закрепитесь и забрать к себе семью. Но прошло десять лет, они с мамой так и жили у станции «Озеро Смолино», а отец обзавёлся зарубежной женой и франкоязычными детьми, сам уже, наверное, коверкал «р» и не вспоминал о прошлом.

Съёмки случились вчера, а сегодня она, та самая, с вертикальной спичкой (только, конечно, без спички), ждала хрупкого и прозрачного подростка прямо на крыльце школы — занятия закончились, все расходились по домам. «Можно было и позвонить, и написать, но я подумала, что так будет правильной», — сказала она. Поцелуй меня, подумал он. «Я позвала тебя на вечеринку, чтобы ты платил, поддалась этим уродам», — сказала

она. Поцелуй меня, подумал он. «Я больше так не буду», — сказала она. Поцелуй меня, подумал он. «На самом деле ты мне нравишься, что-то такое со мной происходит», — сказала она. Поцелуй меня, подумал он. «Всё время думаю о тебе», — сказала она. Поцелуй меня, подумал он. «Чего ты молчишь?» — спросила она. Он хотел рассказать ей про вязание, сны, зеркало, отца, про своё древнее сердце забытого человека, пленённое ею тысячу лет назад, про каменный мрак, сквозь который он тянет к ней свои руки, про счастье, широкое, словно море со всеми его островами, уготованное им двоим, про колодец со скрытой водой затонувших истин, который они обнаружат на плоскогорье зубчатого антрацита, про два переплетённых тела под чёрным шквалом ночи, про чашу новой жизни, которую они наполнят драгоценным блеском зёрен, про жаждущую землю, которую они пройдут вместе шаг за шагом, звено за звеном, цепь за цепью, про неразменность их единой судьбы, про апельсиновый цвет, про неисчерпаемую музыку, про разреженную высоту, про холодный огонь, про выстраданную поэзию, про...

«И не понять в томительной тиши, душа ли стонет, обратившись в ветер, иль ветер стонет голосом души»*, — сказал он. «Что?» — не поняла она. «Я люблю тебя», — сказал он. «Ааа, это. Тогда, может, угостишь меня пивом?» — спросила она. Он хотел что-то ответить, но тут из школы вывалилась её компания с субботней вечеринки — три девушки и неприменный лысый коротышка с коричневой бородавкой на затылке. «Мы все идём пить пиво!» — радостно встретила их возлюбленная хрупкого и прозрачного подростка.

*) Из стихотворения Хосе Сантоса Чокано «Кена — индейская флейта». Перевод — Геннадий Шмаков.

Der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu Hause; blau sind meine Hände von seiner Freundschaft Händedruck (Заратустра).

Зима, опасный гость, сидит у меня в доме; сини мои ладони от его дружеского рукопожатия.

«Зима» у Ницше мужского рода. Наверное, в моем доме сидит она, а не он. Зима, опасная гостья, села у меня в доме. Посинели руки мои от ее дружеских пожатий.

Тем не менее, я вынужден растворять окна: воздух сух, и в горле першит, да еще кухонный чад, доходящий ко мне от соседей, приканчивает меня.

Открыв окно, я перестаю слышать не только вонь, но и странную музыку, гуляющую по дому.

Проходя через стены, деревья, стекла и этажные перекрытия, смешиваясь с птицами и гомоном детворы, музыка умнеет.

Отчего уже первые такты музыки заставляют нас дрожать? Мы предаем, грабим, убиваем, затем сходимся в помещениях, не слишком, бывает, светлых и чистых... Тайные радения? Чтобы так трогать слушателей, музыка должна намекать на что-то очень сильное и глубокое. На что она намекает?

Музыка выбирает из человека все лучшее...

...Аристолин, летящий в бездну; Навуходносор, убийца магов; легкая барка, уносящая Пифагора по цикладским волнам...

«...Любовь как единственный, как последний шанс выжить.

Страх перед болью, даже бесконечно малой мерой боли — к чему еще может вести он, как не к религии любви?» (Der Antichrist).

«...Зачем я пришел в этот мир, исполненный боли», — говорит Михась после бутылки сливовицы, и это не вопрос, а, скорее, ответ, так как он достает и откупоривает следующую. Михась — человек с, так сказать, оригинальной системой ценностей.

Что роднит меня с ним? Например, любовь к *Vaya Con Dios*, мы оба млеем от огромных глаз Ступай-с-Богом.

Порой я вижу сны, где иду по мокрым трамвайным рельсам с Михасем, одним и тем же неизбывным ночным пейзажем.

Как раньше.

В первом сне, давнем настолько, что в нем культурные пристрастия Михася мне еще неизвестны (я даже не подозреваю, что в действительности

он — Моше), выясняются фильмы, перевернувшие нашу жизнь. В очень борхесовском разговоре, обмениваясь исключительно загадками, мы никак не можем открыть друг другу заветных имен. Еще не названы ни сроки, ни языки, как вдруг с поразительной ясностью я осознаю, что речь — обоими — ведется об одном и том же. «Пепел и алмаз», — выкрикиваю я с той беззаветной решимостью, с какой входят в апрельскую воду, и слышу в ответ: «Да!»

Момент пражни около пивной «Жолибож».

В следующем сне мы беседуем о том, какие чувства служили и служат двигателем нашей посясторонней жизни: азарт, ощущение откровения, привязанность...

«Как же ненависть?» — «Ненависть складывается из них, как белый цвет из семи полос ньютоновой призмы».

Возможно, я ошибусь, если предположу, что из семи нот не собрать ненависти. Конечно, я знаю слишком мало музыки, чтобы делать из моего опыта окончательные выводы, но ведь сказано: все огни — огонь, все воды — вода. И все звуки — звуки.

«Неверно, — возразил тогда Моше. — Я где-то читал, что музыка есть сгущенное время. А любовь и ненависть — две грани одной монеты, одной-единственной гармонии. И если гармония — это протяженность нашей жизни во времени, так сказать, распределенное равновесие со всеми его эскейпами и камбэками, попущениями и воздаяниями, то ненависть и любовь суть стороны, которыми время, как луна, обращается к нам, вызывая то приливы, а то отливы...»

Трамвайный тормоз, когда он применяется ночью, звучанием немного напоминает саксофон. На фоне невинной чистоты звукового пейзажа его сентиментальная наглость воскрешает в памяти песенки конца тридцатых, сыгранные в начале семидесятых. Апаш во фраке с сердцем на тротуаре... Только саксофон обыкновенно начинает движение — в то время как тормозные колодки его заканчивают.

Сейчас я готов сформулировать некую гипотезу. Пусть музыка, которой, как воздухом, дышал Ницше, отвечает за любовь. Тогда на долю поэзии, чье пламя он, кстати, исторгал наподобие огнедышащего дракона, остается ненависть.

Джаз намекает на нас.

Достославный сын польской фамилии Нитцки, профессор университета в Базеле, байрейтский затворник. Сумасшедший, богоборец, адепт воли к власти и белокурой бестии. Сколько несуразностей сказано и написано о человеке, создавшем современный немецкий язык, коим изъясняются и Манн, и Гессе. Философы не любят Ницше, называя его эстетствующим литератором. А ведь сей литератор, эстетствуя, объяснил нам самих себя, нашел форму, пригодную для изложения своего самого сокровенного, опровергнув формулу русского поэта «мысль изреченная есть ложь».

Ницше прежде всего — филолог. Предложив кафедре двадцатичетырехлетнему бакалавру, базельцы не ошиблись. Знаменитые книги Ницше извлекают бесценные истины из обрывков мыслей и фраз, будто фрагменты доплатоников из праха манускриптов.

Сегодня утром я подумал...

Я подумал.

Идя в костел, она всегда ставит машину под старую липу. Что-то проложено в этом месте под землей, потому круглый год там лужа. В эту лужу она въезжает всеми четырьмя колесами своего джипа, выражая, таким образом, смирение перед Господом. Однако сапог, появляющийся на подножке и как бы нерешительно ощупывающий пространство, соскальзывает на сухое. Он без каблука — тоже своего рода знак смирения. Шпильки, сколовшие прическу, превращают ее в шатенку, но я видел ее в магазине: она медово-рыжеволоса. Очи, как поляки говорят, слегка подзассаны — припухло-влажны.

...Опустив голову. Одета с подчеркнутой строгостью. Раз, помню, у самой кафедры она слишком высоко подняла руку со свечой, и одинокая брошь — золотая паучиха — блеснула на черном отвороте перчатки. Ее обнаженную ладонь над чашей со святой водой легко примешь за мрамор. Я подумал — пусть себе прячется под перчаткой, чтобы не навлечь на молодых верующих желания прижать к ней губы.

Morena...

Роковую роль в жизни Ницше сыграли женщины.

Жизнь любого из нас отмечена тремя женщинами — первой, настоящей и смертью. Русская аристократка Лу Саломэ влюбила в себя филолога, не дав никакой надежды на дальнейшее сближение. Страсть к Козиме Вагнер подвигла Ницше на написание во многом несправедливого памфлета «Казус Вагнер», в котором влюбленный одержал победу над

музыкантом — другой половиной филолога. Пораженный болезнями и безумием, Ницше слал ей открытки: «Ариадна, приди. Твой Дионис».

Последние десять лет за Ницше ухаживала небогатая супружеская чета, ценившая его дарование. В минуты просветления философ спрашивал: «Разве я не писал прекрасных книг?» Да, писал. С появлением «Воли к власти», сфальсифицированной его сестрой, и возникновением мифа о сверхчеловеке, к которому Ницше сам почти не имел отношения, бессмертные труды начали расходиться миллионными тиражами.

Но это уже двадцатый век, на рубеже которого Ницше соединился с последней женщиной. За полвека он познал добро и зло, пережил рождение и смерть божества и закатился подобно Заратустре. «Без сомнений, пламень я», — говорил он о себе.

«Этот мерзкий и ошеломляющий мир, в котором кроты и те посягают на надежду» (Камю).

По воспоминаниям лечившего Ницше врача, Лу Саломэ снимала шубу, встречаясь с ним в открытом кафе на продуваемой ветрами площади, но оставалась в мехах, входя к нему в кабинет. Все они в ту пору играли мехами, звенели шпорами, тербили хлысты, компенсируя одновременный недостаток мужества и нежности.

Они вовсе не посягали на надежду, но посягали — в надежде: на свои старые добрые австро-венгерские комплексы, девственности и мазохизма.

Никогда прежде я не писал ни о чем таком, хотя было что.

Никогда прежде я не писал прямо — ни о справедливости, ни о жестокости, ни о любви. Эта тетрадь — мое первое ристалище; я — конь, несущий всадника без головы, это перо — мой хлыст.

За стеной русские варят борщ.

Русские теперь везде, даже в Кракове и Ополе.

Если меня достигают их звуки и запахи, то до них доносятся мои.

Я равнодушен к борщу. Но, кажется, Бах, запущенный мною на полную катушку, их достал.

А еще колокол.

Я выглянул в окно и увидел ее, идущую под аккомпанемент вечернего звона. Сегодня она — Rubia, вся в кремово-карамельном. Сапоги на высоких каблуках — поэтому ступает гордо, задрвав вверх подбородок и

распрямив спину. У нее широкие плечи. Вьющиеся по ним волосы горят в закатном луче.

В ее грации есть что-то и от танцовщицы, и от пловчихи.

Глядя на Рубию, я начинаю волноваться.

Наверное, русские тоже увидели ее и взволновались.

Вместе с колоколом и Бахом смолкли и взрывы смеха за стеной.

(«За стеной» — страшно занудный фильм Занусси со страшенькой Комаровской. «Кшиштоф Занусси — сын своей мамуси». Кажется, сказано Урбаном — Урбаном Ежи, без номера, в отличие от большинства римских пап. Кажется?)

Дальнейшее слышимое казалось весьма недвусмысленным, довольно долго, потом наступила глубокая, с непривычки показавшаяся гробовой, тишина. Потом заплакал ребенок. Есть ли у Рубии дети? А у Морены? Надо будет как-нибудь попытаться поймать ее взгляд, чтобы понять, куда она смотрит — внутрь себя? Или же в мир?

Он и Она производят на свет ребенка — Их в этом мире становится больше. Ребенок есть бог, иначе нет оправдания ни им, ни их радости.

Он понемногу теряет интерес к ней (она уже не так болит) и устремляется на поиски новой. Ее, в свою очередь, тоже кто-нибудь находит.

Ребенок — всегда Бог.

Только это оправдывает семью, размножение etc.

Почему мы вообще боимся детей? Дети — само/деятельная часть Нас, наше неконтролируемое продолжение. Их вступление в мир способно привести к ужасающим последствиям, и это не будет судьба, это будем мы сами, что еще ужасней. Они могут заключить Самый Новый Завет, из списков которого нас попросту вычеркнут. Только самовлюбленный христианин или ортодоксальный иудей не испытывают подобного страха; последний — именно потому, что на глазах его племени не менялся Завет.

«Почему мы меньше боимся собственных детей?» — «Рассчитываем на пощаду с их стороны». Так-то, Тайный советник.

...И, говорят, судьбу Гайто Газданова решили слова *wszystko* и *bardzo*, услышанные им где-то в ночном сквере. О бедная страна моя, ты прямо-таки Стикс какой-то для моих восточных соседей!

«Кто сойдетъ въ преисподнюю непосвященнымъ и несовершеннымъ, тотъ будетъ лежать въ тинѣ» (Сократ в «Федоне»).

Русский человек очень мягок и очень жесток. Мягкость его безвольна. В ситуациях критических она подавляется жестокостью, а в обычных — сама делегирует жестокость коллективу: государству, толпе. Поэтому русская толпа, русское государство очень и очень жестоки.

(Когда я вспоминаю о наших погромах, делаюсь необъективным. Хочется думать, что их и не было. А они — были. Почему — почему хочется?)

Собака, повинувшись охотничьему инстинкту, бросается под колеса автомобиля, так и не придя за сто с лишним лет к согласию с инстинктом самосохранения. Человек обычно более удачно справляется с выбором мотивации, за что в определенных кругах получил прозвище «разумный». Тем не менее покушения на инстинкт перманентно продолжаются, вызывая восстания инстинктов. Так, социализм наш был вызван к жизни рецидивом инстинкта коллективизма, спровоцированным экспансией индивидуализма.

Тип на автобусной остановке сказал мне: «Всё, старею. Не могу дрончить левой рукой. Но ты не думай — я вот еду по городу, а мне радируют: Лешек, Лешек!»

Ну почему я? Почему мне?

Между прочим, предрасположенность россиян к тайной власти связана с неудачной попыткой главенствующей церкви соединить жреческий и популярный круги, слить, скажем так, воедино пути «взыскующих врат» и «взыскующих правды». Отсюда запутанность служб, неясность их даже для самих попов. Жречество из сакральной области ушло в светскую, тайная власть сначала секуляризовалась (опричнина, охранка), а затем освятила самое себя. Наисакральнейшая организация в России — КГБ, национальный герой: Воланд, двойное V.

Или?

Klein Zaches genannt Zinnober.

Катастрофический дефицит иммунитета против того, что принято теперь называть «симбиотическими отношениями».

Она — duende. Темна она или светла?

Три недели не посещал костела, зато дважды видел Рубию (или Морену?) на улице. Что, в общем, неудивительно; мы — соседи. Мой безалаберный дом странным образом затесался некогда аж на Жолибож, где

пребывает до сих пор, будучи частью церковного экстерьера, неизменной принадлежностью просторного путаного подворья.

В первый раз — входящей в кондитерскую Мариуша, с подругой. Растеплилось, в мозгах женщин сумятица: как одеться, вернее, как раздеться? Подруга, миловидно-упрощенная, в теплых ботиках и легкой курточке. Соседка — в пышной короткой шубе и открытых туфлях. Я поздоровался, она улыбнулась, не узнавая; я потупился и увидел пальцы ее левой ноги сквозь чулок.

В последнее время мне начали нравиться пальцы женских ног, прежде путавшие своей змеиной отчужденностью. Причем особенно — если женщина почти целиком скрыта платьем. Тогда обнаженность ступней, пяток и пальцев уже не функциональна, ее можно рассматривать как украшение. Нет вульгарного вызова, есть аскетичный эротизм.

И еще. В конце февраля я был приглашен литовскими друзьями на недавно отреставрированный хутор под Ковно. Топили щедро и жарко. В одну из ночей откуда-то из бревенчатых пазух вылетела отогревшаяся бабочка и с шумом села на рассыпанные по столу бумаги. Большая, в треть ладони. Раньше чувство иррационального омерзения отшвырнуло бы меня от стола: сейчас я с удовольствием наблюдал за ней, желая, к примеру, чтобы она посидела на моих очках.

В пальцах Морены — нечто от бабочки.

Вторая встреча еще мимолетней и безнадежней. Я довольно поздно вышел купить прессу, уже после завтрака, и мне страстно захотелось мороженого. Возле газетного киоска обычно стоит паренек с ящиком — явно взятом напрокат в какой-то довоенной киноленте, с полустертой ухмылкой пьеро на белом боку — и продает тот простейший сорт вафельных стаканчиков, что мгновенно вызывает выделение слюны именно у взрослых и пожилых людей. Пока я боролся с искушением, прямо на тротуар с рыком забралась большая высокая машина, носом к обклеенной афишами тумбе, левой дверью к мороженщику. Водительское стекло опустилось, и я узнал Рубию.

Жестом, рассчитанным на то, чтобы привлечь внимание паренька, она вытянула руку и шелкнула пальцами. Громкого звука не получилось, но мороженщик уже подходил к ее руке, держа картонную коробку, полную сладких сливочных бутонов. Рука ушла, затем вернулась с зажатой в пальцах купюрой. Парень, одновременно протягивая стаканчик в хрустящей

обертке, взял деньги губами, отдал мороженое и вернулся на место. Рука исчезла, стекло поднялось, джип, сдав задом, уехал.

Позволь она, что лизнул бы я в первую очередь — мороженое или белевшую в вырезе шоферской перчатки плоть?

Зачарованно глядел я на красную стену, завершавшую перспективу улочки; и каждый, кто увидел бы крупный план крепкой кирпичной кладки, понял бы, что это за стена.

Древний Бог не принимал денег всерьез, считая мерилом власти не отвлеченную сущность, но конкретное зерно, тук стад etc. Ради оплодотворения и размножения он советовал плодиться и размножаться. Новый Бог перешел на качественно иной уровень мышления. Он не только мирится с существованием семьи как института размножения, но и признает параллельное бытие денег — как орудия брачных игр, инструмента осознания и осуществления влечений.

Деньги как половой орган.

Рука со злотыми ткнулась в рот пареньку, будто хвост коршуна в уста грезящего Леонардо.

Вечером ходил по торговому центру, глядя на стариков и женщин, одетых так, что хищный отблеск сознания собственного превосходства делал странно манящими их некрасивые лица.

Деньги и их отсутствие (нищета), как электронный (-п) и дырочный (-р) типы (о типах — Адам Адамчик) проводимости. Максимальная эстетическая наполненность обоих состояний. Аллах и Иисус. Крез и Франциск.

Любовь и власть.

Нищета.

Деньги.

«Деньги есть чеканенная свобода» (в конце-то концов), но только лишь телесная свобода, полученная от Сатаны. Настоящая свобода — Духа, — нищета; правда, особым образом понимаемая.

В богатых ухоженных женщинах привлекают не ухищрения индустрии холы и красоты, но спокойные прямые деньги, кричащие из губ, глаз, ушей.

Зов подлинной красоты как-то тревожней... Лица африканок, *latinos*.

В ее пальцах — нечто от бабочки.

Ехал на такси по Уяздовским, глядел из окна — весна. Шла женщина, сверкала голыми коленками, пружками остроносых туфель. Поймал себя

на мысли, что готов бежать за любым движущимся субъектом, чей силуэт и походка выдает женское происхождение.

Решил, что окончательно ошалел — весна.

Потом понял, что какая-нибудь готическая девушка в кожаном мешке с заклепками и с кладбищенским раскрасом все же не привлекает. Хотя: у моих соседей дочь-готка — умница, начитанная, нежный голос. И тем не менее. Видимо, за одеждой стоит более глубокое, нежели...

Ну да, образ мыслей!

Писать непосредственно можно лишь о том, что воспринимаешь непосредственно. А что воспринимаешь непосредственно? Город. Поезд. Драку. Даже природа подвержена анализу. Даже море заставляет себя обдумывать.

Кстати, о море.

В автобусе Щецин-Колобжег в районе Кошалина подрался с цыганом. Цыган огорченно сказал: «Будь интеллигентом, придурок».

В кои-то веки включил телевизор: обещан был совершенно безумный полет белых и черных шаров над зеленым сукном.

Диспетчер каналов — откуда-то прямо с ночного неба — вlepил внезапно контрабандный TV 1000.

Наша девочка оказалось порнозвездой.

Всю ночь не отрывался от экрана. На быстром английском, сохраняя, впрочем, заднее польское «ł» в словах balls и dolls, она то рассказывала, то... В общем, очень красивые парни начинали с романтических поцелуев, а заканчивали тем, что, стоя на коленях, лизали ей зад. Надо сказать, очень красивый зад, гораздо красивее лиц любых парней. Этим лицам, буде они отвлекались от дела, она деловито отвешивала шлепки, заодно не забывая о соответствующем выражении собственного лица, и, конечно, о томных вздохах.

Надо уметь так себя поставить!

Даже вообразить не умел, что у смиренной прихожанки, утирающей в сакристии хрустальные слезки дрожащей ручкой, такая большая грудь.

Из-за нее пропустил ночную трансляцию кубка Варшавы по бильярду. Курде баянс, как пишут дети в интернете.

По-моему, я перевозбудился.

Сегодня отыскал в телепрограмме «свою» звезду. Ничего общего. Вульгаринка в уголках губ. В продолжение век — тяжелые складки, их не скрыть ни гримом, ни ретушью. Какие-то ямочки на щеках, к которым сразу приклеивается слово «аппетитные».

Она — аппетитна?

Господи!

И отталкивающий взгляд. И наклеенные ресницы.

Захочет наказать — лишит способности к различению.

...еще более чудная, чем я сам.

В нашем сквере, постелив газетку на одну из двух доисторических скамеек, сидела Морена и играла сама с собой в портативные шахматы. То есть, просто в шахматы, на портативной дощечке. Вся в черном, в шляпке без полей, зато с пером, ноги в плоских туфлях с круглыми носами смешно поджаты. Влеком безумием, я приблизился: взглянув на меня без тени улыбки, она приглашающе указала на доску.

Шахматы и бильярд — две игры, в которых цена ошибки слишком высока. Если противник хорош, он сумеет использовать первый же твой промах и, как говорят бильярдисты, раскрутиться. Это игры не наития и порыва, но концентрации. Смущенный абсолютно серьезным выражением ее глаз, я заколебался.

Да и на что играть? На деньги?

На шелбаны? Поцелуи?

Оплеухи?

Тут я впервые услышал ее голос: «На что играем?»

— Выиграю — поцелую пани руку, проиграю — пани даст мне оплеуху.

— Ну да... Оплеуха, полученная от меня — уже выигрыш.

Грудной и низкий, с неожиданными обертонами на взмывающей вверх интонации.

— Проиграете — целуете ногу! Да; вот так.

«Все смешает июнь. Не позволит коснуться ни пером, ни пальцем. И это к счастью. У стоящей там другое измерение. И линией жизни — кошачий хвост».

Почему июнь? Потому что czerwies, красный.

Взял было калифорнийское за тридцатку (ждавшее рядом люблинское за семьдесят не решался), но блондинка в красном пальто, прохаживающаяся туда-сюда вдоль секций с алкоголем, наконец-то остановилась и сняла с верхней полки бутылку десятилетнего Torres (и тоже гадость). Такая дама без возраста, но за сорок. Поставила назад. Лицо тонкое. Руки... Снова достала. Я не выдержал: «Потрясающая вещь! Фантастический бренди». — «А я знаю, — и интонации приятные. — Но мне нужно в подарок, я думаю — коньяк, он в коробке, и цена та же. Коробка не будет ли попрядничнее?» Состоялся диалог: не то обмен мнениями, не то разведка боем. «На следующий день, — сказал я, — во рту остается тепло. Ни похмелья, ни горечи — только вкус Torres».

Есть ли во мне хоть что-нибудь, способное быстро увлечь женщину — ох, загадка.

Она оказалось передо мной в очереди в кассу и, похоже, не слишком спешила. Однако закопался я сам, сначала не мог найти кредитку, потом дисконтную карту, потом никак не мог рассовать продукты по пакетам...

Пока я ковырялся...

...она исчезла. Исчезла напрочь.

Они всегда исчезают.

(Девушка в сандалиях на веревочках в Ленинграде, девушка на легких каблучках в Лазенках, девушка на белом спортивном автомобиле в Вильно...

Поразительный феномен — очередь в кассу.

(«Начинается», — решил я.

Передо мной — очень милая, рыжеватые кудри, фигурка. О, свершись внезапное чудо и обрати вдруг она свое внимание на меня: у нее машина — брелок с ключами на пальце — если бы взяла меня с собой! Мотель в пригороде (Katarzyna, скажем, целых две звезды, должен быть ничего так; недавно, проезжая в маршрутке, видел сворачивающую к отелю женщину в кабриолете, где-то моего возраста: архитектор — отчего-то подумал я и нарисовал в уме... — теперь точно знаю, что нотариус!)... нет, не хочу.

Захолонуло внизу живота: начинается. Хочу с Рубией. Только.)

Когда по настоянию Т. купил себе тур в Россию и неделю плыл по Волге на огромном круизном лайнере с гордым анахроничным названием «Великая Октябрьская Революция», почти утратил способность думать.

Бесконечная ленивая река, которой, по-видимому, абсолютно все равно, какие берега омывать. Поистине колыбель всему, что так или иначе произрастает на бескрайних просторах царства, дремлющего как сторожевой дракон с возбужденно подрагивающей маковкой Москвы: дому и дыму, чести и нечисти...

Местный житель отвечает ей тем же безразличием: планомерно превращает берега в мусорную свалку, ломает их порою очень даже изысканную линию чудовищными строениями с черными коптящими небо трубами, льет в воду мазут и нечистоты. А этот Калязин с полузатонувшей колокольней посередине реки!

Не поверю, что заштатный городишко виновен пред Тобою, аки Содом; настолько, что Ты поставил там каменным столпом очередного Лота... Впрочем, судя по остаткам мощеного «променада» и полудюжине «купецких» двухэтажных домов, местечко было зажиточным. Может, приволжская Винета ожидает своего Нильса с полушкой в кармане?

Кстати, о реке. Ленивой грацией своих изгибов она, возможно, и затмевает долину Луары, но где, холера, ее замки? палаццо? дворянские гнезда? Необлагороженные земли, необихоженные болота, заросли, топь... Человек не идет к воде. Очевидно, привыкает. Привыкаю и я. Проведя перед Россией неполный месяц в Гдыне, ни разу не сходил посмотреть на закат. Знал, что море рядом, что солнце непременно сядет в него, и ладно.

Православие, уже повалившееся в ногах...

Французы — вот те не привыкают. Вернее, привыкают к тому, что желают видеть на собственных побережьях — позже, уже сотворив это. Выйдя к волнам нежными ажурными террасами: где можно — аккуратными домиками, где нужно — маестатичными бастионами; в согласии с природой и гармонией. Депрессивная тоска волжских вечеров заставляет искать смерти на миру; савайская тоска понуждает обустраивать свой маленький мирок, спасаясь от вселенского одиночества.

«Ein Mann у зеркала падал животом на фруктовый ножик, пока родственники от окон полуподвала уводили детей. Опасались разбить стекло, нищета, рвань!»

Ау, Анджей?

Неправ Мицкевич в «Дзядях», в их знаменитой третьей части; нечего жалеть рвань и нищету; и не народ он любил, как повествует нам монумент

возле Суkenниц, а просто был психастеником с комплексом неполноценности и отъявленным русофобом. И хотя выше «Крымских сонетов» я лично ничего в поэзии не ставлю, несчастный камер-юнкер кажется мне смелее и универсальнее задроченного филомата — грех русским жаловаться...

Насквозь харизматичное пространство пронизано токами маны/праны, текущей от доноров к акцепторам. Всё имеет всех. Человек безжалостно выжимает соки земли, земля высасывает из людей душу. Местный лидер (а ведь так и пишут — россиянам потребен харизматичный лидер) обыкновенно напоминает упыря, сосущего жизненную энергию тварей, имеющих неосторожность селиться на подвластной ему территории. Пища эта нездорова и нехороша, так что вампира бросает то в жар костра, то в могильный холод.

Плазменная панель в ресторане на миг явила (в новостях) столичного главу, напившегося до хмельной красноты — властью, золотом, похотью и страхами горожан, — и мы, аки жертвенные агнцы, уставились в зев василиску, извлекавшему из жабьего нутра каркающие звуки.

Пока трепетная официантка не стерла взмахом пульта этот ночной кошмар.

Из старых записей.

...Дар Ницше настолько своеобразен, что не перестаешь удивляться тому, сколь велик он был и — с нашей точки зрения — одновременно глуп. Он совершенно не развил в себе такие «человеческие, слишком человеческие» качества, как, например, тонкость... Однако гениальным аналитическим умом он вычислил их и, установив, возненавидел. Гору их отсутствия он носил на своих хрупких плечах до смерти.

Не стройную философскую систему предлагают его книги, но общение с милым, усталым, невыносимым, больным человеком; да что говорить, в течение жизни он три раза получал отказ в ответ на предложение руки и сердца (а это не Гете с его нервной системой барчука и советника). Как бывают больны врачи, лечащие людей (врачу! не исцеляйся), так бесчеловечный Ницше...

Вводя текст в компьютер, написал: «Однако генитальным аналитическим умом».

Еще.

...Некто Сергиуш Вережников, поэма «1931».

*А заря еще белеет,
и поля над нами тлеют
в неразрывности снегов,
в неразменности врагов.*

Издание 1934 года, «Добкевич и Спудка», Минск Мазовецкий...
Кто бы мог подумать!

Момент истины — то же, что мгновение счастья.

Спускаюсь в подвальчик на Маршалковской, где торгуют редкими изданиями музыки и кино. Ищу «Знамена любви» Флетчера, не нахожу; не нахожу вообще ничего. Внезапно вбегает — буквально телепортируясь — какой-то тип, достаточно, впрочем, разумно смотрящийся, разве что чересчур озабоченный. Выцепив взглядом коробку, которая минут пять назад даже не попыталась чем-либо меня привлечь, тип радостно взывает к продавцу:

— Иен Реков! Жизни не представляю без «Синего тропика»! Сколько?

По следам уже испарившегося типа я — полнейший идиот! — трагически шепчу:

— У вас был Реков?!

Заговорщицкая ухмылка торговца, и вот я — второй счастливый обладатель «Синего тропика».

Дома, предвкушая событие, включаю проигрыватель... фуффло!!! Полный фуфел. (Eat a hearty breakfast men for tonight we dine in hell... что-то в этом роде.)

Большинство неглупых с виду людей — идиоты, на самом-то деле.

Включая меня.

Культура притупляет бдительность.

Расчетливо-неосознанное движение. Таким она ставит ногу: на скамейку в парке, где сидят, куря и болтая, девушки — поправить сложную конструкцию туфли (по моему глубокому убеждению — проверить реакцию не слишком красивых курильщиц на свою блистательную ногу, внезапно водружаемую на край скамейки); на примерочный столик в обувном магазине — призвать продавца склониться перед ней в глубоком приседе... Есть, что поставить! В машине этим движением она поправляет юбку.

Откуда я знаю?

Я был у нее в гостях.

Мы смотрели кино. Мы пили спиртное.

Сейчас я стою у окна в своей комнате. На стене — большое, метр на полтора, полотно Анджея. Хаос белых и черных пилообразных штрихов на сером фоне, серебрящемся при свете луны.

Улугбек поет (в опере Козловского): «Счастливым день! Закончена постройка медресе! И сын вернулся...» — в то время, как сынишка Абдул Лятиф уже точит нож на его вибрирующее горло.

Свет приходит к нам с Востока. И, о да, в сфере еды, курений, блаженства etc. без востока не обойтись. В сфере духа, в широком смысле, тоже. И окна на восток — это прекрасно. И так, стратегически, восток — это сила, это фронт. Но тактически запад всегда изыщет средства оставить восток позади. Сделать тылом. И почему-то западные районы стран и городов более развиты, чем восточные. И, опять-таки почему-то, западный образ жизни удобнее и гуманнее (гуманитарнее) восточного. И что там про реки, текущие в разных полушариях в разные стороны, их высокие и пологие берега и прибрежные городища (в самом деле, почему)? А вот подобный же вопрос: когда внешний вид здания авангарден и модернов, это приветствуется. Внутреннее же убранство предпочтительнее иметь в исполнении неброском, порою консервативном. Стоит ли за этой антитезой что-то более глубокое или мне только так кажется?

Абрис восточного побережья... Аверс. Реверс. Орел? Решка?

Я не умею сосредоточиться на просмотре фильма, прослушивании музыки, даже прочтении книги. Потому я практически не хожу в кино, почти не бываю в концертах. Моя норма — десять-пятнадцать минут, затем необходимо переключаться.

Мне нужны паузы даже в боевиках. Я потребляю их порциями.

Я их дозирую...

«Индейка должна поспать в маринаде», — советовал мне Моше накануне нашей первой и последней ссоры. Идейки должны поспать в моем мозгу.

Пуускай они просолятся и проперчатся, дальше я начну прожаривать их сам...

No woman, no cry — повторяю ежесекундно и не могу отвязаться от пяти нот в... чем? Белое, абсолютно пьяное лицо Лауры... no woman, no

сгу... и этот регент, представляющийся хоровым дирижером (нормальный парень, кстати) — ломается над своей гитарой, струны нейлоновые, звук химический, а она орет ему: «Canto!» Ей все равно, у нее свои проблемы и свои тараканы (она живет/жила с музыкантом, а это хуже, чем смотреть новости по утрам), и мы ее не волнуем — хотя в ту ночь она, возможно, легла бы со мной, лишь бы не быть одинокой в этом порту... по сгу, по woman... белое лицо. Но я продолжал пить и просто перевел ее за грань рассвета с помощью алкоголя, без прикосновений.

Это Лаура научила меня слову *duende*. Точнее, повседневному его употреблению.

Смутный, двойственный, двуединый. Дуэнде.

Анджей Сторада — «в поисках неутрачиваемого времени».

Бессмертные души — персональные муки ада.

Запрет на самоубийство как следствие неведения: имеет ли Господь вечную власть над бессмертной душой?

Наше тело — заложник спора, ведомого извне о нашей душе и по нашу душу.

Христианство эгоистичнее язычества.

Как только человек впервые обретает право думать и заботиться о себе самом, вне родоплеменного контекста, он начинает мыслить крайними категориями — дух, личность, человечество, минуя промежуточные — мать, жена, семья. Но и самим собой в промежутке между рождением и смертью, между крайними точками этого промежутка, известного людям как жизнь, он уже не располагает.

Белорусский полуеврей Анджей. Его католическая родня — из того захолустья, куда даже советская власть не шибко старалась запускать свои пальцы, предпочитая сквозь них оглядывать верховья Двины.

Его ежедневное «Отче наш» входило в целую систему отношений с окружающей средой, начинавшейся, между прочим, не за порогом, а у самого сердца: не забыть оставить плошку с кашей духам предков, побрызгать мочой на дверной косяк, нарисовать небрежно и как бы украдкой инициалы волхвов «К+В+М» мелом на зеркале, отдать причитающееся святым Роху и Винценту, попросить святого Антония найти пропавшее...

Однажды он спросил меня: «Поздним вечером, когда никто не видит, ударить старика или ребенка — что нас удерживает?»

Он считал войну средством самопознания, утверждая, что Запад периодически вызывает Россию познать самое себя.

Или утверждал, что считает.

«Россию, — любил повторять он, — еще никто, даже Зевс, не поимел на Крите. Зато она регулярно имеет себя самое».

О, Анджей!

— Вновь над Полонией простирается ночь. Семь всадников в небе влекут ее черный полог. Я иду к тебе по проволоке, унизированной сверкающими камнями. Я спешу принять твои дары, пока не кончился век.

Анджей, о!

— Трудно теперь разобрать, где был сад, где ограда. Где виляновский Парк, где Биляновский лес. Улицею текла Висла под чресла града с серых бесснежных гор и голубых небес. Что кому Юлиан и Болеслав шептали — мирно сошло на нет, кануло без следа. Каждого, кто стоит с посохом и медалью, спросит другой солдат: «Эй, где ты был, Адам?»

Или так: «Трава, пробивающаяся сквозь асфальт — все, что осталось от цветущей Польши». И название — «Ровно».

Век окончен. Земля ему пухом. О!

— Разве можно сердиться за то, что она засыпала всю машину песком и крошками, если она регулярно отсасывает тебе в этой машине? — говорил Анджей.

Я не знаю, у меня нет машины.

У Анджея ее тоже не было; я уверен, что он ни разу в жизни не сидел за рулем.

Чувства неловкости, однако, не возникало.

Или?

— Почему мы не можем поговорить о литературе, хотя оба ею занимаемся?

— Так ведь и сексом мы все время занимаемся, но не говорим о нем. И не смогли бы говорить, поскольку у каждого свое о нем представление.

— Я не занимаюсь все время сексом. И не все время — практически тоже. Этого я не говорил — да он бы и не поверил...

Последняя картина Анджея на моей стене.

Волнообразные линии на серебрищемся в лунном свете фоне. Упрутые

контуры загораются под руками, и мои руки вспыхивают, касаясь таких предельно разных фактур: шершавой, гладкой, пушистой. Меня удерживает поле напряженной, обжигающей чистоты, оставляя на теле след, подобный тому, что оставляет купание в осеннем море, когда в течение нескольких дней кажется, будто кожа сама излучает. Нет ни бессильной ярости, ни жестокой алчбы, лишь чувство жаркой признательности, сухой и влажной, лишь ощущение призрачных покровов, невесомого кокона, сомкнутого вокруг меня столь плотно, что веки, давя на глазные яблоки, вызывают слезы.

Дуэнде.

Я — поживший и погулявший по свету человек, давно не верящий во всякие штуки, вроде спасения на одинокой подводной лодке во всемирном потоке с одной дыхательной трубкой на двоих, впервые летел черным метеоритом в обнаженный разреженный космос, среди россыпей звездных искр и спермы Млечного пути, и мне не было страшно.

Ее волосы на моих ресницах.

Сладкая девочка видела фильмы Тарковского. И даже примерно представляет себе, кто он такой. Когда я повествовал ей о его печальной судьбе — сиротство, предательство, идеологический гнет, запрет на фильмы (а тема возникла из нашей совместной нелюбви — да какое там, практически ненависти! — к Занусси) — она, воздев к небу отлакированный палец, сказала...

— Вот, — сказала она, — когда у человека дар... то два варианта возможны: либо дар этот случаен, достался по недосмотру, а на деле предназначался кому другому или же вообще никому — тогда молчи себе в тряпочку... либо он дан тебе с конкретной целью — грех, в таком случае, думать, что донаторы не позаботятся также и о твоей судьбе.

Стало быть, по ее мнению, Тарковский вел себя довольно глупо, с утра до вечера жалуясь на судьбу; и правильно, что запрещали ему снимать «Идиота» — бог знает, чего бы он там наснимал.

Глаза смотрели нагло и мудро; ее собственные дары натягивали короткое пальтецо с двумя расстегнутыми верхними пуговицами размером с чайное блюдце — и, конечно же, она была права.

Ночной эфир расстреливал нас хитами.

Она прижала палец к моим губам: «Только не надо пытаться примирить в себе все противоречия одновременно. Иначе получится не человек, а роман Достоевского!»

Договорился вчера до того, что сравнил Язбиньского с Гитлером — и процессором компьютера. Ну да, в основе возникновения феномена бездарного кумира тупой публики и вождя — а впоследствии и тирана черни — лежит один и тот же процесс: кристаллизация доверия масс. Начинается он безобидно — с внезапного толчка каких-то сотен или тысяч сердец, делегирующих новому калифу на час частицу своей маны. Потом... как выражаются русские, суп с котом. Недуг коллективного сознательного поражает молекулу за молекулой, и самые высоколобые интеллектуалы с восторгом примыкают к быдлу — не в самую последнюю очередь. И вот уже отсвет власти — владения толпой — лежит на вознесшемся над нею ничтожестве, и будоражит умы и души.

В принципе, это волшебство.

И глупо звать обезьяной парящего над миллионами дракона. В еще более далеких последствиях, по обрушении глиняных ног колосса, наступают пустота и похмелье.

— Ну не ошибка ли — а ведь это внушают нам, когда мы начинаем учить историю в школе, — думать, что прошлое есть ключ к настоящему. Как может то, чего мы не знаем, быть ключом к тому, о чем располагаем хоть какими-то сведениями? «Большое видится с расстояния», — так писал тот твой русский? Но ведь можно уйти так далеко, за горизонт, откуда уже ничего не видится... После войны было аморально говорить про Сталина, про Гитлера нейтрально, рационально, разумно. Зато сейчас аморально — говорить о них с пафосом.

На мои рассуждения и вопросы — что, дескать, мораль меняется со временем? — она уверенно подытожила:

— Понятие морали со временем не меняется. Вернее, не так быстро, как пану бы хотелось... А вот понятие аморальности — да! Просто аморально — это отнюдь не морально наоборот. Это, видит пан, совсем другое.

Меня преследуют две-три случайных фразы...

Я твержу эти слова порой по пять-десять раз в течение часа, потом забываю, потом начинаю повторять снова... и «может, прежде губ уже родился шепот...» — и что это? Преображают ли эти фразы мою обыденность? Слышу ли я слова, произнесенные не раскрытыми еще губами? Могут ли какие-нибудь из написанных мной фраз произвести такое же действие на кого-либо иного, их читающего?

Мне кажется, я начинаю сходить с ума. С того дня, как ручеек моей души излился в Морену, я чувствую, как на меня проливается дождь не сказанных Рубией слов, которые я должен передать, перешепнуть дальше: всё так же молча, не раскрывая рта.

Действительный гений приходит к толпе уже на гребне собственной волны, пробивая изоляцию слепоты и глухоты разрядом высокого напряжения.

Гений — это эволюционная революция.

Может, она сочла меня священным безумцем?

— Эволюцио-о-онная револю-ю-юция, — пропела Рубия. — Какая ерунда! Ну что это, по-твоему, означа-а-ает?

Криминальная простота происходящего с ней.

С Мореной — бесконечная запутанность.

Учусь угадывать.

— ...Я бы пошла.

— Вообще реально идти куда-нибудь в такую погоду?

— А что за погода такая? — далеко высовывается из окна. — Посмотрим.

Народ ходит с зонтиками, частично. Машины едут без зонтиков — все, как одна.

Высовываюсь и я.

Явление на дорожке велосипедистки, ведущей велосипед руками меж двух рядов подстриженных туй. Мгновенный промельк яркого капюшона.

Взблеск в ее глазах:

— Разве затем мы любимся, чтобы просыпаться по утрам?

В особые мгновения может запустить матерком.

Пробую по немецкому переводу оценить прелесть китайской поэзии.

Вот стихотворение, вот комментарий к нему, вот перевод. Из комментария следует, что стихи пропитаны свежестью весеннего утра, водяными брызгами над ручьем, я вижу бабочку, пролетающую сквозь тело поэта как ветер сквозь листву; в какой-то момент ее силуэт совпадает с абрисом грудной клетки, и в этот миг удар сердца синхронизируется с колебанием Вселенной... ну или вроде того. А в переводе ничего такого нет. Какая-то мякина, серая тоска, и ни стремительного порыва, ни жалобного крика

обезьян в высоком небе. Возможно, дело не в том, что Германию от Китая отделяют десятки тысяч ли, а в том, что немцы, недавно вышедшие из лесов, уже научились, в отличие от китайцев, не ругаться матом (что с восторгом, если не привирает память, отмечал Лу Синь). Поэтому так трудно перевести на немецкий наши проклятья — и еще, наверное, труднее переводить грудную бабочку.

Русские ругаются матом, но их «бабочка сердца» еще дальше от храма в горах, где при свете луны древний китаец отыскивает плоды корицы, эти достаточно бесполезные чечевички в восьмиконечных звездочках.

Мы просто дышим чем-то другим. Мы просто дышим иначе, неважно — чем. Самый наш вдох-выдох — иной, поэтому трудно.

Сосед, видя, как Морена не решается последовать за мной в загаженное парадное, говорит: «Вам уже всё простили. Можете заходить обратно».

Рубия рассказывает: «Однажды я заблудилась в Венеции, в одном из центральных кварталов, темнело, я не знала, что делать, никого нет, да и не у каждого спросишь. Дома все теснее, улицы все уже, как вдруг вижу — женщина, явно знающая, куда идти. Идет — я за ней, ну, думаю, сейчас выведет меня к людям, на какую-нибудь площадь, а она так уверенно подходит к одному дому, достает из сумочки ключ и заходит в него! Оказывается, она там живет. Я остаюсь одна».

Сапожок Италии с трогательным каблучком. Странно, что его острие не пробивает бреши в моем сердце, как это делают настоящие каблучки своим стуком — под звон колен, под свет тату. Брешия и Калабрия не манят так, как манят Тунис или Марокко, Сантьяго или Вальпараисо. Я и так в Италии. Она вокруг меня. Вокруг нас.

Немцы, как никто иной, научились дышать деньгами.

Итальянцы, французы — да, но немцы...

Говорю о том, чего не понимаю, но ощущаю: каким-то образом.

Кто знает, может оттого Вселенная и допускает открытую деспотию, чтобы люди не разучились дышать чем-либо еще. Например, страхом. Верой — всё равно, во что, хоть бы и в тирана. Чтобы тик-так времени, которое является базой нашего взаимного дыхания, материей, которую мы берем у звезд и передаем друг другу, не уплощалось до шелеста купюр, что сам рискует вскоре стихнуть и превратиться в беззвучное мерцание цифр на плоских экранах.

Уже месяц, как я ощущаю себя якобинцем, вспарывающим беременным бабам животы, нагулянные до моего переворота.

Буквы на клавишах затерты, так что — радуюсь ежечасно. Если забывать вовремя переключить языки, вместо polska получается какой-нибудь «зщдылф». Русский чекер не признает фамилий Лосев и Бродский, с завидным постоянством предлагая мне замены «Косев» и «Уродский, Юродский»... Etc.

Вот что мучит меня постоянно: компьютеры и Китай. Компьютеризация мышления и общения — и всеобщая китаизация производства, причем одно подвязано на другое. Может, это невроз? В заповеднике чешского барокко, Крумлове, я не пожелал селиться в их главном отеле лишь оттого, что он оказался наполовину заполнен китайцами. «А вдруг это корейцы?» — спрашивали меня коллеги, но я упрямо твердил: «Китайцы». И все мы знали — китайцы.

Что предпримем, когда взбунтуются эти рабочие муравьи?

Диски наших компьютеров встанут, во всех проводах — только земля и дождь. Логин: dura. Пароль: pizda. Невроз.

Я иногда взвешиваю (не китайцев): когда я бы писал гусиным пером, не имея возможности бесконечного drag-and-drop, были бы мои тексты жестче выстроены?

Пишу пером — металлическим.

Возвращаясь сегодня — теперь вчера — домой, глядя на высокого парня, кадрящего девицу на трамвайной остановке (деваха и впрямь была хороша, но что-то у них не складывалось), я отечески сочувствовал ему, и внутренне ликовал, упиваясь до хмельного неприличия создавшейся вокруг меня ситуацией, в которой я по-прежнему один, но уже не одинок.

Ей интересна моя работа. И то, что она так прекрасна, что ей простиительно быть полной душой, но она при этом умна, и то, что, по-моему, она меня понимает, при том, что она так прекрасна...

(Черт! Запутался.)

Я ездил с ней в ее машине на Тархомин по каким-то там ее делам. Она была Мореной, но грустной Мореной. Ее лицо казалось прозрачной, еще не выкатившейся из-под ресниц слезой. Блеск ее глаз на ярко освещенных улицах довольно скоро сделался невыносимым. Видимо, я страдальчески морщился, так что она остановила машину, стянула с птичьим шелестом

перчатку с правой руки и провела ладонью по лицу, как бы снимая невидимую электрическую сеть. Ее рука, волосы, рукав — все было проявлено фосфоресцирующей краской на черном китайском шелке. Она была Черной, но такой хрупкой и невесомой, что казалась ступком ночи, ее полароидным слепком, залетевшим в эту машину на гладком крыле, со стелящимися по ветру волосами.

(В машине работал кондиционер.

Ночь душна и довольно весома.)

...Наполняет меня светлым несуетным покоем.

Она сказала мне — мне! — закрывая окно: «Едем домой!»

Книга об истории келецкой резиденции краковского епископата готова. Я не спал пять ночей. Лишь Померания способна сделать из меня трудоголика. Рад, что поехал в Вейхерово, подальше от малопольского снобизма. Вспоминаю то волшебное место из манновского «Иосифа и его братьев», где говорится о строительстве пирамиды Хеопса. Бедные египтяне, костями полегши на ее постройке, в дальнейшем веками радовались тому, что старик-де выжал из них такую красоту вместе с последними каплями жизни.

Вспоминаю также посещение резиденции музыкантом из Литвы Донатасом. Последнего поразили предметы быта — инкрустированные костью и перламутром кресла, бюро, поставцы, буфеты. Он сказал (и было приятно слышать), что, по сравнению с английской утварью того же периода, польская — изысканно-роскошна. Будто арабские и еврейские лавки Иерусалима — тысяча и одна ночь против грубо размалеванного пластика.

Донатас в течение получаса не отходил от старинного хронометра с огромным эмалевым циферблатом и резными стрелками. Когда служительница спросила его — пан, мол, часом, не zegarmistrz, не часовой ли маэстро, я ответил, что пан — просто маэстро.

Кашубский говор овладел воспаленным мозгом. «Дусить» (давить, дожимать), «пурзаться» (заниматься ерундой), «пасадия» (плохой вариант) — использую всякие такие словечки ничтоже сумняшеся.

На обратном пути в поезд сели резервисты — свежеемобилизованные солдаты. Творилось кошмарное. Пили, дрались. А еще они пели: «Поутру в полшестого рота шла на гражданку...»

«Хоррорно-депрессивный ансамбль», — потрясающая дефиниция де-вушки из моего купе.

Пасадия!

Поляки — торгоши.

Хандль, хандль и нохайнмаль — хандль.

Я же не только продать, купить не умею.

Национальная физиономия формируется меньшинством, занятым в общении межнациональном. Допустим, в большом и в малом народах доля подонков одинакова. Однако распределены они неравномерно. Подонки, как правило, отираются близ тех мест, где мы невольно обращаем на окружающих непривычно много внимания. Например, на вокзалах. И вообще: многие представители нации X (мужчины), внезапно хлынувшей в небывалом доселе числе сюда к нам, дурно пахнут и отменно готовят. Но я слышал, что в X-метрополии мужчины благоухают одеколоном и не вхожи на кухню.

То же о красотках. По вечерам (и не только) красотки, как водится, смещаются ближе к центру. В Варшаве и Вильно центральные районы примерно одинаковы по размеру (не Прага, увы), слегка отличаясь по рисунку. И если, допустим, в Вильно десять тысяч красоток, в Варшаве их — раз в пять больше.

Значит, вероятность столкнуться в густеющих сумерках на Маршалковской с варшавской красоткой гораздо выше, чем на проспекте Гедимины с красоткой вильнюсской.

(Неправда!)

Но я — патриот!

Как удержались в моем языке старославянские названия месяцев?

Словно ветер, выдувает англоязычный напор «настоящую польскую речь»: недавно слышал, как молодая мамаша, толкая перед собой сдвоенную коляску, жаловалась — товарке с одинарной — на двойняшек, которые «писаются pop stor».

У русских же, с их заскорюзлым календарем, латинские месяцы. Седьмое ноября, тридцать первое декабря.

Как странно...

У гусей à gringos тоже есть свой язык, но они не болтают так много, как поляки.

За стеной (за распятым) — утренние и вечерние крики. Первое предположение: там бабка с дедом из «секса по телефону». По расписанию они начинают изображать секс.

Второе предположение — о парном самоубийстве.

Первый вариант: один душит другого; тот, умирая, в предсмертном пароксизме сводит пальцы на горле душителя. Пальцы коченеют. Все умирают.

Вариант второй: покупают пистолеты, глушат водку (готовятся), потом стреляют друг в друга. Один не успевает (забывает, не решается) выстрелить. Другой остается жив — с мертвым другом. Набрасывается на тело, пытается отрезать голову кулинарной лопаточкой...

Крики грубые, поэтому оба протагониста — мужчины.

Унизительный и поучительный случай, похожий на сон. А может, все это и было сном. Рубия повезла меня в «Маркткауф» — помочь выбрать подарок племяннику. Племянник якобы интересуется биологией, а я наверняка разбираюсь в микроскопах. Изумительная аргументация, подкрепленная ласковым поглаживанием моей руки изумрудной перчаткой и просительным подергиванием моего галстука.

(Я выяснил, зачем на ней всегда перчатки — ее руки работают фотомоделями; на известных постерах они сжимают пластиковые карточки, лежат на рулях автомобилей, поднимают бокалы мартини... их надо беречь!)

Мы тронулись в путь на белой спортивной машине, на чьей корме было выбито «Целица». «Селика», — поправила меня Рубия, но я настоял на своем — «Целица»! В течение поездки я только на то и смотрел, как она — моя спутница — оправляет сарафан, задирая его, и без того короткий, к точке схождения бедер. Нервное, демонстративно неконтролируемое движение.

...Она рассказывала мне о своем давнем поклоннике, талантливом программисте, который, читая программы, написанные его коллегой — гениальным безумцем — плакал...

«Маркткауф».

В моей любимой «Бедронке» никогда не вышло бы ничего подобного! А здесь, подавленный масштабом происходящего, я сдуру решил продемонстрировать себе и окружающим свою покупательскую способность, приобретя совершенно не нужный мне галстук, с которого на кассе не сняли магнитной защиты. Затем, в отделе электроники, куда мы забрели

в поисках микроскопа, я запищал, и набежавшие секьюрити подвергли меня грубому обыску, вытащили из нагрудного кармана купленные вчера в «Бедронке» батарейки, нагло залезли в брюки...

Мрак кромешный, сопровождаемый моим возмущенным лепетом, длился несколько полновесных минут, пока, наконец, не подошла Морена, не ожгла ближайшего охранника полновесной пощечиной и не взяла ситуацию под свой контроль. Золотые туфли и изумрудные перчатки Морены, ее разлетающийся сарафан, да и вся разгневанная она так потрясли охрану, что здоровые парни тупо повиновались легчайшему мановению ее рук.

Морена коротко допросила меня, обращаясь до жути странно — «коханый», ощупала мои карманы, нашла галстук, дешевый, без коробки — «Зачем ты выбросил коробку, милый?» — отправила охранника с горячей щекой в галантерейный отдел, другого зачем-то заставила застегнуть мне пуговицы

Точно во сне я видел себя его глазами.

Своими.

Мой растрепанный вид, пылающее лицо и эта женщина, называющая меня «коханым», продолжая, по сути, начатую ими пытку... Мое дрожащее возмущение, такое жалкое и смешное в центре заговора, круговой поруки, согласно которой меня поймали все — общество, как таковое; общество с ограниченной (наверняка!) ответственностью «Маркткауф»; в первую же очередь — сама Морена.

Чувство униженности нужно рассматривать в паре с чувством достоинства. В основе и того, и другого лежит ощущение несоответствия.

Достоинство — апостериорно. Мы сами определяем достоинство человека, как 10- или 100-злотовой бумажки.

Наше католическое достоинство невозможно без лицемерия. Я не могу подавать каждой нищенке, но не могу не ответить на ее приветствие.

Кажущаяся ценность жизни зависит от обстоятельств.

Например, убивают бандиты — ничтожная причина прерывает речь, которой еще звучать и звучать; уничтожает ураган — все, что ты предполагал сказать, ничтожно...

Ницше: «Всякая вера в ценность и достоинство жизни основана на неаккуратном мышлении; она возможна лишь потому, что сочувствие к общей жизни и страданию человечества в индивидууме очень слабо развито».

Интеллигентом быть унижительно. Значит, в этой среде, по крайней мере сейчас, филистерство невозможно. Золотую середину выбивают; остаются лишь гении и идиоты.

Я — идиот.

(Князь Мышкин — абсолютно реальный тип. Мышкин — то, во что, по мнению Достоевского, собиралась вырождаться русская интеллигенция. Вместо этого она, пардон, ссучилась.)

Если умеешь унижаться, тем лучше сумеешь унижать...

Сон, настоящий сон.

Мы едем в красной спортивной машине. Ночь. Дорога на Кутну Гуру. Серпантин не серпантин, но кружить приходится изрядно (не мне); да и туман. Мой водитель то и дело нервным, демонстративно неконтролируемым движением поправляет юбку, задирая ее, и без того короткую, аж к точке схождения бедер. Carmina Burana, и, похоже, тролли вот-вот шагнут на шоссе — приструнить зарвавшихся чужаков, готовых осквернить их запретную глушь. В бесчисленных местечках по пути туман редет (от тепла очагов?), и видишь — спят не все. Бензоколонка, пара кафе...

Практически в каждом из встреченных городков есть одно, часто снявшееся мне место: крутой поворот — мост через реку — и дом, расположенный так, что кажется, будто вот-вот въедешь в него; ан нет, еще более крутой поворот, и дом остается справа (или же слева). Иногда за вторым поворотом — церковь.

Время тронулось встать, наступает вечер.

На рычаге скоростей — алая ладонь, багровый отсвет на вдруг освободившемся от туч небе, нависший над створом дороги шпиль. В силуэте здания — брешь, в ней колокол, распятый на поперечной балке. Рыжие волосы упали на грудь — такими утирали кровь со ступней Распятого. С чего ему так везло? В принципе, такой же ботан, как и я.

Может, стоит попробовать?

На ступенях крыльца неясное движение. Мы притормаживаем, и белое пятно улиткой наползает с водительской стороны. Стекло опущено, и ясно, что снаружи — зябкая чернота; а в салоне — почти голые ноги, запахи духов, огоньки — целый город огней, закрытый для непосвященных.

Бледное треугольное личико со следами побоев, в уголке рта запеклась кровь. Раскрас, означавший выход на тропу войны, полусмысленно слезами.

Всхлип: «Огонька не найдется?» Левая красная рука твердо берет ночную бабочку за подбородок и втягивает в наш обитый белой кожей уют, правая красная вытягивает из услужливо поданной мной пачки кофейного цвета палочку, вставляет в разбитые губы, ныряет назад, за огоньком, также мной сотворенным... левая изгоняет бледное лицо обратно, в ночную сырость.

— Надменная брезгливость не пристала паломникам по святым местам...

— А ты начинаешь испытывать жалость к блядам — верный знак того, что делаешься большим писателем.

У автобусной остановки Рубия выключает мотор — посмотреть карту. Остановка не пуста: под навес на скамейку сели двое, мать и сын, угадываю я. Если приглядеться, то — нищие или, как их здесь называют, штаймесы. Оба страшные, в шортах, на ноги (икры и голени) стараюсь не смотреть; у обоих на коленях — пластиковые пакеты Louis Vuitton (сейчас она, наверное, скажет, что это подделка — если вообще их увидит). Внезапно мать, возможно, заметив нас, поднимает руку и гладит сына по животу: нежность.

Нет. Любовь! «Деньги и власть, — думаю я, оглядывая ногу Морены, только что попеременно давившую то на газ, то на тормоз. — Моя вера в ее колено — это трансцендент. Вместе все равняется течению моего, нашего времени: деньги движут, власть ограничивает, вера связывает с тем, что вне нас. С Тем, что вне нас».

Уже август, и, лежа на лугу где-то подле Ленчицы, я слушаю, как стрекочут в траве кузнечики, и наблюдаю за тем, как по небу плывут облака. Такая жара, что Стефания в сладкой истоме устала спрашивать своего Юлиана — а что он тут ищет? Время замерло: облако никак не накроет солнца, жук не доползет до середины стебля, где вкусил бы горькой греческой мудрости, далеко, на самом краю вселенной, ограниченной кривизной Земли, купальщица не сойдет к реке и не ступит в воду.

*В саду в окрестности рая,
весь день до солнцезахода,
чистоуст без конца и края
отражается в светлых водах.*

Тувим? Как бы не так — Броневский!

«Спи, коммунист, а я сну твоему порука».

Нынешнее мгновение ни цветом, ни запахом не родственно тем, что уже минули. Ничто из происходящего не освежает в памяти связей с

чтоденной жизнью, исполненной звона будильника, измороси на стеклах, утренней спешки на работу, водки с коллегами, вечернего чая. И стрекот кузнечиков — вместо того, чтобы навеять сознанию обрывок Пасторальной симфонии — ложится в другой звукоряд, оказываясь вне привычных понятий зла и добра. Даже мои печальные мысли сейчас не заставят прийти на ум строчку Норвида или Лесьмяна.

Время встало? Как бы не так! Оно лишь буксует, меняя прямое доньше русло на ласковые извивы. Обложенное оврагами и бочажками, оно скопилось в жирной ботве, в коровьем вымени, откуда брызнет в подойник, стечет в жбаны и осядет в погребках. Все — и дивные силуэты женщин на пляже, и бабочка, стремящаяся к цветку, названия которого я никогда не знал (болиголов? хотя с тем же успехом он окажется повиликой) — есть только форма, послушно облегающая течение времени, как облегает упругое полотно ткани вышеупомянутых купальщиц.

Как облегает упругое полотно ткани вышеупомянутых купальщиц!

«...Перфекция», — повторила Морена и несколько раз сжала и разжала кулачок.

Кому из нас не случалось, едуци в поезде, откладывая увлекательнейшую книжку, загодя припасенную в дорогу, и — хотя до станции назначения оставалось не менее часа колесных перепевов, — тупо глядя на дверь или в потолок, ждать, ждать, ждать... Чего? Прибытия, конца времени (путешествия). Сил бороться с ним уже не было, оставалось надеяться, что оно как-нибудь минует само.

Мы ждали, а время налетало на нас, как порывы ветра, набегало, как волны моря.

Осиротевшие часы в старом грузинском фильме.

Органы перцепции и апперцепции с неутомимостью маятника впечатывают в промежутки между последовательными движениями век вереницы картин, имеющих с реальностью не много общего. Созерцая облака, я вижу почему-то белые простыни, развешенные для просушки, и Мачея/Збышека, пачкающего их кровью. Стук колес, долетевший из-за леса, с противоположного пляжу края вселенной, заставил ухо напрячься и фиксировать приближение и удаление поезда во всем диапазоне слышимости, а мозг тем временем перебрал кадры с нехитрой утварью на дрожащем столе, снятом

Андреем Тарковским. Желтый лист, упавший до срока, напомнил шейные платки актрис Висконти и Антониони. Кинообразы полностью вытеснили из размягченной головы обычные звук и свет.

Однажды в поезде я заметил, что деревья за окнами вагона (дело будет осенью, сучья чернели без листьев) как бы удваивают череду своих игольчатых шапок: Брейгель. Скорее всего, он рисовал их по памяти, так, как видел из окна кареты.

...Дочь Михася играет с пластиковым паяцем, собранном в Ченстохове или же в Кельцах Свентокшиских наподобие пирамидки: смешные звездочки размером с кофейное блюдце нанизаны на стержень, оканчивающийся шаром-головой с характерной улыбкой на лице. Звездочек, кажется, шесть: красная, белая, желтая, голубая, зеленая и фиолетовая. Лидка снимает их со стержня и пытается отнести куда-то, собрав все в кучу и прижав к груди. Пластик скользкий, звездочки не даются, выпадают из рук, они глумливы. Неудача раздражает ее, она начинает злиться и плачет. Никто игрушки не отнимает, снова плач, смеющаяся скользкая шестерка, цифра зверя. «Это потому, что она играет с этим клоуном, непостижимым», — разгневанно констатирует примчавшаяся для принятия экстренных мер теща.

Невесть почему вспоминаю опольского непостижимого клоуна, создателя театра «13 рядов».

«У него было шесть пальцев, — любил шутить другой Ежи, Гуравский. — Во избежание дискуссий у столяра на всё должен был быть чертежник... и там еще в придачу, чтоб они помнили, чтоб не забыли — была такая лапа... и это была рука Гротовского, я всегда рисовал на ней шесть пальцев и говорил, панове, ежели что, то не я, дело не со мной иметь будете, с ним, а у него шесть пальцев...»

Графская усадьба Вилянов, бывшее владенье Потоцких-Браницких под Варшавой. Невероятной красоты палаццо окружено садом, в нем стоят статуи. Хотя скульптуры, очевидно, сработаны по канонам и согласно классической традиции, в них, по-моему, присутствует издевка, *digitus infamis*, жест Козакевича, сознательно сделанный резчиком. Так, победитель Минотавра — Тезей — имеет удивительно женственную фигуру, нежный овал лица и крохотный рост; Геракл, сжимающий палицу, столь тяжел, что вырастает в обрубок дерева; застывшие у фонтана ангелочки

пребывают в непотребных недетских позах, а нимфа являет миру мужской торс и жесткую физиономию.

Я представляю себе Потоцкого, идеального шляхтича, носителя сабли; всадника, не умеющего натянуть на ноги собственные сапоги. Он подзывает к себе скульптора (поигрывая хлыстом, непременно поигрывая хлыстом): «Ты знаешь, сколь высоко я стою. Однако желаю вознести себя выше. Видишь сад? Помести в нем муз и героев, обнеси его оградой, возведи врата и укрепи на них символы моего рода. Изобрази меня и мою жену на этих столбах — я возьму меч, а жена лютию...».

Таков заказ.

«Добро, — думает резчик. — Ты хочешь возвысить себя и принизить нас. А я бы взял да и унизил тебя. Но как? Ты князь, но ты и человек. Видит Бог, я унижу в глазах Его весь род людской, пред лицом неба я насмеюсь над ним, а значит, и над тобой, хозяин!».

Таково желание мастера.

(И когда в некоего дома таком-то подъезде на некотором этаже кто-то (кто-та) двадцатилетняя говорит кому-то сорокалетнему «спи, зайчик, спи», (мое) сердце разрывается (от любви) к этой Вселенной — о, жизнь между двумя полюсами: такими, как... скажем, «плазма» и «трибунал!»)

...желание и заказ совпали.

Мастер превращается в водителя марионеток. Он режет и корежит наши тела, лепит свой новый универсум, о котором сам же и полагает: «Я творю мир, как хочу, тем самым подминая его под себя и уж, конечно, под Тебя, Небо».

(Станислав Костка Потоцкий...

Бывает.)

Одним жарким летним днем в костеле Св. Анны в Данциге, нынешнем Гданьске, куда туристы заходили посидеть в прохладе, она обратила внимание череп, покоившийся в ногах гигантского, висящего меж двух колонн, распятия. «На какие средства выстроен собор? — отчего-то задумался я. — Богатые купцы, отцы города, во укрепление духа и в назиданье потомкам дали денег на постройку святыни (социальный заказ). Нашлись люди, что хотели на эти средства возвестить о человечестве — Туда, возвести на плоской земле — Нечто, поднять всех на ступень, предназначавшуюся лишь членам городского совета (желание мастера). Местные жители начали свозить песок, подсыпать под стены и так, без

лесов и подпорок, вырос костел».

(При чем же тут череп?)

Другой пример рукотворного мира, иная модель жизни — футбол. Не баскетбол, не волейбол и не хоккей. В баскетболе команда вынуждена бросать, в волейболе — бить, к тому же состав команд постоянно меняется. В футболе напряжение может вовсе не разрешиться ударом по воротам. Хоккейный результат может сделать одна тройка, прочие работают на удержание. Футбол допускает три замены: одиннадцать игроков вышли на поле и обязаны отыграть, хоть легши костыми. Наконец, игра ведется только на поле, по закону поля — залог неприкосновенной стабильности игрового мира, его защитная маска.

Решение судьбы в поле — высший суд. Пусть порой и неправый, он непременно сочетается с вселенским и всемирным процессами, в ходе матча подправляя его в свою особую сторону, — вот эта поправка и есть смысл жизни.

Постоянно творя на грани фола, игрок нуждается в подстраховке. Перед каждым матчем Лоран Блан торжественно целует лысую голову Фабьена Бартеза. После каждого гола Окоча и Огбече заходятся в ритуальной пляске йоруба. Ежели смысл всякой игры в том, чтобы вырвать очередное очко у основного и единственного противника, то смысл ритуала — еще до начала игры вывести соперника из игры, ментально нокаутировать, заклясть, затанцевать.

Чем же все-таки отличаемся мы от чехов?

(Черепушками!)

Возможно, Бонеку или Бунцолу имело бы смысл хоть раз чмокнуть Гжегоша Лято?

Adde casus, adde incertos exitus pugnarum Martemque communem, qui saepe spoliante iam et exultantem evertit et perculit ab abiecto...

«Прибавь сюда случайности, прибавь неопределенность исхода битвы и равную благосклонность Марса, который часто низвергает ликующего грабителя, поражая его рукой отчаявшегося...»

Или ногой — там не сказано.

(Цицерон.

Случается...

(Женщина говорит: «Мой муж стоял у истоков универсальной биржи».

Когда бы создание биржи в рамках христианского мира было триумфом, событием, поворачивающим историю и судьбы, женщина с присущим ей позвоночным чутьем побоялась бы дразнить богов, произнося столь дерзкую фразу. А так она имела в виду: «Мой муж уже успел нахапать порядочно, и теперь — будь что будет».)

И тут она посмотрела на меня глазами Изабеллы Росселини, знающей недоступную мне истину, но готовой облегченно забыть ее за бокалом шампанского.

(Когда в Праге — в чешской, а не на варшавской Праге — проходила выставка Лукаса Кранаха Старшего, туда, в самый маленький и глухой зал одного из градчанских подземелий, посетителей пускали порциями по пятнадцать человек, чтобы их дыхания не нарушили баланса влажности в помещении. Так мы и плавали в этом аквариуме, меланхоличными гуппи среди обезображенных Крестителей, отрубленных голов Олоферна в руках вельможных Юдифей (там были еще и копии, так что каждый образ двоился, отражаясь в их зеркалах).

Но не мощь торжества безысходности потрясла меня, а то, как под влиянием древней жестокой эстетики преображались лица и фигуры зрителей — наши фигуры и лица.

Деформируюсь....

...Я гляжу на нее и вижу, как в ритме вальжного покачивания плавниками темнота то надвигается на ее лицо, то отступает — Рубию сменяет Морена. Она покачивает ногой, и черная туфля сползает с белой ступни — так с отливом морская бездна обнажает не менее греховную сушу.)

(Лежащая рядом повернулась на левый бок, выпростала из-под одеяла правую руку, и, улыбнувшись кому-то в загадочном сне, положила ладонь ко мне на подушку. Ярко-красными ногтями кверху. Рука была безупречна, ее не портили даже короткие ногти.

С такой рукой хорошо умереть, — неожиданно подумал я и испугался. Давно это было...)

...никуда не хочет ехать со мной. Тишина, хрупкая и глубокая, будто стекло, сухая и ломкая, словно хвоя. Так иногда — просыпаясь с ощущением, что в мире что-то случилось — мы обнаруживаем, что выпал снег.

Она с видимым удовольствием берет меня в свои поездки, но отказывается ехать со мной и с моими друзьями к моим друзьям...

...Дымок из выхлопной трубы показался мне чем-то очень важным. Что, если так же призрачно, робко и в то же время не совсем уместно уходят в небо дымки наших душ, когда мы умираем?

(Лягушки поют псалмы луговому богу.

Богу змей, ящериц, жуелиц — страшному богу.

(...Целомудрие (импотенция?) Филиппа Красивого.

(Иначе народ никогда не дал бы клички «Красивый» — качество должно быть истинно царским, непонятным, иррациональным — Темный, Грозный (Сварливый?). А то что это — Красивый, а блядун!))

«Я — плохой христианин, — говорит мой немецкий друг Андреас. — По воскресеньям я всегда работаю у себя в саду, нарушая заповедь. Зато надеваю большую шляпу с широкими полями, чтобы Господь меня не узнал».

«Хочу выйти на площадь и встать там», — горячо возражает ему из далеких, ранних средних веков Роланд.

(Площадь. Базар. Базарная площадь.

Никому ни до кого нет дела. Апофеоз индивидуализма.

Улица — упорядоченное движение, взаимопонимание, возможность сочувствия.

С площади она уводит в убежище, в нору.

Моя нора.

...Рубия живет в роскоши. Она сама — роскошь, одушевленный предмет роскоши. А так — обстановка ее жилища вполне спартанская. Цвета помещений — бежевый и серый. Не считая пары кресел, напоминающих формой половинки яйца, все прямоугольно, даже тарелки на кухне. Квадратный крупновский чайник, часы с квадратным циферблатом висят на стене над аркой, ведущей из гостиной в спальню... В спальне часов нет — по-видимому, в спальне она счастлива. Ощущение душистой свежести в каждый отдельный момент времени подчеркивают то раскиданные по полу красные или синие туфли, то аскетичные шахматные фигурки, то ажурный чулок на подоконнике.

Я думал, частью моего влечения к ней была расположенность к этой прохладной неге, покою огромного окна, делающего несущественным все, за ним происходящее (ее концепция комфорта; ее любовь к границам, отмечающим ее внутренний кокон; ее одежда, всегда подчеркивающая дистанцию — в этом смысле она одевала себя даже взглядом...)

Сегодня в В., по пути с автобусной станции на рынок, я увидел женщину со знакомой походкой. Я пошел за ней, не обгоняя — так что не знаю ее лица, лишь силуэт: силуэт Рубии. Во всем дешевом — куртка с капюшоном, юбка чуть ниже колен и короткие сапоги на шпильке. И светлые чулки. Сапожки простенькие, но ногу облегают ладно. Над ними мелькают слепящие пятна икр, и звонкий цокот — прозрачный, будто капель.

Я шел и думал: «Окажись это Рубия — бросился бы перед ней на замызанную мостовую, в грязь, смешенную с подсолнечной шелухой. Затащил бы ее на пахнущую котами лестницу в один из заброшенных домов возле рынка и стал бы в нем жить с ней — сколупывать старую краску, латать дыры, мыть дощатые полы».

...Дома присели под своими черепичными крышами.

Окажись это Морена?).

В последнее время сказать о себе «я христианин» — значит сказать, что ты лучше всех; да и всегда, по большому счету, утверждать подобное означало соврать. В Варшаве, как и в каждом городе, проживает масса (с моей точки зрения) подонков. А я очень люблю Варшаву за явственно ощущаемый эффект Присутствия.

Так точно, говоря о христианском мире — мире так называемых христиан, — я имею в виду тот город, место, мир, населенный похожими на нас людьми, где до Судного дня «Дух веет, где хочет».

Католический склад ума. Католический склад сердца.

Католицизм — пирог.

Тесто: мука — семитская ортодоксия, дрожжи — западный рационализм.

Самый пышный пирог, что когда-либо выпекся на углях наших пожарищ.

Лицемерно закрывает глаза... Попробуй их не закрыть!

«Осень, милая, и разрез твоих глаз напоминает почтовые ящики и — я бы сказал — Вестерплатте...»

Видел мужа Каси, он выпростался из шикарного мерседеса, в черном костюме, с настоящими крахмальными манжетами сорочки (или их больше не крахмалят?), и пошел в Емрік. По сравнению с косматым полуиндейцем-полупророком, каким он был в юности, его габитус приобрел очевидную опереточность. Евреям вообще не слишком пристала выхоленность (я таки завидую?) и социальная определенность, одобренная определенной долей самолюбования.

Каламбур.

Как говаривал Генрих Белль, разоблачение походов налево во время выборов приносит голоса христианам, но отнюдь не левым.

А Ницше — о, Ницше, Ницше! — говаривал, что вера навлекает подозрения на нравственность.

Короче: Кася, Кася!

— Сейчас бы какую-нибудь лестницу на небеса... и можно ехать еще километров сто пятьдесят без сна.

— Вот... Genesis — хочешь?

— Ну нет, эта лестница не ведет на небо, это дорога в ад.

Меня посадили в полутемной кладовке перебирать лук. Почему там? Потому что именно там он и хранился — в развесистых древних корзинах. Там же стоял топчанчик и возле него стол — а на вопрос, будет ли мне здесь удобно, я ответил утвердительно. Я должен был выбрать из всего неимоверного количества маленьких луковок проросшие — чтобы бабка, вернее, ее сегодняшние помощницы высадили в специально приготовленные ванночки с землей; остальные должны будут храниться до следующего мая. Коробки, кстати, оказались из-под мороженого «Мечта».

В кладовке было не слишком светло, и я сортировал луковицы скорее на ощупь, беря их за как бы волосатый кончик (оттуда в будущем прорастут корешки) и проверяя, не набух ли другой конец готовым вырваться на свет нежно-зеленым перышком. Конечно, некоторые луковки уже дали стрелку длиной в пару миллиметров (а то и с сантиметр), но таких было мало, и я отличал их сразу. Эта процедура через некоторое время не на шутку приобрела характер эротики. И вот что странно: несмотря на — хотя, может, и вопреки разносившимся по двору и забегавшим в мой подвал веселым крикам и хохоту Морены и ее подруги, я начал отождествлять луковки отнюдь не с женскими, как можно было бы ожидать, сосками, а — страшно сказать, с маленькими... я даже не осмелюсь написать это слово. Замечу только, что перебрал полкорзины, я вполне ощущал себя педофилом.

— Ты здесь, да? — крикнул я в темноту ведущей в кладовку полулестницы.

— Не всегда!

Затем — пояснение: в смысле, я-то тут есть, но тут не всегда здесь, то есть почти никогда.

Да...

— The Tree of Knowledge is not that of Life, — Ницше цитирует Байрона.

Скорбь, это знанье: коли им богат,
Взрыдай над глубочайшею из правд,
О разности древ знания и жизни.

Жизнь делается невыносимой. Все ценности, что в ней есть, ставятся под сомнение в зависимости от того, увижу я сегодня или нет (Рубию или Морену). Притом ценность ее пребывания в моей жизни не более определена, нежели все остальное, в ней оставшееся.

Кажется, моя жизнь спокойно обошлась бы, продлилась бы и без них, но — вынь да положь — необходимость встретиться или хотя бы мельком увидеть их сегодня же вечером имеет градус вулканический.

Надо жить так, как если бы ты уже умер. Пребывание в чистилище — единственная «чистая» вещь. Побег от самоидентификации. Чистые поступки, не связанные ни с каким возбуждением, ни с каким чувством пола, времени, власти... но это жизнь в лимбе!

...А вот представь себе, что ты не умер, а тяжело заболел или попал в аварию, и лежишь овощем на кровати и мочишься под себя...

— Знаешь, я никогда в жизни не думал о самоубийстве. Довольно часто произносил про себя я слова: «Прыгну из окна», — но это обычно следовало за юношеским локальным расстройством психики в связи с любовной неудачей (должно бы: в связи с очередной неудачей, но не так уж и много их было, неудач, ведь и попыток было не много). Однако радости, которые я страстно чтил, держали меня крепко... Мир ловил меня и поймал — и меня, в отличие от «украинского Сократа», отнюдь не посещала мысль о разумном житии и мудром уходе.

Твоя розовая ступня с вишневыми ногтями, без цепочек и колец, лежит на журнальном столике, свежесрезанная из теплого дышащего мрамора, свежесвынутая из отливочной формы: крем-брюле с вишенками.

Вдыхать ее запах, пожирать глазами и губами, не кусая, как едят облачку — одна из моих простых радостей (куда уж как проще! В риэлторскую контору с названием Field Fortification, местившуюся в настоящей гуральской избе при пожарной каланче, со входом не с мощенной булыжником улицы, а с поросшего лазурной горечавкой двора, по которому ходили куры, ты внесла себя по дощатому настилу, аккуратно перебирая кожаными тапками с перемычкой между большим и прочими пальцами. Взойдя по шаткой лестнице на этаж с недавним ремонтом и кондиционером, ты села,

не поздоровавшись, в глубокое кресло, составив тапочки параллельно линиям паркетной доски и чинно сложив на коленях руки, с прямой спиной, как школьница; и только я, стоящий сзади, видел, что твое платье с глухим воротником и манжетами на длинных рукавах разрезано вдоль спины до самой ложбинки меж ягодицами. А когда клерк, поднявшийся к тебе навстречу из-за компьютерного стола, обнаружил желание склониться над твоей рукой, ты легко высвободила правую ногу из тапка и — вероятно, без тени улыбки — церемонно подала ему...)

...Мир ловит меня, и ловит, и ловит.

Иногда он ловит меня на такой лукавый крючок, что хочется взять нож и ударить себя в сердце, чтобы отцепиться.

Иногда по ночам я безумею по Морене, представляя себе прикосновения к ее грудям, очень правильным и заостренным — как показывал телевизор, — хотя большим. Запястьями, ладонями, лицом — я просто касаюсь их, а она кричит: она и не представляла себе, что мои руки и рот способны к подобной нежности... Я четко знаю, что завтра, при встрече, когда я стану целовать ей руку, заряд такой силы сорвется у меня с губ и пробьет замшевую броню, что ток желания, пробежав по коже Морены, войдет в разрушительный резонанс с ее тайной расположенностью ко мне, и мы закончим (ничего, собственно, не начав) в открытом городе; в его закрытых для не одержимых страстью местах, любезно предоставленных нам на непродолжительный срок трипа в безумие.

Однако днем ничего не происходит.

Я вспоминаю одно место у Г.: младшая С. просит у Х. «горячего чая», распахивая свой халат так, что ее поджарое тело английской кобылки превращается в натянутый лук и одновременно в спущенную стрелу; а идиот, которого вот-вот утопят, отказывается...

Но со мной ничего не происходит.

Быстрота перемещения (а сегодня у меня хватит денег на такси почти куда угодно) и чистые дорогие простыни способны, говорят, творить чудеса.

Однако ничего не происходит.

Мне кажется, я мог бы писать для сериалов. Секс, смерть, испражнения, деньги. Вода и мусор — как мне объяснили, если случится глобальная катастрофа, последним умрет бизнес золотарей и водовозов.

— Who the hell are you?

— Я — просто человек. Деловой человек.

— И что, скажи на милость, ты тут делаешь?

— Прицениваюсь: что почем. Что-то покупаю. Может, что-то и продам.

— Don't fuck with me. Ты знал убитого?

— Ну (да). Он был мне должен.

— Теперь ты вряд ли стрясешь с него что-либо. Ты работал на него?

— Я работал с ним. Полагаю, теперь его обязательства перейдут к его дочери.

— И с ней будет проще, чем с Гарри? Значит, у тебя есть мотив. Так что, говоришь, ты делаешь в моем городе?

— Я купил кафе. «Дом Рея», над рекой. Отличный вид, но дерьмовая жрачка.

— Ну что ж, закажешь что-нибудь оттуда, пока будешь в участке. Возьмите его. Это уже наш второй подозреваемый.

— Стоп, парни, стоп. Easy, парни, полегче. Я стою к вашему Хэнку ближе, чем вы ко мне. И знаете, что будет, если я пну его носком ботинка в коленную чашечку? Он упадет, как старый попугай в том старом анекдоте.

— Стой, где стоишь. Ты хоть понял, на что ты уже нарвался?

— Как раз мое хобби — нарываться в подобных ситуациях. Обычно, раз уж я начинаю с кафе, то покупаю весь город. И тогда я очищаю его от таких жирных и злобных копов, как ты.

(Синхронная переводчица, синхронно входя в разнос вместе с собеседником своего клиента, начинает с упоением называть клиента «сраным» и «гребаным». То ли ей кажется, что она так и так потеряет работу, то ли ей кажется, что враг клиента уже предложил ей новую (ей что-то чудится в его подмигивающей интонации); возможно, сегодняшний вечер они закончат вместе, даже если ее клиент кинет их обоих — говорят, быстрота перемещения и дорогие чистые простыни творят чудеса...)

Когда на экране телевизора в три часа утра (а я, когда не могу заставить себя лечь в кровать, хотя, ляг я в нее, тотчас же уснул бы — смотрю телевизор); когда на экране появляется по-настоящему красивая женщина, из тех, не наших — скажем, Мишель Пфайфер или Софи Марсо (а однажды меня пленила королева тамошних люмпенов Джей Ло!) — мир вокруг становится сладким и безнадежным. Сладким, поскольку в нем присутствует эта ослепляющая нежность. Безнадежным, поскольку...

И ей нужен хороший партнер, талантливый! — потому что когда талантливый актер харит (в кино) такую женщину, в его глазах светится сумасшедшее отчаяние — и безнадежность.

Моя кожа необычайно чувствительна ко всякого рода женским прикосновениям. Я люблю красивые руки. Когда женщина подносит руку к моему лицу — кажется, из длинных сильных пальцев на мои губы и щеки брызжут искры. Меня возбуждает и случайная ласка, и намеренная пощечина. Когда Рубия, в ответ на неудачную шутку или просто в порядке отработки своей женственности, отводила в замахе руку, ее глаза вспыхивали в предвкушении звукового эффекта. И, в какой бы улыбке не изгибались при этом ее губы — нежности, высокомерия, а подчас и гнева — моя плоть мгновенно восставала, ощущая памятью кожи прикосновения этих губ прошлой или позавчерашней ночью.

В качестве обратной стороны монеты я люблю, когда мне самому целуют руки. И их целовали. Морена могла поцеловать мне руку, например, прилюдно — на каком-нибудь вернисаже, где, скажем, было полно знакомых. Абсолютно уверенная в том, что любое ее действие служит вящей славе ее красоты.

244

(О Рильке.) Легко писать, когда глаза не застыт слезы.

...Один из тех, кто умеет как-то «правильно» жить: он не перерабатывает, но и не халтурит, у него всегда есть деньги, у него старый голубой лендровер и дизайнерская обувь. Он разливает из алюминиевой бутылки Danzka каштановый напиток — явно несколько более благородного происхождения, нежели датская водка.

— Что это?

— Это — Remy Marten, — догадывается кто-то из знатоков.

— Это? Декантация коньяка!

— Декантация меняет качество напитка. Спермы, например!

(Если есть, что менять — пиво от бесконечных переливаний лишь ухудшается...)

Вообразить себе такую картинку: пятидесятые, пусть даже семидесятые, «человек и закон» — некий мужчина, столкнувшийся с властью, вошедший

в конфликт с ее представителями, вдруг начинает разговаривать с ними языком Хемингуэя: просто, но веско; и независимо, как мачо.

Пусть в советское время заходят куда-то четверо: это могут быть четверо из спецслужб, а заходят они в милицию, или из милиции, а заходят к каким-нибудь хандляжам, но лучше всего, если они из спецслужб, из отдела, как говорят теперь в Голливуде, внутренних расследований, а заходят они к провинившимся службистам (могло такое быть? вряд ли). И одна из них женщина. И все они довольно светски одеты; хорошие, разные (не под одну гребенку) лица, а она — красавица в клубном пиджаке, короткой белой юбке и длинных черных сапогах. А время — лето, и ясно, что эти сапоги не просто так.

А их вроде бы даже пригласили побеседовать, не догадываясь, кто они такие. Им задают вопросы, а главный их — лидер — сначала долго молчит, а потом кашляет и просит пить.

— В горле пересохло... Попить бы!

— (Звон стекла: стакан ударяет о горло графина. Или наоборот.)

— Мне бы пивка... У тебя нет пива? Слышь, друг, сбегай за пивом!

Вот деньги, а?

— Э...

— Да неужели вы тут у себя в холодильнике пива не держите? Сходи, ну сделай одолжение!

— (Металлическим голосом.) Я — капитан государственной службы безопасности!

— Во дела... Никогда бы не подумал. Выглядишь ты на поручика, а гонора хватит на майора — ты уж определись: либо туда, либо сюда!

...

— Судя по тому, как вы себя ведете, вы кем-то являетесь. С вашей точки зрения, конечно... Ну, и кем же?

— Мы? Докторами мы являемся, вот кем. Лечим застарелые язвы...

— А я — медсестра. Ой, смотрите, а он меня хочет! (Вспархивает со стула и садится на стол напротив капитана службы безопасности.) Надо же, как приятно. Стесняется, а хочет. (Поднимает ногу на уровень лица капитана, выгибает подъем и носком сапога касается его щеки, затем резко ставит ногу ему на брюки и начинает подошвой оглаживать вздувшийся в паху бугорок.) Просто у него давно женщин не было!

— Женщин вообще или таких, как ты?

— Ну, таких, как я, у него никогда не будет!

Тут нужен очень изящный сапог, обтекающий ее ногу, как перчатка; способный провести сеанс массового гипноза. Таких раньше не было ни в советской Польше, нигде.

Почему, желая произвести впечатление, мы используем слово «длинный» — длинные ноги, длинные пальцы, длинные ресницы, длинный (удлиненный) разрез глаз?.. Конечно, нехорошо, когда длинные зубы или длинная талия. Но вот слово «короткий» всегда однозначно хуже... Короткие зубы! Такое ощущение, что все всё равно меряются хуями — все мы, оба пола, без исключения...

В Ленчке, даже не в Ленчке, а под Ленцком, в деревеньке Казимировы Врата в местной библиотеке проверял почту. Я был совершенно один в комнатухе со скрипящим полом и девятью компьютерами в корпусах черного серебра и жидкокристаллическими мониторами — эдакими инопланетными зародышами, оседлавшими старые школьные парты и протянувшими усики ко всем информаториям вселенной. За окнами выкошенная лужайка обтекала пару немолодых, но ухоженных домов, обнажая поля, бегущие к горизонту. В одной из книг я читал о мансарде, куда герой поднимается со своей девушкой, и та стягивает с себя платье на фоне окна, за которым река (Сена? не помню) несет свои воды мимо древних церковных врат. Но вид вспаханной под озимые земли вкупе с доносящимся из-за стены голосом библиотекарши, с ее жестким крестьянским — простым, как правда — выговором, действовал не менее суггестивно.

Проезжая на трамвае мимо массивного здания — постройки, очевидно, начала прошлого века, — подумал, что так могла бы выглядеть синагога: мутно-коричневый кирпич, подслеповатые окна, тяжелая грация фризмов... А вот и шестиконечные звезды Давида — их уж точно ни с чем не спутаешь. Назавтра, волею судеб оказавшись в том же самом месте, не поленился обойти величественное и одновременно убогое здание пешком и, добравшись до главного входа, прочел медные буквы на мраморной доске: *Teatrum Anatomicum Regensis*. Место, где смерть, так сказать, торжествует над жизнью. Ага.

«Когда я кончаю с женщиной, я начинаю думать о вечном и вселенском. Я даже сделал таким способом несколько открытий касательно бытия — не вылезая из койки. А когда я кончаю в кулак, мне сразу же лезут в голову

насушные бытовые вопросы: помыть машину, заплатить за свет, забрать белье из прачечной...» — двадцать лет назад сказал мне в центральном отеле Ленцка сосед по номеру, лингвист из Бреста.

...Проснуться субботним утром в городе дождей и велосипедов, рядом с ней, немного мучимый похмельем, серым субботним, но рядом с ней, когда некуда спешить и можно каплю за каплей пить чашу этого кейфа, остроты этой близости, немного притушенной похмельем — ровно чуть-чуть, настолько, насколько надо, — предвкушать ленивый подъем, поход на рынок (сварить нынче суп? съесть в кафе на площади?)...

(Морена вернулась из Закопане.) «...Я каталась по ночам. Одна-одинешенька. Подъемник работал. Его потрескивание и свист моих лыж — вот и все звуки. Я чувствовала какой-то вселенский холод, не проникающий, а охватывающий меня, и не ледяющий, а сливающийся со мною. Избавляющий от ощущения внешнего холода. Я была этими снегами и этой луной. Иногда мне казалось, что где-то по ту сторону Карпат на меня воют волки...»

Какой подъемник бабьим летом?

Комбинация Ctrl+Z и контроль DVD, начинающий проигрывание диска с того самого места, на котором остановились вчера. Вот бы так в жизни...

Подъемники на ночь выключают. Я верю Анджею.

(Snapshot/flashback: бильярдная в Риге. Моше подкидывает местный рубль — кому начинать? Деньги латышей анималистичны — на них изображены животные. Монета падает. Внезапно я забываю, что такое орел и решка, и в тихом восторге, по обыкновению охватывающем меня в присутствии Моше, я спрашиваю: «Орел?» — «Вообще-то, это корова», — отвечает Моше.)

(В автобусе становится жарко, и водитель включает кондиционер. Резкий выдох холодного воздуха из расположенных под потолком отверстий. Десятки женских рук вздымаются к небу — подрегулировать дюза. Шелестящими бабочками...)

«Все делают хуйню, кроме девяноста процентов». — «Кроме девяноста девяти процентов». — «Хочу в этот один процент». — «Не делай хуйни!»

Also sprach Moshe.

«По-моему, в наших воспоминаниях груди наших любимых всегда чуть более острые и стоят чуть более торчком, чем это было на самом деле», — говорил Анджей.

По-моему, если ты решил вспомнить — или уж если ты решил забыть, лучше всего это делать в горячем воздухе юга, обливаясь потом, с терпким и сладким на языке.

Это не юг, но солнце сошло с ума (воздух сошел с ума?).

То, что сошел с ума я, сомнений не вызывает — то есть я нормален?

Арлекин.

Солнце стерло цвета, превратив их в тени.

Пьеро.

Я представляю: пейзаж, нарисованный крыльями насекомых. Красками, имена которых помнятся с детства: умбра, сиенская сажа.

(Разделась на берегу и) я увидел, какая большая у нее грудь. Море маленькое, а грудь большая. Так она стояла, и под таким углом я на нее смотрел, что казалось: море маленькое, а грудь — большая.

Третий день подряд (третьи сутки) вижу Морену без привычного антуража. Без, так сказать, ее всего: она ходит исключительно босая, в платье-халате-балахоне или в купальнике. Она как бы продубилась на местном ветру, просолилась; ее загар приобрел светящийся серебристый оттенок (волосы тоже). Она пахнет лишь собой (она иногда даже пахнет потом!). Кожа татуирована песчинками. То, что происходит с нами — повсюду: на простынях, на столе, на подоконниках, во влажных гротах отвесной береговой линии — не поддается описанию. Вне любви, вне эстетики и красоты, даже вне секса — отчаянное неукротимое единение последних разнополых особей на последней земле, ласково-методичное пожирание друг друга, растворение друг в друге... в песке, в слизи друг друга... в водах друг друга и твердых...

Третий день подряд ощущаю себя якобинцем, вспарывающим беременным бабам животы, нагулянные до моего переворота. На самом деле.

Маленькое.

...было прощанием.

Медленное балтийское солнце. Оно и без того медленное, а ноябрьское балтийское солнце медленно вдвойне. Вчера был прекрасный яркий день,

а сегодня оно и не думает подниматься над Кошалином, уже полдень, а все серо, и я работаю при полной люстре. Свет пяти ламп отражается в стеклянной двери, ведущей из моей комнаты на веранду, и кажется, что много маленьких солнц светят через окна веранды сюда, ко мне. Но прямо передо мной другое окно, и за ним — хмарь, хмурь.

Должно быть, и Святая Гертруда нависает сейчас над городом черной мессой.

Позавчера на варшавском вокзале в полумраке бара я сидел с дочкой Михася и рассказывал ей о Словацком. Когда Моше попросил помочь с рефератом по Словацкому, я, каюсь, предложил воспользоваться интернетом — и не столько от лени, сколько из странного кокетства, приступы которого неудержимо случаются со мной всякий раз, когда я разговариваю с Моше.

Отчасти это связано с тем, что Моше нравится Морена. Уже не помню, когда познакомил их, может, не так и давно, но факт — они относятся друг к другу с явной приязнью и подчеркнутым уважением, в духе старых друзей из «Опрокинутого месяца». Моше даже целует ей руку — Моше, который, вопреки всем польским ценностям, никогда не целовал дамских ручек. Но Рубии целует. И она, вопреки всем своим ценностям, стягивает для Моше перчатку — даже на улице. Медленно, палец за пальцем, превращая это в шоу для Моше и, бывает, окружающих. И в глаза, и за глаза Моше зовет ее «паняле». Как бы это лучше перевести с литовского — панночка?..

...Что вынуждает меня к идиотскому интеллектуальному кокетству в беседах с Моше.

О Словацком. Дочь Михася — несмотря на то, что все ее поколение ни в грош не ставит умственные способности людей, чьи материальные притязания не простираются дальше BMW выпуска времен объединения Германии — сохраняет ко мне привязанность. Она любит вести со мной литературно-философские беседы — с детства. С того детства, когда я писал работу об антироссийских настроениях Мицкевича, а Михась был моим руководителем по столь щекотливой теме. Моше руководил, это брало много времени, поэтому каждый вторник и четверг я прогуливал Магдусю по зоопарку, обсуждая с ней основы стилистики раннего Бжехвы: не пепш, Петьша, вепша пепшем... Етс.

Год назад Михась пожаловался, что девочка на прогулках с ним, зайдя в кафе, просит заказывать алкогольные коктейли. Он даже процитировал

ее — с упреком, — бывают, дескать, такие особые моменты радости, требующие немедленно выпить, и я с ужасом и одновременно с гордостью узнал свои собственные слова.

Смешная девчушка с ясными глазами, вполне женской фигурой и градусом формулировок никак не ниже манифеста пришла в бар Orange (ха, померанец) перед моим отъездом в Померанию. Мы пили кофе из черных, с оранжевыми прожилками, чашек, и я рассказывал о Словацком то, чего, по моему мнению, не было в интернете, хотя черт его знает, чего там не было. Наверное, описаний его отношений с матерью с точки зрения психоанализа не было... Когда мы дошли до Люцифера и «вечно революционного духа», Магда захотела есть, и мы отправились на поиски жареного цыпленка с колой. Поднимая картонный стакан с колой, я произнес знаменитое «получи от меня этот стакан коньяка», обращенное Милошем к Словацкому, тем самым переведя разговор в алкогольное русло.

После воспоминаний о вечеринке на даче у родителей кого-то из одноклассников, после моих советов по выбору водки и выбору сока для смешивания с водкой, прозвучало слово «абсент». Оно прозвучало в пустой привокзальной кебабной, где были только мы двое — она и я, я и Магда — почти моя дочь, ровесница моей дочери, когда бы она была у меня, дочь, которая могла бы быть смыслом моей жизни, если бы у моей жизни был смысл. «А ты когда-нибудь пробовал абсент?» — спросила она.

— Нет.

— Ну что же ты! Надо было попробовать. Я хочу попробовать абсент.

— Абсент, насколько я понимаю, скорее процедура, нежели просто выпивка. Один глоток ничего не даст...

— Я знаю, я читала у Хемингуэя.

— А у... Хотя, конечно, чего читать. Пробовать надо.

— Я обязательно попробую.

— По чьему рецепту?

— У меня кебаб протек. О, черт!

— Ты никогда не умела есть кебаб. Потому что ела неравномерно. Выкусывала самое вкусное. И он разваливался.

— Зато вы самое вкусное откладывали на потом...

— Мы?

— Извини.

— Но!

- Извини!
- Хм...
- Пожалуйста...
- Здесь, на вокзале, в магазине есть абсент.
- Да, чешский. Зеленый такой.
- Может, куплю себе в поезд.
- Купи.
- Не в этот раз.
- Вот видишь! Когда я зову отца на озера покататься на серфинге, он знаешь что отвечает?
- «Не в этой жизни!»
- Знаешь... а когда дрожишь от этого солнца, знаешь? И ветер?
- Хм...
- Ладно... Расскажи о чем-нибудь. Или о ком-нибудь!
- Ты ведь помнишь Анджея, который уехал в Израиль?
- Художника? Он пил абсент?
- Да.
- Он ведь умер?
- Да.
- От абсента?
- Нет... он выпал из окна. Выпрыгнул.
- Ого! Однако! Отец ничего мне...
- Конечно... Но это сейчас неважно. У Анджея всегда было полно идей, очень простых идей, которые должны были бы приходиться в головы всем, а приходили лишь ему.
- Например?
- Когда началась вся эта кутерьма с евро, он рассказывал, что где-то на острове, в развалившемся монастыре живет один отшельник... И каждое утро к нему на турбореактивном вертолете прилетают эксперты из банка... и спрашивают, какой нынче курс евро. Он вылезает из своей кельи, смотрит на небо и говорит: «Три злотых за евро». И лезет обратно. Они: «А доллар, доллар почему?» Он так оборачивается: «Ну, по два за бакс!»
- Смешно...
- У него было хобби, он переводил на польский тексты Цеппелинов.
- There's a la-ady who's su-ure all that glitte-ers is gold... — Магдуса.

— Он мечтал издать книгу о них, со своими рисунками, с рецептами яблочного пирога, запахами в отдельных пакетиках... В виде чемодана, обклеенного открытыми визами, — я.

— Ale masz, daję tobie tę szklanę koniaku, — разом.

«Скажи, ты когда-нибудь пил абсент?» — «Да. Сначала мы пили водку. Потом самбуку. Потом текилу. Девушки кругом казались очень красивыми. Потом я предложил попробовать абсент.

— Одна капля абсента сносит голову, ты готов? — спросил я.

— Да!

Нам налили, согрели — его пьют подогретым, красиво повертели, подали... Ничего. Только девушки стали казаться еще более красивыми. Мы покурили, выпили еще текилы, я снова заказал абсент. Казалось, все девушки вокруг мечтают быть нашими, только мы пока против... Мы снова выпили...

...и всё...» — сказал Анджей.

А все уже сделано и дано, надо только взять.

252

В последнее время дела шли более или менее хорошо. Только в супермаркетах приходилось плохо, а покупать еду не в супермаркетах уже как-то не получалось.

3. раз в неделю-две заезжает за мной — я не отказываюсь.

Разумеется, он звонил и спрашивал. Я буду рад.

Хуже всего выглядело на стоянках. Там — на стоянках — в поле зрения постоянно оказывались пары: семейные — с детьми или без, просто любящие друг друга и живущие, как говорят литовцы, «вскладчину», пары в сопровождении пожилой женщины, очевидно, матери одного из супругов? любовников? (Слава богу, еще отцов пока не приходилось встречать, отцы не жалуют коллективного шопинга, видимо...) И в их отношениях между собой, к окружающим, кассиршам, полкам с товарами, груженным продуктами тележкам сквозило такое количество улыбок и полуулыбок, намеков, знаков, тайного знания — такая масса общего, личного, частного и любовного, что в болезненном спазме сводило все, что только могло сводить...

Что, если литовское «жить сложившись» идет от «конкубината»?

«Он никогда не жалеет себя».

Неожиданно я проспал весь день. Работал всю ночь и был готов продолжать, чувствуя себя в отличной форме. Однако к семи утра прилег, рассчитывая на пару часов легкой дремы, и проспал до вечера. Помню, какая-то девушка — ну, не какая-то, а очень даже похожая на мимолетную знакомую трехлетней давности и трехсоткилометрового расстояния — подарила мне на прощание (во сне) коробку из-под монпансье со своей бижутерией: бусами, парой крестиков на цепочке, еще чем-то... Хотя, может, она дала мне ее на хранение — а сама куда-то уехала? И там была не бижутерия? А случилось это у нее дома, и, когда мы расстались, я поехал к себе на трамвае, и все никак не мог прокомпостировать талон. Изначально его у меня и не было, но я хотел передать мелочь — с задней площадки на переднюю, однако лица стоявших рядом людей не нравились мне, и я дождался, пока на остановке не вошел контролер и не погнал меня, после унижительных объяснений и оправданий, покупать билет у водителя. И вот уже на следующей остановке я вышел, затем зашел в передние двери и там, стоя у кабины водителя, стал набирать мелочь. Однако на ладони в груде монет не было ни одной нужной мне — попадались то крестики, то бусинки, то иностранные центы и сантимы — а контролер уже пробиравался ко мне через вагон... и я подумал: «А зачем, собственно, мне ехать на этом трамвае?»

И вышел...

В той серии с ночным кошмаром у босса семьи в пальцах — тоже во сне — лопаются предназначенные — во сне — его школьному тренеру пули. Выпавшие из обоймы на пол — как кровавые виноградины.

Пожалуй.

«Он никогда не жалеет себя, и в этом его сила», — сказал парень, которому я гожусь в отцы...

Перевел с польского Алексей Степанов

ОГУРЦЫ

...Я лицом на отца похожа, а фигурой в мать — коренастая, и зад большой. Отец говорил, у меня жена удобная, как табуретка — есть на что с устатку присесть. Это про мать-то. Зад ее и погубил. Полезла в подпол, а ступенька под ногой и подломись. За перекладину ухватилась, повисла. А дома никого: отец тогда к брату на Урал уехал, я в колхозе работала, на почте. Сколь уж она так провисела, никто не знает. Тело большое, рукам тяжело. Оборвалась, конечно. А пол-то кирпичный. Мы во дворе, у стены, колодец копали, видать, жилу струнули, стал у нас подвал подтекать. Грязи намочет, картошка гниет. Отец пол-то кирпичом и выложил, вот как раз накануне. Радовался еще, дескать, сухо теперь, чисто. Любо-дорого. Вот она на это любо-дорого головой и приложилась. Как уж так вышло? В тесноте-то? Поди гадай.

Я вечером с работы прихожу — что такое? Дома пусто, подпол открыт. Я вниз свесилась, гляжу — темнота. Лампочка за день перегорела. Хорошо, не полезла. Свечку в кухне нашла, посветила. Мама родная! Кричу, зову ее, да где там... И спуститься-то не спустишься: подпол тесный, она его весь собой внизу и перекрыла. По соседям побежала. У нас на хуторе пяток домов только и был. Кричу, трясусь вся, сказать толком ничего не могу. Только все за плечо себе тычу: мама, дескать, там. Мама. Ну, достали мужики, на кровать положили. Что делать? К участковому надо, в колхоз. А это ж сколь километров? А уж темнеет. До утра ждать надо.

Чуть свет побежали за участковым. Он на мотоцикле приехал, посмотрел и давай ругаться: зачем тело трогали? Да чего она у вас вся переломанная? Да почему сразу его не вызвали? Надо протокол составлять да на экспертизу в город ехать, везти тело. Ну что? Приехала буханка из Тресково, маму на носилки погрузили, я рядом села. Света белого не вижу, так с ней до парома и протряслась. И у мамы голова на ухабах прыгает, будто она ехать не хочет, отмахивается. Потом до Трескова на пароме, а уж оттуда — в город. Там мне ее через день в гробу и выдали, с заключением, дескать, можно хоронить.

Ну, поехали мы обратно. Участковый-то еще давеча, сразу уехал, остались мы вдвоем — я да шоферюга. Ушлый, зараза, попался. Заедем тут, говорит, недалеко, пасеку приятель держит, звал за медом, так уж заодно. Личный бензин потом не жечь. А я что? В глазах темно, киваю, чтоб

отвязался только. Ну, приехали. Я из машины вышла — ноги размять да в туалет попроситься — сикать захотела, аж живот свело. Пасечник-то на меня поглядел: чего, говорит, Серега, на молодой ли чо ли подженился? А тот похохатывает: ага, говорит, и теща при нас. Тот и не понял, конечно, сунул мне соты кусок: на, дескать, побалуйся. Взяла, а куда приткнуться — не знаю. Руки угваздала, подол закапала. В углу потом, в машине, приткнула. Так с тех пор мед и не люблю.

Ну, а потом и пошло-поехало: колесо у него пробило, запаску ставил, локоть о гравий ссадил, как уж умудрился. Я ж ему локоть-то и бинтовала, руками, от меда липкими. А он меня матом крыл — больно, вишь, было. Со стыда потом мед мне свой тыкал... Угостись, дескать. Так на паром и не успели.

У него-то там баба в поселке, к ней и пошел ночевать, а меня куда денешь? С гробом на постой проситься? Ну, припер он мне подушку с одеялом, прикорнула я возле гроба мамино. Дверцу раскрыла, чтоб воздух шел. Сплю. Вдруг — что такое? Ударило что-то из гроба. Да гул пошел, вот будто гроб по досочкам разбирают. Я как подскочу, как шарахнусь. Щекой об окошко приложилась. Мама, кричу! А из гроба опять — бряк! И гул глухой... Я себя не вспомнила, как уж из буханки вывалилась, и не упомяну. Полыхнуло впереди, я на свет-то и побежала. К людям, значит. А это костерок на берегу развели, тоже люди паром ждали. И парень один меня давеча углядел, понравилась, видать. Покрутился у машины, а подходить неудобно — кабы не напугать. Ну, и удумал камешками кидаться, дескать, догадаюсь, выгляну. Тут-то он и заговорит. Ну, вот и вышла. Уж я его материла! У водилы моего, видать, научилась, куды с добром...

Так у костра и осталась, картошки печеной поела, чаю попила. Потом с парнем тем к Селенге сходила умыться. Рассказала ему все про себя. Петром его звали...

Ну, утром поехали. Закрутилась — поминки готовить, похороны. Отцу телеграмму из города еще дала, да он подзастрял, в дороге-то. Вспомнить ничего про те дни не могу, как в тумане всё. На кладбище уж, в оградке, очнулась. Уж и гроб опустили, веревки вынули. Я горсть земли от себя бросила, комья о гроб ударились, и такой знакомый гул пошел — до слез. Глаза подняла — Петра в толпе увидела. Как уж меня нашел, не знаю. Кивнул издали, меж людьми протиснулся, цветочки на могилку,

на холмик-то свежий, положил. Я как на те цветочки глянула — видно, предел мой настал: зашлась. Да не плачем — хохотом. Он же цветы-то какие припер? Огуречные! Вот как труба граммофонная. Да желтые! И листья лопухами... У кого-то всю грядку оборвал.

Да уж смейся! Чего глаза отводишь? Какой это грех? Смешно — так смеяться надо, наплакаться успеем, и спрашиваться не придется. Смейся. Четверых мы с ним родили, с Петром-то. А огурцы все ж таки я ему забыть не могу. Меня ведь как люди помнят? Это какая, говорят, Арюнка? Вот что у матери на похоронах смеялась? Она самая, говорят. Она самая и есть.

ЛИДА-ЛЮДА, ДЕВОЧКА МОЯ

Ждали снега. Мать по утрам вздыхала: «Опять голо», — а отец смеялся с подушек: «Да ты сама голая!» Мать занавеску отводила, заворачивалась, как в простыню: «Да ладно...» И льнула к стеклам, а там от двора до насыпи под рельсами — бурьян, только под откосом в калиновом буреломе ягоды горят — красным.

256

А снега нет. Лида складывает пальцы шепотью, ворожит, присаливая. И вот — сыпануло, ударило: свиристели! Стая прошла извивом по пустырю, рассыпалась в калинник: свирири!.. И Лида смотрела, как ела, мать бы сказала: «Голодный дорвался». Птицы кормились, качались на ветках. В глазах зарябило — серое, синее, желтое, и почему-то вдруг весело, и Лида сама себе командует, как в цирке: ап! И на носке сапожка проверчивает полный круг. В доме голоса чужие, и думать о них страшно. Лида и не думает. У нее сапожки новые, отец принес ночью, разбудил, затормошил. Дышал пьяной водкой, слова тянул. Лида ноги в сапоги вставила, подол на голенища лег — великоваты. У стола мать в новом платье, неглаженном, с заломами, и серьги эмалевые под волосами. Отец ее за волосы татарвой называл. У Лиды косы материны — черные, шелковые, в лентах не держатся — скользят. Вот и сейчас — потекли по рубашке до голенищ, мать подошла, заплетать стала, пальцы колтуны разнимают, Лида морщится — больно, а отец обеих обнял, стиснул, слил в одну: «Ты ж моя Лида-Люда!» Мать сапоги отняла, завязала в платок: до школы. Лиде, заревевшей было, затрещину дала: «Тихо!» И вот — разбудили, всунули ноги в сапоги, за дверь вытолкали: беги!

Прибежала к насыпи, дальше и некуда. Калина, стоя, а снега нет. Лида пальцы над ладонью подняла, ворожить стала. Товарняк пролетел, волна ударила, спугнула стаю. Лида голову вскинула — птиц проводить, а в глаза, как на воду, снег лег.

В доме стихло. Побрела назад, постояла у окошка. Снег ее до дверей проводил, хлопка дождался и сгинул. Дома ящики-шкафы вывернуты, постель на полу. Мать на голой сетке в узел свернулась. Лида ее за плечо потянула:

— Мам? Папка где?

Тетка прибежала, дверями хлопнула, присела на кровать. Стали мать поднимать, как лошадь из борозды:

— Люда, вставай, родимая, ну же!

Сидели потом у стола, стопки держали шепотью.

— Говорят, состав на станции обнесли...

Избу за ночь выстудило. Лида, как была в пальто, на матрас легла, постель с пола подгребла. И уснула.

Тетка разбудила — дрова принесла, бухнула их у печки, Лиде чайник сунула: дуй за водой! Сама к матери за стол подседа, кульки развернула.

— Вот тут карамельки, бумажки только поснимай, с ними не принимают. Махорку из пачек в мешок пересыпешь...

— Да не примут они, пока следствие идет — не примут. Может, после суда...

— Следствие тебе еще! И так ясно, с поличным взяли.

— Да неправда! По циркуляру метут, всех подряд! Циркуляр вышел: если на железной дороге покража — ближние деревни отвечают.

— Так то в военное время! А то сейчас...

Мать промолчала, стала по дому тыкаться, вещи прибираться. Лида к столу подошла, взяла из кулька карамельку. Бумажку сняла, в рот сунула, захрустела. Повидло по языку растеклось, ошпарило горло сладким. Лида по скатерти зашарила, искала запить. Материна стопка подвернулась. Хлебнула, смыла сахар, продышалась. И не поняла, вода была или водка. Чайник на огне зашелся, крышкой загремел. Мать у окна в занавеску завернулась, будто голая, а со двора, из черноты, снег на нее глянул, и мать тогда руку назад завела, выбила из узла на затылке косы и в стекло ударила. Фрамуга устояла, и мать в форточку, как в прореху, охрипшим детским плачем ябеду свою последнюю и выкрикнула:

— Броооосил!

...

Вкус у воды приторный, стоялый. Дома ковшом из бадьи зачерпнешь и через язык цедишь тонко, смазкой, потом, согретую уже, глотаешь. И снова к ковшу. Холодок ноздри щекочет, и запах с кислинкой, брусничный... Ржавой хвоей отдает, и все равно хорошо. А у тетки вода теплая, из захватанного графина на столе. Пьешь, и будто кто горло пальцами прощупывает. Лида к окну подошла, в стакане фрамуга крестом отразилась. Лида ее в ладошках, как в ковше, покачала, на улицу стала смотреть. Лесной переулочек, дом шесть. Первую зиму, пока надежда была, что мать в ум придет, Лида свой адрес помнила: Железнодорожная, восемь. К поезду день через день бегала, вроде, за домом приглядеть. Калина под насыпью до весны красным горела, даже и листья уцелели, а свиристелей больше не увидела, будто угнал их тот товарняк далеко-далеко, как отца... А летом тетка ее в школу под своим адресом записала, на Лесной.

Лес тут и вправду был, сосновый борок за дорогой. И грибы водились. Лида в последнее перед школой лето рыжики котелком таскала, бывало, и по два рейса делала. Чистили их с теткой ножами на сухую. После с ведрами под косынкой на станцию торговать. Бабы деревенские молчком кивнут, посторонятся. Помолчав, спрашивать начинают:

— Лидка-то что? Все сироткой? Про мать новостей нет?

— Да с месяц тому, что ли, ездила, навещала. На казенных харчах, поди плохо? Тоша, правда, глядеть страшно. Каши, видно, на воде... На койке качается, шея из-под рубахи обмылком торчит. А ворот проштемпелеван. Людка, говорю, тебя хоть сейчас по почте отправляй, заказным.

— А врачи-то? Говорят чего, нет?

— Подержат еще, потом, говорят, инвалидность оформлять.

Тетка косынку с ведра снимает, крошки отряхнув, волосы подвязывает. Косы совсем, как у матери, только тусклые, будто из-под сизой голубичной изморози черника проглядывает.

— Я ей говорю: Людка, ты бы хоть людей постыдилась. Другие, вон, мужиков с фронта дожидались, да по лагерям сколь народу сидело, да не по пять лет, сама знаешь. И ничего, с ума никто не сошел. Держали себя, детей поднимали, хозяйство... А ты что за цаца?

Двумя пальцами, по-солдатски, кофту под юбку вправила, сапогами по бетонке переступила зябко. Голяшки великоваты, размера на такую ногу

не подберешь. Лида вспомнила, как в травмпункте на станции доктор материну лодыжку вправлял: «Привычный вывих, кочевое наследство. У вашей породы судьба такая: кальций организмом не усваивается, беречься надо». Велел скорлупу яичную толочь в порошок, молоком запивать. Отец тогда мать по носу щелкнул насмешливо: «Татарва!» А после до дома на руках нес.

— Ты, говорю, не его жалеешь, ты себя жалеешь. Залюбленная больно. Избаловал он ее, с бабами разве так надо?

— А что сама-то? Говорит?

— Да всё одно. Людка, говорю, глядеть же тошно, отошала. Вот картошки принесла, тепленькой, может, давай покормлю? А она ложку выбьет, затрясется: броооосил! Одно по одному. Ну, хоть из буйных перевели, и то ладно.

Лида рыжик с бетонки поднимает, — в ведро положить, да так и замирает. Издалека, от ее Железнодорожной, как стая, ветер летит, и свист тонкий, знакомый: свирири! И вот оборвался, потонул в грохоте, бетонка под ногами дрожит, на бабах косынки, как паруса, вздулись и опали. Товарняк, без остановки, мимо. Лида состав глазами проводила и не сразу даже поняла, что рыжик в кулаке раскрошился, и крошки с ладони сквонзьяк склевывает на лету, по-птичьи. Свирири...

...

Спросонок показалось, включилось радио, оглушило симфонической музыкой, грохотом басовым. Хотела крикнуть тетке: «Убавь!» — но та уже потянулась, выкрутила ручку, до предела истончив звук. Хлынувший свист ее и разбудил. Она полежала, осознавая: «Пассажирский, встречный». Приходя в себя, разглядывала багажную полку над головой. Зачем-то вспомнился утопленный меж двух ладоней дочерин затылок, локти на тетрадном листе, перепачканные фломастером пальцы мужа. Что-то он ей объяснял, кажется, из курса физики. Источник и приемник звука, в сближении звук кажется выше, при удалении ниже... Или наоборот? Ей стало стыдно, потом досадно. Привычно стыдно и привычно досадно: точные науки не давались с детства, не вмещала память. Она пошевелила кистью, будто писала под диктовку, и название реву и свисту двух встретившихся поездов нашлось: эффект Доплера.

Приподнявшись на локте, посмотрела вниз. Сосед, видно, от скуки жевал хлеб с горчицей, чихал, прикрыв рот, с близорукой внимательностью разглядывал вылетевшие на ладонь крошки — перед тем как слизать. Лида отпрянула, переждала дурноту. Стараясь не глядеть на соседа, спустила ноги с полки и, прихватив мыльницу и полотенце, вышла из купе. Долго стояла у окна, следя за порывевшей листовничной лентой. Какая-то толстуха с подстаканниками в руках протиснулась мимо нее к титану, и Лида, застыдившись стоять без дела, оторвалась от стекла, но почему-то прошла мимо туалета, толкнула на себя дверь с запрещающей проход табличкой. В тамбуре было накурено, дым голубел в просветах солнца, и очень вдруг Лиде понравился, и тряска стыков под ногами взбодрила. Она задышала, глотая дым, гортань обожгло, ударило в нос, и Лида, вспомнив соседа с горчицей, тоже чихнула и рассмеялась. Со смехом пришли, наконец, слезы, и она их не вытирала, прижав лоб к вибрирующей ледяной стене, чувствовала одно: вот теперь — легче.

Легче стало думать о разводе, о свежем штампе в паспорте. Вспомнилось теткино: «...и ворот проштемпелеван, хоть сейчас письмом отправляй». Вот и Лида теперь со штампом, как кем-то отправленное письмо. Старый материн адрес, способ доставки экономичный — ж.-д.

Она выпрямилась, опустила мыльницу в карман, тряхнула волосами. Начав сесть, они странным образом потемнели, наверное, от утраты молодого шелкового блеска. Косы Лида сохранила, так нравилось мужу. А мать остригли в интернате много лет назад. С годами она располнела, и полнота к ней шла, как шла когда-то тонкокостная стройность. Няньки прозвали мать Барыней и охотно включались в игру: услужали, прибирали, расчесывали на прямой пробор редеющие пряди, а сунутые теткой рублевки отклоняли и, похохатывая, бежали в палату: «Барыня, поди, заждалась!». Барыня сидела в подушках, глядя поверх голов, тоскливого своего «Броосил!» давно уже не говорила, но ведь оказалась права: он бросил. Отсидев срок, не вернулся, наверное, испугавшись теткиного письма: чокнутая Людка была ему не нужна.

Лет десять назад, уже в Москве, Лиду отыскала его дочь, говорила по телефону хриловатым баском, что отец умер в Каменогорске, что надо бы встретиться. Лида скомкала разговор, обещала перезвонить, но потеряла номер и не захотела искать, и долго еще думала о сестре, как о старухе с прокуренными пальцами на больших, как у отца, руках.

Пока однажды не поняла, что сестра моложе ее.

В тамбур толкнулась тележка с обедом. Лида, пропуская торговку, уловила пар над лотком, вспомнила соседа с горчицей, и снова навалилась усталость. Коротая время, зашла в туалет, привычно плеснув водой на зеркало, — чтобы не видеть, мыла под краном руки, неловко тыкаясь в раковину позабытой в кармане мыльницей. В коридоре пристроилась было у окна, но вспугнула проводница с тюком белья — приближалась станция. Хочешь не хочешь, а нужно идти. Она вздохнула, набираясь терпения, и переступила порог.

Горчицы не было, был чисто прибранный стол и два коньячных бокала, протертых до блеска насухо. Пачка галет на тарелке, плоская с чеканкой фляга у окна, застланная койка, взбитая в изголовье подушка... И ни души. Стукнула дверь за спиной, и она обернулась резче, чем надо было, защемив позвонки. Сквозь искры в глазах разглядела его — с бутылкой и ресторанным чеком в руках, в чистом свитере на широких плечах, с дрогнувшими от неожиданности глазами, показавшимися ей голубыми, как тамбурный дым. Комкая в пальцах чек, он шагнул в тесноту купе, некстати спросив: «Можно?» И от пошлой этой дорожной неизбежности — он, она, коньяк, вечер — стало вдруг как-то обреченно-весело и легко. И она, улыбнувшись, кивнула.

Ночью она перестала понимать, где заканчиваются ее пальцы, и испугалась, отняла руку, снова опустила, рассмеялась тихонько. Все было едино, полно и хорошо. Она повернула голову, высвободив лицо, вдохнула, чувствуя одно: свободна. Благодарно погладила его по щеке, заранее прощаясь. Он, не поняв, нашарил на столе бутылку, стукнул стеклом о стекло, налил. Зачем-то спросил, к кому она едет, и она, будто проверяя себя, помедлила, глотнула коньяку и уверенно, как о давно решенном, сказала:

— Железнодорожная, восемь. К маме.

СТАРУШЕЧКА

Старушечка отвернулась от стены и подоткнула под щекой подушку. Там в соседней комнате через коридор семья смотрела телевизор. Седоватый в городском пиджаке, сидя у рояля, взглядывал на притихшую в зале Гурченку. И ту же Гурченку в тамбуре вагона притиснул уже другой,

усатый. Старушечке такие нравились: голос у него был щелястый, в щелях, как в трещинах, дрожала щекотка. Он завернул на себе майку, скомандовал Гурченке через ткань: «Сама-сама-сама!» А та вдруг сникла и глядеть стала тускло, как давешний городской. Старушечка на нее обиделась: «Тоже мне, барыня!» И отвернулась.

А ночью, лежа в бессонице, Гурченку зажалела и зажалела себя. Было ясно, что ждать нечего. Она приготовилась плакать, но почему-то уснула и во сне видела невестку Татьяну. В темной кухне у окна она ела мед из банки. Татьяна сливалась с темнотой, и только мед под луной масляно золотился. Луна погасла, погасла, будто опустела, банка, и Татьяна зашарила ложкой, заколотила о стекло. Старушечка проснулась, полежала, слушая темноту, и от тишины наконец заплакала. Стало легче.

Утром она не захотела встать, и ее не хватились. Вскипала большая суeta, пахло борщом и утюгами. Старушечка мечтала, что хорошо бы ей умереть, лежать в домовине в комнате с телевизором, а домашние сидели бы в ряд, сложив на коленках руки, и думали бы про нее, что вот была старушечка, жила неслышно и хорошо, и как теперь неудобно и скучно от ее смерти, и пусть бы скорее закончилось это сидение, да опрокинуть, не чокаясь, рюмку да повести помины в гору, прилично, сытно и весело. Но старушечка будет лежать долго, — как барыня! — и дом будет пахнуть не борщом и утюгами, а рисовой кутьей с изюмом и медом и, может быть, немного вербой, древесным талым соком на срезанных по холоду прутках... «Как барыня», — подумала еще раз, и поднялась, и прожила день легко. А ночью опять не спала, вытянулась на простыне, опустил веки. Потом, будто кто позвал, встрепенулась. За столиком у кровати сидел давешний, из кино, в зеленых медицинских штанах и такой же куртке. В ворохе бумаг и бланков что-то писал обгрызенной красно-белой ручкой, древними резиновыми штемпелями, хэкнув, как на водку, оттискивал печать. Она поглядела на него, привыкая, потом спросила:

— Ты Смерть?

Он коротко глянул через плечо, и от щекотки голоса потеплело в груди:

— Смотри-ка, догадалась. Ну, мать, мне тут, видишь, некогда, писаниной придавило, так что давай-ка — сама-сама-сама!

И старушечка, уже было начавшая подниматься, упала головой в подушку и оттуда, из мятой рамы наволочки налилась краснотой, побелев глазами, и впервые за мышиную свою жизнь матюгнулась:

— А вот ...й тебе!

И трижды еще повторила, зачем-то кособоко истово для верности крестясь.

...й! ...й! ...й! — вздрагивал, как на кочках, Смерть, потом, со сладкими протяжками рассмеявшись, стигнул. В темноте заплакал ребенок, и старушечка по-матерински вскинулась: утешить, пожалеть!.. Но спохватившись, осела на простыне: нет же в доме детей. Но ребенок плакал, стучал кулачками в висок и в темя изнутри головы. Старушечка посидела, слепив накрепко губы, потом раскрыла рот и выпустила детский крик в тишину дома. Домашние набежали, затормозили, спрашивали, и она утешилась, свернула из одеяла кукленка, закачала его у груди: «Аааиньки!..»

— Маразм, — вздохнула невестка. Свет погасили и разошлись.

Старушечка утром заспалась, поднялась поздно. Дверь толкнула ногой, прошла через комнаты в кухню. Куснула калач, налила кефиру. Сунув ноги в боты, вышла во двор. Там, на врытом в землю табурете утвердилась привычно-прочно, подняла к солнцу лицо. Из угла к ограде шмыгнула кошка, протаивая в инее следы. Старушечка ей улыбнулась, вынула из кармана калач, напевая, стала крошить на газетку. Под крышей уютно курлыкнули голуби, из тени у забора высунул морду кот. Старушечка ему кулак показала: кыш, дескать!

— Как барыня! — усмехнулся сын в доме. А невестка Татьяна, поглядев из темноты кухни в окно странно долгим взглядом, вырвала из тетради страницу со списком для магазина и, отчеркнув макароны и батарейки, ниже черты вывела в три строки, не жалея места на бумаге: «Рис. Изюм. Мед».

...

К картошке она приспособила заточку, выдавший виды самопал с зоны — траченное лезвие, истаявшее к середке на манер леденца. И даже на глаз ледяное.

Чай в прожелтевшей чайнице. В сите на проволоке тараканы, пьяные от чифиря. Она говорит — бухие.

Немытая картошка, чищенная насухую, спиральная кожура в при-емистом тазу — сегодняшняя на вчерашнюю: натереть, залить, газеткой отфильтровать — и будет крахмал.

Срезанный шнур от радиоточки — нафиг эту говорильню! Приглашение на четверг — в «Пятерочку». Гале позвонить в два. «Грибок» с чулком, пуговицы от халата. Во вторник в поликлинике лор.

Боря — поздравить в понедельник, спросить, возьмет ли Ленка чайный гриб. Что-то я еще про собес — не помню. Память совсем к херам. А Ленка бухтит: не ругайтесь, мама! А как с такой жизни не ругаться? В гости бы позвала хоть раз. У них, говорит, материальные сложности. Сложности!.. Две селедки на стол бросила — вот и праздник.

Шоколад в белой перхоти, лежалый зефир — подарок от депутата. Гречки полкило. Мыло «Земляника». Боречку бы, заечку мою, хоть глазком... Ленка, сука! Материальные сложности! Две селедки бросила — вот и праздник...

Борьке носок начала на пяти иглах, глаза только ни к черту. Кофту свою распустила, нитка меланж. Ленка позвонит, спросить про гриб. Да шнур-то, от радиоточки, подпаять бы? Все б хоть, ровно живой кто, бухтел...

И кто-то ясноглазый, нездешний, в рамке под стеклом, с надписью на обороте: «Вечно юной Шунечке с вечной любовью, Саша».

ПОЛЫНЬ

Она перебирает пуговицы пальцами, быстро, ловко. Застежка на платье от горла до подола, пуговицы — бисерная мелочь, перламутровые головки под ногтями стучат. «Как кнопки у баяна», — думаю я и даже жду музыки, и удивляюсь сама себе: почему вдруг подумала о баяне? Она никогда на нем не играла, и никогда не пела, и даже не любила музыки, только в застольях, выпив вина, протанцовывала от угла гостиной до стола, всегда наискосок, странную свою плясовую с кручением рук, будто протирала стекло, с дробным перебором ног по полу. И улыбка, эта ее улыбка с полоской десен над зубами, она несла ее на задранном подбородке, как арбузный ломоть. Всегда.

Она перебирает пуговицы пальцами, под платьем у нее сорочка — ацетатный шелк. Некрашенная седина подвита, помада на губах. Я вижу ее у зеркала, вижу руку с карандашом, — всегда одно округлое движение, быстрый очерк, давно не совпадающий с контуром усохших губ, но что ей до того? Это губы усохли, она же по-прежнему точна.

Она перебирает пуговицы пальцами, платье распадается, как взрезанная брынза, млечный сок сорочки льется на траву. Солнце высоко, высохли тени и запахи, пылит полынь. Птиц не слышно, но зудят цикады, кажется, заело пластинку, но она не морщится, ей нравится раз навсегда устоявшееся. Овдовев, она не надевала траура, косынки и шали с кистями остались цветными, — так он любил. По той же причине не плакала, простила его женщин, поименно каждую, пометила в календаре всего его даты: рождение, смерть, родительский день и пасху, гоняла на кладбище нерадивых нас, и мы выстаивали у ограды немую литургию безверных, пятнали снег киселем и не чувствовали ничего.

Она перебирает пуговицы пальцами, перебирает вехи в памяти: так ли жила? Я трудно выношу жару, сдираю с губ корку. Полынь горчит. В небе самолетный след — наискось. Я смотрю ей в спину, в рябой затылок в пухе седины. Она сама себе кивает: все так, все как при нем. В леске над кладбищем папоротник-орляк — это весной, в августе смородина ведрами, застолья среди вбитых в полки книг и сервизов, внуки, собаки на полу, проигрыватель без иглы, пустые вазы, и над всем пыль, пыль как формалин.

Она перебирает пуговицы пальцами, бросает платье в траву. Река, раступившись, обнимает щиколотки. Я смотрю из-под руки, но вижу плохо — пылит полынь. Дождавшись всплеска, слушаю тишину, потом застегиваю платье наглухо доверху, и, взяв с травы косынку, не оборачиваясь, ухожу.

ЗОРБА

Лет пять назад в Париже мы снимали квартиру на бульваре Сен-Жермен. От метро выходили к ресторану «Мондриан», мимо двух витрин — в проулок с греческой таверной «Зорба».

Улица называлась Грегуар де Тур. Три комнаты под крышей, заветренный сыр от завтрака, кусок багета. За круглым окном, как в иллюминаторе, мотались чайки, огибая мачты антенн в белом небе. Я листала альбомы с полок, капала апельсином на простыни, влажные, как бинты, пережидала болтанку: жара то опускалась, то поднималась — с неба, лишнего проводов, с брусчатки внизу, лишнего платанов...

На брусчатке, в границах вытоптанного ковра под ногами, ждал враг. Он был зорба — в фартуке до пола, с седой косой вдоль спины. Статист

в роли хозяина. А-ля шеф-повар. Каленый каштан в жаровне, усталый до ненависти. Если случалось выйти, мы поджимали животы, прятали глаза под очками, но на узкоколейку тротуара выплескивалась Греция и заливала до горла, до типовой таблички от муниципалитета *Rue Grégoire-de-Tours*. Высокие воды Греции меж вьетнамской прачечной и китайским салоном, горячий поток, потоп — каламаракья, тарамасалата. Сувлаки, гирос, кокоречи. Мусака. Козленок на углях, мадам! Рецина, мсье? Или вода? Высокая вода Греции — до метки на фасаде: здесь захлебнулись в горячем масле двое туристов, он и она. Вышли «за хлебом», но ушли ко дну, и там продолжая слышать: халкидики, пряный каламон! Лук, мадам, белый лук, как лед на солнце — в млечной капели сока!.. Синий штамп в кармане фартука, яростная хватка рук, дорожки пота в морщинах... Мадам? Мсье?..

Я видела его в пять утра, с балкона, он печатал шаг, как примкнувший штык постовой. Штык был невидим, но скреб густую от фонарей тьму — слева-направо, скреб, сбивая с ритма весь Париж. А я пила вино и, может быть, засыпала — до девяти, когда пора было пить кофе — под тот же скрежет внизу. В полдень нам повезло вернуться — прикрыл фургон. В три мы опять попались. В пять, в девять, в двенадцать — он был там всегда. И я его ненавидела.

Кто-то рассказал нам про блошинный рынок в Клиньянкуре, Сэнт-Уэн, легендарный и культовый, как лондонский Камден. Клиньянкур у черта на куличках, конечная станция метро. Но мы загорелись. По слухам, где-то там должна быть кофейня-стекляшка, где вечерами игрался лучший в Париже джаз — для посвященных. Раз в две недели, по субботам, в стекляшку навещался Азнавур — если верить слухам. Пил у окна паршивейший кофе и слушал. Вообще-то, кофе мог оказаться лучшим в Париже, а джаз — паршивейшим, но узнать это нам так и не довелось.

Мы не искали кофейню, не нашли и рынок. У метро, в стороне от высоток, начинался пустырь — с рядами Фиатов, похожих на «газели». Ряды уходили за горизонт — стальной арматурной решеткой. В фургонах сушилось белье, и дети возились, черноглазые дети цвета кофе всех сортов — от капучино до латте. Застенчивый шелудивый пес, приблудившийся на повороте, прокусил мне ботинок — до пальцев.

Мы вышли на остановку автобуса — все равно куда, лишь бы к центру. Париж — остров в арабском море, и здесь, на пяточке асфальта, его

дипмиссия. Размером с ковер. На скамейке под расписанием сидел зорба и был без фартука, но с портфелем. Толстый внук держал на шлейке ката и смотрел сквозь линзы очков — тоже толстые.

— Привет! — сказала я по-русски, чтобы что-нибудь сказать.

Они не встали навстречу автобусу. Пневматика схлопнувшихся за нами дверей отрезала скрипичный возглас — внук, оставив ката, играл. К ногам зорба бросил футляр от скрипки — для мелочи. И уже не вернулся на Грегуар де Тур.

Ночью ступились фонари, спальни были распахнуты. Париж дышал, восстанавливая ритм. Играл лучший в Париже джаз, пил паршивейший кофе Азнавур, и мой прокушенный ботинок в контейнере за домом, должно быть, подернулся плесенью. И что-то очень болело под ребрами. Любви не случилось, а разлука все-таки догнала и, сказав «привет» — по-русски, чтобы что-нибудь сказать, с улыбкой всадила нож. Под ребра.



Воскресным днем Сильвия сортировала старое шмотье: то, что еще можно было носить, — в полиэтиленовый мешок (пополнит контейнер «Ни о чем»), а то, что Барт, взясь по саду и дому, истрепалял вдрызг, скручивала калачом и швыряла в кучу на полу (выбросит потом в черную пластмассовую мусорку за садовым домиком). В эту кучу она кинула и заляпаные белой краской джинсы, но те, промазав мимо холма обреченности, с металлическим лязгом ударились о каменную плитку кухонного пола. Опять зажигалка осталась в кармане, досадовала Сильвия. Уж сколько раз перемалывало эти чикалки в стиральной машине, а иная и после того плевалась язычками огня.

Женщина нагнулась и прощупала карманы джинсов. Нет, на этот раз не зажигалка. Сильвия держала на ладони блямбу серого металла с привязанной к ней лентой в трех цветах бельгийского флага, похожей на мышинный хвостик. К круглой оловянной основе был припаян черный якорь, застрявший в корабельном штурвале, а над ним кривыми буквами значилось — *Grand Pardon*.

Как эта медаль «на память» (а именно ради нее данная нелепица и была сотворена) оказалась в кармане Бартовых штанов? — на миг удивилась Сильвия. Но, хорошо знакомая с мужниными привычками, быстро сообразила: он направлялся к мусорке — выбросить блямбу, но, окликнутый из-за ограды соседом, забыл. Ах, значит, все-таки... Женщина какое-то время не разгоняла противоречивые мысли, метавшиеся ласточками в ее голове, затем сунула находку обратно в карман джинсов, а сами штаны — в мешок. *Les petits riens*. Не так уж и заношены. Пусть кто-то вытянет сюрприз.

...

Ехать на тот парад прогулочных лодок в мелком городке, что шелудивым щенком жался к старшему брату, печально известному крысиным дерби да еще бюджетным авиасообщением, Барту нисколько не хотелось. Много лет отслужив в морской полиции, он этих лодочек и корабликов навидался до тошноты.

— Да ведь туда съедется показать себя вся наша буржуазия, — бухтел он, однако Сильвия, увидев пригласительный билет, адресованный полицейскому чиновнику на пенсии, не унималась. Она выросла у моря и в детстве читала захлеб повести Александра Грина. Правда, в те времена

элегантные яхты рисовались лишь в воображении, но запах смолы, плеск волн о борта рыбацких лодок и мечта о Зурбагане — то был уснувший на долгие годы гейзер, что вырвался теперь и взбурлил. Да еще настоящая буржуазия — до сих пор знакомая только из романов и книг по истории! Доморощенных мошенников с тугими кошельками Сильвия как прежде, так и сейчас относила к разделу вороватого люмпен-пролетариата.

— Хочу посмотреть на ваших буржуев! И пусть выделяются, отнесемся к этому как к представлению, — таков был аргумент Сильвии.

К тому же ей хотелось прорвать кольцо рутины *métro–boulot–dodo*, очень-очень — степенный секс на выходных после выпитой в постели чашки кофе, его, похоже, не слишком компенсировал. И Барт сдался — в конце концов, потом званым гостям обещана вечеринка, встретит кого-нибудь из бывших коллег, хлебнет пивка, словом, можем и съездить в этот Маршьен-у-моста-к-черту-на-кулички.

— Почему *Великий пардон*, кто там кого прощает и с какого тут боку прогулочные лодки? — хотела знать Сильвия.

— Ай, да посмотри в Википедии, не знаю, — пожал плечами Барт.

Сильвия посмотрела, но особо на прониклась, одно ясно — традиция пошла из Парижа: поминовение погибших моряков, освящение новых суденышек и лодок, ну и братание профессиональных мореходов с любителями. Вот оно: этот Маршьен, который у-черта-на-рогах, в чисто валлонском петушином стиле хочет допрыгнуть до Парижа. Наверное, Барт прав, будет провинциально и помпезно, но... все же очень хотелось, поскольку с утра предусмотрен парад — проход по реке на особом гостевом кораблике, за ним последуют остальные участники на своих плавсредствах, можно будет хорошенько всех разглядеть, пофотографировать. Сильвия мысленно уже укладывала маленький элегантный рюкзачок и выбирала наряд — белое льняное платье с темно-синей курткой и белыми мокасинами.

Ранний утренний час еще бодрил, но блики на солнце уже обещали к обеду жару. Сбор был назначен на автостоянке, где приглашенных, сполна достойных лодочного клуба граждан, ожидал автобус. Барт опасливо оглядывался вокруг, подыскивая надежное место своему вседорожнику: крысиный город, закопченный некогда приносившими богатство, нынче же закрытыми угольными шахтами, на сегодня мог похвастать разве что угонами автомобилей. Наконец, удовлетворенно крикнув, втиснул своего синего любимца между дородным мерседесом и спортивной версией бумера.

— Они будут моими гарантами, — ухмыльнулся Барт, хитрюга, западный фламандец.

Да, вот таков он и был, ее супруг, не какой-нибудь там бельгиец, не занудливый восточный фламандец, что скуп, как голландский домовладыка, а настоящий вест-флам из *Западного угла*. Ведь в тех краях испанская армада хорошо потрудилась в свое время, чтобы к голландской расчетливости и чопорности подмешать цыганских взрывных эмоций и остроты соленых шуток, что помогло тамошним людям выдержать вечное состояние «подходящего для боя поля». Выругаться, выпить пива, потискать подвернувшуюся деваху и начать все с начала — вспахать землю, построить дома, при случае пожить за чей-нибудь счет, особенно если это был не свой брат, бедный работяга, а господчик, все унаследовавший готовеньким.

Строго определить классовую принадлежность мужа для Сильвии было трудновато (ей, как истовой отличнице советской школы, и в голову не приходило, что таковой может и не быть). Барт вырос в деревне, в покосившейся халупе, где дети зимней ночью считали звезды сквозь щели в крыше, но отец вовсе не был землепашцем — он ладил станки на местной фабричке. Старший брат Барта успешно продолжил эту копотню с машинами, и, как выразился Барт, «когда заработал свой третий миллион, мы ему стали неинтересны».

Сильвия повидала Германа только раз — на собственной свадьбе. Из вежливости слушала, как он покровительственным тоном излагает, что бывал в Риге, что там у него филиал и хороший партнер по бизнесу, «латыш» Володя Куркинс. Приглашал погостить на своей вилле, стоит лишь позвонить... однако, когда Барт ему звонил, у супруги Германа всегда случалось то высокое давление, то еще какая-нибудь напасть, так что из братского визита ничего не вышло.

Зато младший брат, Йонас, был официально признанным психом-коммунистом. А именно, в ранней молодости он числился просто леваком с маоистским уклоном и даже дотелепал до Китая обмениваться опытом, однако инвалидность «на духовной почве» получил уже после того, как сковырнулся с крыши банка. Йонасу, электрику по профессии, там было поручено починить какую-то световую рекламу, он же не хотел упускать возможность и попытался заодно водрузить на цитадели буржуазии палку от метлы с красным флагом, посколькунулся и... схлопотал небольшую, но для скромной жизни достаточную пенсию и бесплатное жилье в социальном доме.

Барт иронизировал над «идеалами» как одного, так и другого брата, вот Сильвия и не могла понять, куда «приклассифицировать» своего кряжистого полицейского в отставке. Порой это вызывало ощущение неприкаянности.

Из кучки «буржуев», топтавшей у входа в автобус, выбрался тучный мужчина с форменной фуражкой на голове и, шустро вихляя низким шасси, устремился к новоприбывшим. «Оргкомитет идет», — пробормотала Сильвия на ухо мужу, в очередной раз забыв, что у них с Бартом нет общего прошлого на райской земле трудящихся.

Толстяк, угодливо представившийся «начальником столичного порта», потя и кланяясь, пригласил на посадку в автобус.

— Столичный порт — это где? — вырвалось у пораженной Сильвии.

— Э-э... — Квадратная физиономия покраснела, как у пойманного на лжи ребенка. — У канала, — почти оправдывался начальник.

— Ах, да, — Сильвия вспомнила, что действительно видела причаленные к берегу канала баржи, хотя первой ассоциацией с этой водной артерией на окраине города был искусственный пляж, который каждое лето обновляли, завозя грузы песка и деревянные ящики с пальмами на радость местному люду, чьи предки большей частью переселялись в сердце Европы из куда более жарких стран.

В автобусе Сильвия изучила попутчиков и удовлетворенно отметила, что выглядит одетой гораздо более соответствующе ожидаемому мероприятию. Куда ни глянь, сплошная бельгийская серость, разве что у кое-кого из мужчин — замшевые куртки, которые даже потертыми, залоснившимися местами продолжали намекать на солидную цену данного предмета одежды.

Почетных гостей довели до кустарника на городской окраине. Выйдя из автобуса, они под предводительством начальника порта друг за дружкой, как индейцы, по узкой тропе выбрались на берег бухты. У противоположного берега на не очень-то приятно пахнущей воде покачивалось несколько прогулочных лодок, а на этом берегу к мосткам был причален вместительный кораблик, по-военному окрашенный шаровой краской. Сильвия поняла, что это и есть тот прославленный лодочный клуб Маршьена-у-шут-знает-чего. Открылась бортовая калитка, и посадка могла начинаться. Парадом по-прежнему дирижировал тучный начальник порта, указывая, какой группе гостей дозволено взойти на борт. Самыми первыми, сопровождая в орлином полуприседе и талдыча «господин граф, госпожа графиня», к единственному

сиденьям на палубе он провел какого-то усача в клетчатом пиджаке и светлых бриджах, с довольно длинными седыми локонами, и его шуплую демуазель-иммортель в прозрачной косыночке на голове.

Сильвия сразу поняла, что порядок посадки обусловлен статусом гостей; они с Бартом оказались между слегка потрепанными деятелями местного управления и натянутыми, словно аршин проглотили, офицерами морского флота Фландрии, золоченым погонам которых были под стать тяжелые, в собачью цепь, золотые браслеты на запястьях их супруг.

— Я же говорил, моя жена очень высоко работает на Европу, — развеселился Барт, хорошо понимая, что не пенсионера-чиновника бельгийской морской полиции удостоили такой чести. Впрочем, он и не грешил против истины — пару месяцев назад отдел учреждения, в котором Сильвия занимала весьма скромную должность, перевели на последний, восемнадцатый этаж высотки.

Кораблик не то хрюкнул, не то зафырчал и принялся усердно взбивать воду. Вскоре он из бухты вышел в реку, и Сильвия приготовила мобильник к съемке. Но так и замерла с приподнятой рукой в ожидании подходящего кадра. Нет, она не была любительницей слащавой красоты, иногда безобразное казалось гораздо интереснее, но здесь... берега, поросшие закопченными кустами, горы какого-то щебня, а вот и извергающий эту копоть вулкан — местный завод в обличье железобетонного куба. Окрестность была... никакой. Или же подобной рижскому спальному району — этакий Зиешниккалнс.

Разочаровавшись в пейзаже, Сильвия перевела свое внимание на попутчиков, те и впрямь были более вдохновляющими. Граф, пружиня в коленях, разгуливал по палубе с по-петушину задранном горбатым носом и то и дело отпускал замечания в адрес «оргкомитета». До слуха Сильвии донесся примерно такой текст — «люди помирают от жажды, не пора ли вышибить пробку-другую». Стало смешно — ей вспомнилось, как много лет назад после спуска на катамаранах по реке Огре они с друзьями втиснулись в переполненный деревенский автобус, где при полном отсутствии воздуха покорное молчание советской публики прервал тогда молодой, но теперь уже знаменитый поэт, проорав со своим заиканием из дальнего конца автобуса: «А-а-к-кно откройте, т-т-трудящиеся з-з-задыхаются!»

Графиня сидела в одиночестве и смущенно улыбалась, было похоже, что она не прочь поболтать с экзотической гостьей из *Lettonie*, но Сильвия

панически боялась опростоволоситься со своим корявым французским и делала вид, что ничего не замечает. Она даже покраснела, припомнив, как после окончания курсов именно ее для беседы с «народом» во французском посольстве выбрала госпожа посол. Сильвия не понимала ни слова: читать по-французски она могла, но воспринимать на слух — упаси бог, нет. Стояла, держа в пальцах огромную клубничину, которую облепил шоколадом сам Мартынь Ритынь, и глупо улыбалась. К счастью, хозяйка приема неловкую ситуацию оценила довольно скоро и, трижды пожелав «куража», оставила ее в покое.

Графский глас вопиющего в пустыне был услышан, запахло жареным сыром и послышались возбуждающие хлопки пробок. Гостям предлагали пиццу и терпкое вино или пиво в пластмассовых стаканчиках. Разговоры стали шумливее, супруги фламандских офицеров перестали шушукаться на тему серости валлонских *mesdames*, а последние снисходительно аристократическими взглядами простили фламандкам вульгарную демонстрацию богатства. Спустя некоторое время граф уже предстал в гораздо более благодушном настроении с откупоренной бутылкой пива в кармане исконно британского пиджака. Сильвия вздохнула с облегчением — мероприятие больше не казалось столь безнадежным.

И тут произошло то, чему ей вовек не найти приемлемого объяснения. Прежде чем демократически принять кусок пиццы на белой бумажной салфетке, графиня повернула все четыре перстня на правой руке камнями внутрь ладони. Первой мыслью было — чтобы не запачкать. Но это же абсурд — масло от пиццы гораздо меньше угрожало драгоценным камням на внешней стороне кисти. Сильвия решила придерживаться временной версии, мол, графиня сочла недопустимым протягивать за плебейской снедью руку, на которой сияют бриллианты.

Последовало прохождение шлюзов — весьма занимательный процесс, когда кораблик вместе с водой то поднимался, то опускался вниз. И вот начальник столичного порта, видимо, опасавшийся, как бы гости не заскучали, выйдя на середину палубы, громогласно объявил, что «они» вот-вот появятся. Не успела Сильвия спросить у Барта, кто такие «они», как сама увидела — под звуки музыки, с бьющимися на ветру разноцветными флажками, к гостевому кораблику приближался караван участников парада. Тут уж было что поснимать! И благородно-белые, как лебеди, и серенькие, но юркие, как озорные рыбешки, плавсредства, оснащенные

в соответствии с толщиной кошелька владельца мебелью тикового дерева либо пластиковой, серебряными рындами либо латунными, — скользили, взрывая брызги воды. На некоторых палубах подобно хладнокровным, хорошо выдрессированным сфинксам возлегли четвероногие друзья гордых хозяев. Звучали аплодисменты, поздравления и, разумеется, хлопki пробок. В завершение тяжеловесной акулой прошумела «английская плоскодонка», баржа с низкой крышей.

Кавалькада лихо влилась в миниатюрный порт городка. Первое, что бросилось Сильвии в глаза, был brocante на набережной. Нет, никаких антикварных чудес — даже издали можно было разглядеть, что торгуют в основном до прозрачности отстиранными детскими одежками и всяческой пластмассовой дребеденью яркой окраски. От одной кучи шмотья к другой бродили, точно вороны по свалке, женщины с замотанными в черное головами, волоча за собой детей, хнычущих по приглянувшейся игрушке, либо толкая коляски с орущими еще отчаяннее младенцами.

Когда «флагман» стал швартоваться к берегу, послышалось, будто сморкается некое сверхъестественное чудище, однако на самом деле свое усердие выказал местный самодеятельный духовой оркестр. С моста, прислонив велосипеды к перилам, глазела на прибывших парочка мальчишек. Матери в черных платках даже головы не повернули в сторону причального перрона, как если бы парад увеселительных лодок был крайне неприметен, вроде неизменного трамвая, что, громыхая, будто привязанная к собачьему хвосту жестянка, в тот миг тащилась по мосту с неровным булыжным покрытием. Как ни в чем не бывало перебирали предметы одежды, что-то покупали и совали в пластиковые пакеты с логотипами супермаркетов.

— Этот Grand Pardon они устраивают уже годами, всегда одно и то же, людям обрыдло, — позднее пытался объяснить Барт, так и не убедив Сильвию. Наверняка это подчеркнутое безразличие имело другую причину. В тот момент оно клубилось в жарком летнем воздухе словно мельчайшие капельки тумана, пока еще неуловимо, потому что не конденсировалось в полный смертельной ненависти заряд, который взорвется лишь через несколько лет.

Одуревших от духовой музыки ВИП-персон составили в колонну уже два портовых начальника (к столичному жуку присоединились внушительное пивное брюхо и вислые усы — маршьянский коллега со свитой). Шествие возглавила особа в чересчур узкой юбке, в туфлях на низком

каблуке, с застывшим на лице сверхсерьезным сознанием собственной важности. В высоко поднятой руке она держала факел, пламя которого было едва различимо на ярком солнце. «Сельский парторг», — фыркнула про себя Сильвия, на сей раз даже не пытаясь поделиться этой оценкой с мужем. Она отчетливо видела, что Барт беззлобно ухмыляется. Сильвия заподозрила, что он посмеивается не над помпезными потугами на торжество, а над возжелавшей буржуазных развлечений женой.

— Собственно, что здесь происходит, куда мы идем? — в тоне Сильвии уже звучало раздражение.

— Небось, к памятнику какому-нибудь, — обреченно ответил Барт голосом человека, давно (не менее получаса) не получавшего пива.

За спинами впереди идущих ничего нельзя было разглядеть. Процессия остановилась, донеслось какое-то бормотание, наверное, это была речь — к счастью, довольно короткая, потому что солнце припекало со всей жестокостью часа, уже перевалившего за полдень. Когда толпа рассеялась, Сильвия увидела заржавелый якорь на нелепо перекошенном цементном основании — при хорошем воображении в нем можно было угадать отчаянную попытку изобразить волну.

Отключив мясистый зад и отирая пот, столичный начальник порта раздавал программки мероприятия, каждому напоминая, что праздничное застолье начнется ровно в шесть вечера, но гостям не следует являться в последний момент, так как предстоит регистрация. До трапезы задумывалось открытие в местной библиотеке выставки живописи морской тематики.

Тощий ломтик пиццы не утолил голода, поэтому Сильвия и Барт решили прежде всего разыскать какую-нибудь едальню. Убедившись, что в ближайшем баре, где за, возможно, единственным на тот день стаканом пива торчат, жуя усы, несколько мужчин, на себе изведавших хозяйственный упадок городка, ничего кроме чипсов не получишь, они пошли дальше. На другой стороне улицы заметили кебабную. Там все было из пластмассы: столы, стулья, вилки... возможно, и сами кебабы, однако время поджимало — искать чего-нибудь получше было некогда. Стоявший за стойкой марокканец смотрел на вошедших, сдвинув брови не то удивленно, не то настороженно, однако обслужил быстро, и овощи с котлетинкой, завернутые в подобие лепешки, вполне пришлись «бледнолицым» по вкусу.

Снова выйдя на улицу, они стали озиаться в поисках библиотеки. Увидели тут же невдалеке единственное многоэтажное здание и верно рассудили, что это она самая и есть. У развилки двух улиц между рукавами образовался островок, на котором во имя порядка следовало обождать, пока не загорится зеленый, хотя особо мощный транспортный поток не наблюдался. На небольшую заасфальтированную площадку измудрились водрузить кирпичное строение с обкрошившимися стенами и частью выбитыми, частью испещренными граффити стеклянными дверьми, возле которых прямо на земле сидел с полузакрытыми глазами худой чернокожий парень. Рядом валялся шприц. Покосившееся «М» на верхушке стального столба утверждало, что тут вход в метро. Обитатели городка, дорожившие жизнью, скорее всего, перемещались на своих двоих, поскольку никого, кто входил бы в двери станции обещанного подземного транспорта или выходил из них, видно не было.

Предчувствие Сильвии, что хваленая выставка будет манифестацией набившего оскомину дилетантизма, безошибочно подтвердилось. Снова говорились речи, звучали аплодисменты.

— Лучше пойдем осмотрим библиотеку, — предложила она, и совершенно равнодушный к искусствам Барт согласился.

Само здание оказалось стоящим осмотра — резьба по дереву и роспись потолков, массивные каминные устья, забитыми картонными щитами. Правда, все сильно обшарпано, и в воздухе подобно моли витал дух учреждений социальной помощи — старые бумаги, дезинфекция, поношенная одежда. Сквозь окно можно было видеть то, что прежде, вероятно, являлось розарием в стиле ар-деко. Сад зарос сорняками, бордюры клумб полуразрушены. Подернутые мхом каменные вазы напоминали кулаки, рвущиеся наружу из разложения. Конечно, в такое время, когда даже знаменитые римские кошки по большей части съедены, было бы бестактным упрекать за бедность. Но вот за лень и равнодушие — да.

— Все, что требуется такому небольшому саду, — это пара субботников, — негодовала Сильвия, выйдя на террасу через роскошную дверь, украшенную латунной чеканкой. Перебираясь с одной сколотой плиты дорожки на другую, она с жалостью глядела, как на последнем дыхании цепляются за жизнь измученные болезнями и вредителями розы.

Уже смеркалось, и заметно побагровевший начальник столичного порта, обдавая приторным винным духом, торопил всех в здание торжеств по

ту сторону порта, которое оказалось значительно большим, чем выглядело поначалу. И неосвященным.

В железобетонном павильоне они прежде всего встали в очередь к сдвинутому столу, за который для регистрации гостей усадили двух обесцвеченных блондинок с одинаково отросшими черными корнями, одинаково облупившимся лаком на ногтях и одинаково неумелым обращением с листами списка.

— Мы непременно должны быть в числе приглашенных, — дрожащим голосом настаивала старая дамочка, стоявшая перед ними. Сильвия узнала графиню. А вот и граф, тут же рядом — расхаживает вокруг со вздернутым носом, словно ему нет никакого дела до этих формальностей. Подбежал тучный портовый активист, по-прежнему в форменной фуражке, и возбужденно стал выговаривать одной из блондинок — Сильвия поняла, что аристократическую чету девушка искала в алфавитном списке по титулу, а надо было по фамилии. «Бизу, Жан-Филипп с супругой», — скосив взгляд через плечо графини, прочла Сильвия.

Зарегистрированным гостям выдавали... хм-м, круглые металлические номерки из гардероба. С пояснением, что по ним каждый сможет найти свое место за столом и получить еду. Напитки же следует приобретать в баре самим, на столе будут только бутылки с водой.

— Ну, надолго мы тут не задержимся, — разочарованно пробурчал Барт.

В зале гремела музыка, многие уже сидели за длинными столами, другие бродили, отыскивая отведенные им места. Музыка время от времени прерывалась, и голос в микрофоне называл очередные десять номеров, которые могли отправиться по деликатесы, что, источая соблазнительные ароматы, красовались на прилавках в обоих концах зала. Получив свою долю благ, Сильвия и Барт сели, подкрепились, обменялись несколькими стандартными для незнакомых фразами с соседями справа и слева. Барт, обещав жене принести выпить чего-либо покрепче, вскоре исчез — с другого конца зала, где находилась барная стойка, ему бурно махали трое молодцеватых морских полицейских, которые уже обзавелись полными стаканами пива.

Сильвия скучающе осматривалась вокруг и из вежливости улыбнулась плечистому мужчине с седыми висками, который сидел напротив и поглядывал на женщину робко, но в то же время достаточно упорно. Он

что-то произнес, но Сильвия не расслышала, так как именно в этот миг микрофон резанул по ушам присутствующих ультразвуком, затем крякнул, и последовала очередная речь под соусом аплодисментов. Вручались награды — за что именно, толком не разобрать, однако в числе удостоенных был и сидевший по ту сторону стола.

— Моя подруга заслуживает и кой-чего получше, другой такой здесь нет, — женщина с иронической полуулыбкой вертел в пальцах сероватый кусок металла. И — подумать только — говорил на чистом английском языке. Сильвия сразу сообразила, что подруга — вовсе не существо женского пола.

— Которая же ваша? — спросила она.

Всего-навсего памятной медалью была, как оказалось, оценена внушительная плоскодонка, в свое время доставленная сюда сухопутным транспортом с севера Англии. Мужчина представился как Николас, признался, что он шотландец (*Scottish* — не по своей вине, таковым уродился) и женат (в этом-то сам повинен), хотя жену почти не видит: у нее постоянно миссии, заседания и встречи, а он в основном на какой-нибудь реке, раскатывает туда-сюда, иногда участвуя в подвернувшемся параде. Голос, приятный баритон, и несколько жесткие черты лица, контрастировавшие с грустным, почти нежным взглядом, казались Сильвии очень знакомыми. Да, ну конечно. Именно такими представлялись в ее воображении мореплаватели — герои прочитанных в детстве книг.

Подошел Барт с обещанным жене бокалом вина, бросил слегка подозрительный взгляд на шотландца-корабельщика, покрутился у стола, но вскоре снова удалился. От музыкально-голосовой какофонии у Сильвии начала пухнуть голова. Мысленно прикинув число выпитых Бартом бокалов пива, она твердо решила, что пора отправляться домой.

— Может, потанцуем? — пригласил Николас. — Как раз добрались до наших молодых лет.

Сильвия только сейчас сообразила, что выкрикиваемые диджеем «пятдесят», «шестьдесят» были объявлением, в какие десятилетия прошлого века исполнялась предлагаемая музыка. И хотелось, и не хотелось принять приглашение. Надоело сидеть в бездействии, пока Барт там базарит с бывшими коллегами. Но как-то щемило... словно она собирается сделать что-то недозволенное. Глупости. Если собственный муж такой недотепа, отчего бы не станцевать с приятным партнером?

И так они заскользили по отведенному под танцы пяточку между рядами столов. Твидовый пиджак мужчины пахнул коньяком и землей. Сильвия была напряжена. Невесть отчего в мыслях складывалась картина: она, низко пригнувшись, спускается по узкой лесенке плоскодонки, какота, должно быть, совсем крохотная... Женщина мотнула головой, но воображение не отступало — как прилипчивая мелодия, которую напеваешь волей-неволей, как согнанная муха, которая лезет еще настырней. Что-то здесь было неуместным. Не совпадало с запланированным наблюдением за развлечениями буржуазии. Ощущение было как в детстве на ледяной горке — боязно скатываться, но одна нога уже скользит. Мальчишки за спиной толкаются, зло берет, но почти хочется, чтобы спихнули, а там видно будет, что получится.

Словно прочитав ее мысли, Николас спросил, не желает ли «Сильви» осмотреть его скромную лодку. В это же время Бетт Мидлер сочным голосом утверждала, что любовь существует лишь *for those lucky and those strong*. У Сильвии закружилась голова. Но внутренний контроль не подвел. Быстро опомнившись, женщина осторожно, но решительно отстранилась от широкой груди партнера. Это она за свою жизнь прекрасно отработала: сунуть кончики пальцев в лужу, представить себе черные брызги, а потом спокойно продолжить путь — белой, как девица из народной песни.

Барт уже стоял возле их стульев и, что странно, изъявил готовность тотчас ехать домой. Николас полез рукой в карман пиджака и достал медаль. — Возьмите, пусть останется на память.

Взгляды мужчин столкнулись со звоном, словно лезвия мечей, и... оба мило раскланялись. Металлический кружок Сильвия спрятала в сумочку.

Темнота позднего лета была густой и теплой. Единственный источник света — полная луна, скупое метнувшая горсть лучей на дощатую дорожку вдоль мола. Еле угадываемые лодки и суденышки, временами вздрагивающие под легким ветерком, призрачно колыхались, лениво позвякивая якорными цепями. Вдали на фоне неба вставали еще более темные силуэты — не то башни, не то заводские корпуса. Черные, вздыбившие спину коты — железные мосты — выгибались над портовым каналом. Немного жутковато, но глубоко загнанной в подполье художественной душе Сильвии все это доставляло захватывающее волнение. «Какие клипы здесь можно было бы снимать», — подумала она, тем не менее крепче ухватившись за жесткую руку Барта.

Из четырех фонарей автостоянки три не выполняли возложенных на них обязанностей. У двух наверху остались только металлические дуги — будто шеи гигантских лебедей без голов, а третий под черными небесами все еще лил укоряющие слезы стеклянных осколков.

Бумер уже смылся, оставив левый бок джипа незащищенным.

— Godverdomme! — взревел Барт.

Отпирая своего любимца, он нащупал царапины. Сеть насечек тянулась наискосок чуть ли не через всю переднюю дверцу.

На обратном пути Барт был непривычно молчалив. Владелец плоскодонки не упоминался. Зато дома ночь выдалась волшебной бурной, смывая под кровать все дурацкие фантазии.

На следующее утро, выпив утренний кофе в добром согласии после ночных приятств, супруги отправились каждый по своим делам. Сильвия — к компьютеру: не терпелось поспрашивать у доброго дядюшки Гугла, с какими аристократами проводила время. Долго искать не пришлось: черным по белому сообщалось, что Жан-Филипп Бизу и его супруга Мари-Жанна — спонсоры Маршьенского лодочного клуба. В их владении — предприятие замороженных пищевых полуфабрикатов, а также четыре спортивных лодки, что вроде как стартуют с большим успехом. Ни слова о «графстве». Видимо, титул был приобретен недавно и еще не занесен на сайт. Эй, да как же это без цимеса, иронически вздохнула Сильвия.

Памятную медаль она положила на книжную полку среди шишек римских пиний, здорово озадаченная своим вчерашним смятением.

Барт приоткрыл дверь и звал, пускай и жена придет глянуть на раны, причиненные дражайшему джипу. Выйдя в садовую калитку, Сильвия обогнула автомобиль и замерла.

Путаные, словно хрупкой, дрожащей паучьей лапкой нанесенные на дверь предмета семейной гордости буквы возвещали: *Les cochons de bourgeoisie*.

Перевели с латышского Виола Ругайс и Янис Грантс

ИИ — что за зверь?

Искусственный интеллект (далее — ИИ) уже довольно давно присутствует во всех сферах деятельности, и редко какой активный пользователь не сталкивался с несносными виртуальными ассистентками Сири или Алисой, не способными, как правило, к какому-то внятному ответу, либо же не задействовал какой-нибудь умный бытовой гаджет. Но на этот раз речь не о танцующих роботах, криптовалютах или говорящих лифтах, а об ИИ в области изобразительных искусств и его месте в контексте культуры. Визуальный ИИ — далеко не мальчик. Помню, пару лет назад в Сети шелестела шокирующая новость: сгенерированные ИИ картинки котов невозможно отличить от фото реальных пушистиков. И я расшаривала эту ужасную весть от всадника Апокалипсиса, да что поделать — *Матрица* ждет.

Оказалось, однако, то были лишь цветочки. Многие платформы и приложения с того дня уже внедрили свои формулы ИИ, так что рядовой пользователь, введя всего несколько слов — «собака, рассвет, счастливый», спустя секунду-другую может обрести свое личное произведение искусства. Ура, вешай на стенку, показывай всем родным и близким и назови себя художником! Правда? Одним дождливым днем после обеда я тоже решила проверить это заявление и скачала на телефон приложение Photoleap, которое ровно так и работает — введя ключевые фразы по теме моего нового романа, получила ни много ни мало такую абстрактную вещицу, что не посрамила бы тринадцатилетнего адепта готического стиля.

Зато в моей ленте ФБ, где обитают многие представители творческих профессий, в последнее время регулярно всплывали куда как более качественные образцы искусства ИИ, будившие уже и эмоции, и восхищение. Недавно в этой сфере случилось нечто — кое-что посерьезнее «собаки, рассвета, счастливой». Ну и я решила углубиться в тему, занявшись более профессиональными платформами ИИ. Таковых на сегодня хватает — DALL-E 2, Deep Dream Generator, Stable Diffusion и еще, и еще, но самой горячей плюшкой — которую успели окрестить «эффектом эврики» в ИИ-искусстве — стала выпущенная в 2022 году нейросеть Midjourney; созданные в ней работы чаще других возникали на моем цифровом горизонте.

Любит ли *Midjourney* маленьких поросят — и если да, то как?

Программа хитро вшита в социальную сеть Discord, позволяющую не только творить ИИ-искусство, но и вести чаты, каналы, видеть технические решения других пользователей, дискутировать в виртуальных комнатах Midjourney и много чего еще. Начать с ней работу потруднее, чем с более простыми приложениями, но затем усилия щедро вознаграждаются попаданием в сообщество или в экосистему пользователей. И это самое главное, поскольку чтение инструкции и списка необходимых команд умения не прибавит: как-никак речь-то об искусстве, не о режимах кухонного комбайна. Так что будь добр пожаловать в улей, где мы — рабочие пчелы, а сама Midjourney — пчелиная матка, кладущая миллионы цифровых яиц. Таким образом программа припахивает пользователей сообщества как тестирущиков (те еще и приплачивают за это), улучшая сама себя. Обучается ИИ — обучаемся и мы, друг у друга. Без сообщества такое творчество невозможно, как и сообщество — без творчества. Но об этом после.

282

Быстро вписав «собаку, рассвет, счастливого» в так называемую *подсказку* (prompt), я достигла примерно того же результата, на пять примерно копеек лучше предыдущего. На заданную тему бот генерирует четыре изображения, так называемую родительскую сетку (parent grid); любое из них можно увеличить или велеть боту их проварьировать. Интересно, типа компьютерная игрушка. Но где же то почти катарсическое, выносящее мозг искусство ИИ, каким забит интернет?

Ну, я и приступила к изучению программирования искусства, каковое постигают лишь методом проб и ошибок, передирая то, что делают другие. Да, еще командой /ask можно у самого бота узнать значение технических параметров. Я быстро столкнулась с проблемой: образы меня не слушаются, а чтобы дать команду искусственному интеллекту, нужно применить специфическую логику, которую защитники концепции креативности ИИ называют пользовательскими *навыками*. Частью эта логика скрыта в базовых образах, которые нейросеть именует архетипами (пользователям предлагается расширить кругозор и прочесть хотя бы в Википедии о юнгианских архетипах — мило!). Всякий архетип — будь то солнце, человек или оса — обладает заданной базой, если мы хотим ее расширить, архетип надо «взломать». К примеру, нет такого архетипа, как стеклянный якорь.

Хочешь иметь соответствующее изображение, пиши в подсказке «стеклянная скульптура в виде якоря». Бот также не понимает обобщающих и как бы уточняющих (по мнению человека) команд, например, «толстый мужчина и женщина в берете» — обоих он сгенерирует толстяками в беретах. Читая это, профессиональный программист наверняка посмеется моим мучениям, но ведь все случается впервые.

Впрочем, это всё по технической части, где же искусство — искусство? В какой момент случается искусство?

Тютелька-в-тютельку

Чтобы генерировать искусство, мало усвоить технику процесса, необходим подход творческий. Креативность: как превратить текст в образ. На ум приходит роман Алессандро Барикко «Мистер Гвин»; там писатель в творческом кризисе решает писать портреты — всем клиентам по соответствующему эссе, для чего продельывает в своей студии ряд сложных операций. Устанавливает необычные светильники, тщательно подбирает музыку, беседует с клиентами, пока не достигнет с каждым из описываемых особого контакта. В романе воплотилась мечта человечества, одна из — создать с помощью слова картину, словообраз. И вот описанная в книге жажда по невозможному якобы межжанровому продукту утолена, и сему факту даже дано имя — text-to-image-generation (описание-в-изображение). Данный концепт анализирует в своем исследовании Йонас Оппенлендер, специалист в области взаимодействия человека и компьютера (HCI) и человекоцентричных вычислений (HCC) из Университета Ювяскюля (Финляндия), пытаясь ответить на вопрос: является ли ИИ-визуализация творчеством?

В поисках ответа исследователь выделяет два метода определения креативности.

Первый — принятая обществом модель Михая Чиксентмихайи, в которой продукт считается «творческим», если а) человек создает новый, уникальный продукт; б) за ним признается социокультурное значение со стороны так называемых «привратников» (gatekeepers). Тут — территория спора, ведь творчество, скажем так, рождается в умах людей; человек может создать что-либо индивидуально значимое и важное, но при чем тут какие-то швейцары? В академической традиции это называется «малое

творчество» (все, кто сочинил для себя и своих друзей «важное» стихотворение, не гневьтесь!). Ему противопоставляется «большое творчество» — произведение, получившее, скажем, Нобелевскую премию.

Вторая модель определения креативности, легшая в основу теории Йонаса Опшенландера, — это концепция «четырех П» Джеймса Мелвина Роудса, обуславливающих творчество: персона (тот, кто творит), процесс, пресс (давление или влияние окружающей среды) и наконец продукт. Ключом к собственно творчеству исследователю видятся именно срединные факторы — пресс и процесс, задающие как появление и внутреннюю взаимосвязь новой экосистемы — виртуального сообщества, так и (чисто технически) написание подсказок и отбор удачных изображений из родительской сетки — т. е. формирование тотально новых навыков. Анализ художественного процесса выходит здесь на поля таких академических исследований, как HCI и HCS; резюмируя, психолог пытается уменьшить роль «привратников» от искусства в признании креативности.

До сих пор было ясно: ИИ-среда не лишена творческой составляющей. Читая же исследование, я поняла: хоть оно и недавно опубликовано, в ноябре 2022 года, его поезд ушел. Автор ссылается на третью версию Midjourney, в то время как уже активна четвертая, а в двери стучится пятая. Это — проблема попыток анализа, интерпретаций и классификаций поведения ИИ. Не успеют чернила высохнуть на манжете, как искусственный интеллект уже на три шага впереди.

Планы на будущее у самих создателей Midjourney идут далеко: в ближайшие пару лет оптимизировать предлагаемое качество визуального образа (в каждую версию включается все больше параметров — если в предыдущей ради создания сколько-нибудь вменяемого изображения приходилось печатать в подсказке едва ли не целое эссе, теперь достаточно сослаться на определенный стиль и — картинка готова; иными словами, пользователь не обязан быть слишком умным, ведь за него уже все написано), включая 3D-графику, заодно исправив прочие недостатки. Главный сейчас состоит в том, что сложно оперировать уже созданным образом, его репродуцируя, что важно для иллюстрированных посланий. Программа каждый раз генерирует новую комбинацию пикселей, и даже после одной и той же «подсказки» всякий раз следует иной результат. (Этот недостаток позволил книжным иллюстраторам выдохнуть и не искать до поры до времени новую работу.)

Вдобавок пора избавиться от кое-каких визуальных дефектов — нельзя вписать текст и, несмотря на все старания умных инженеров, ИИ так и не научился рисовать руки, у всех его моделей зачастую по шесть и более пальцев. А ведь именно рисование ладони считается одним из высших проявлений мастерства и во многих художественных школах требуется на вступительных экзаменах. Далее разработчики планируют перейти к видео, а конечный результат их труда позволит пользователям создавать полноценные фильмы. «Вот увидите, в 2030 году вас ожидает новый мир!» — возгласил представитель платформы в виртуальной дискуссионной комнате Midjourney. Что касается видео, то амбиции этой цифровой среды понятны, ведь именно видео — самая мощная форма нарратива, и, похоже, так будет всегда. Никакой гениально сгенерированный образ драко-змее-пухо-зайца не наберет просмотров больше, чем видео подрастающего, умеющего задницей раздавить яблоко.

(Совершенная видеотехника доступна любому — что ж, выходит, новый мир утонет в дипфейках?)

В настоящий момент организуются встречи членов сообщества вживую, так сказать, IRL (in real life) — две из них в Сан-Франциско и Токио. Ох, счастливицы, посетившие их и сумевшие прикоснуться к рождению будущего мира!.. Помните, когда только зарождался Твиттер, в Риге тоже проводились такие вечеринки — в те годы для особо продвинутых и элитных, въехавших, что это за чудо в сите — люди тусовались с налепленными на свитера юзернеймами? На цифровой платформе сообщества происходят коллективные действия, мало чем отличающиеся от деятельности других, а-ля творческих, соцсетей: челленджи дня, где пользователи, отмечая их хештегами, стремятся быть замеченными, подгруппы, форумы, коллекционирование друзей и т. д. и т. п.

Гэги и Змеи-Горынычи

И снова здравствуйте — как же искусство, где оно? Искусства — куча. Целая куча. Целая куча-мала — человечество, пережив бум sms, TikTok, Twitch, Clubhouse, новостных каналов, социальных сетей и прочих цифровых воплощений, теперь окунулось в море визуального искусства. Первое впечатление от подключения к одному из пользовательских каналов — обожемой (OMG)! Чего только люди не творят; возможности,

предоставляемые программой, безграничны, и человеческий разум, освободив кисть руки от наложенных на нее ограничений, может, наконец, свободно выразить себя. А спустя время понимаешь, что тем вообще-то не так и много, а если ты уже сам обрел каплю навыков художественного программирования, то не нужно быть гением, чтобы сделать качественное, заставляющее задуматься изображение. Пользователи в основном пытаются создать персонажей в стиле *fantasy* — драконов, принцесс, эльфов, гномов и рыцарей. Казалось бы, друзья, ну сколько можно, их столько в последнее время наплодили! А ничего подобного, какие нарративы ни прививай коллективному сознанию, люди всему на свете предпочтут сказки.

Вторую строчку прочно заняли элементы поп-культуры, особенно кино. Что выйдет, если Уэс Андерсон (Wes Anderson) срежиссирует «Звездные войны»? Бесчисленные версии и адаптации «Властелина колец» — туда же. Не забыт и альтернативный жанр — к примеру, среди инженеров ИИ весьма популярна адаптация культового фильма Алехандро Ходоровски «Святая гора». Похоже, у нас вовсе нет других тем, кроме «Звездных войн» и «Святой горы»! Можно ли в наше время что-либо создать, ничего не цитируя? Не повторяя, не стилизуя? Существует ли вообще что-то новое? Ведь *тысячелетие давно на дворе*, а Ролан Барт еще в 1967 году объявил о «смерти автора». А что обо всем этом скажали бы остальные постструктуралисты? Семиотики? Бодрийяр с его симулякром? Чтобы оценить работу ИИ с точки зрения философии, нужна поддержка всей академической рати, но к тому времени, как эти доктора наук въедут и объездят все конгрессы, ИИ наштампует новые *тренды* и тенденции.

Но продолжу — о творчестве пользователей или промпт-инженеров. Третье место у жанра, который я обозначу как «гэги»: Иисус ест пиццу, Ницше на рейв-вечеринке, Платон играет в баскетбол с Аристотелем. Один из самых популярных гэгов — изображение знаменитой встречи рук Бога и человека с картины Микеланджело «Сотворение Адама» с шести- или восьмипальными руками. Творчество? Искусство? Новый, уникальный продукт? А как насчет процесса и навыков? Сами представители Midjourney тотчас заявляют в своем *root*'е, что не берутся обсуждать вопросы «что есть искусство» и «что есть креативность», видя в себе лишь «ассистентов воображения». Речь о воображении, мои дорогие пчелки,

просто о воображении. «Большой вопрос» — что такое искусство — хоть и колыхнет эфир, то есть каждый пиксель, на повестке дня не стоит.

Далее идут селфи — я на Эвересте; я с Брэдом Питтом (интересно, что знаменитости только *напоминают* самих себя, типа Бред Питт, но это однозначно фейк, который никто не примет за прототипа — умнó!); я в костюме супермена со звездными лучами из глаз. Для тех, кто сомневается — это не моя придумка, ровно такое изображение из своей коллекции открыток в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) продал Дональд Трамп, заработав четыре с половиной миллиона, что круче распространения любого наркотика. Интересно, что деньги эти он положил не в казну Республиканской партии, а в собственный карман — на личные цели. Творец!

Далее следуют всевозможные проявления искусства (инженерии подсказок, стало быть) — транс, антиутопия, ретрофутуризм, стимпанк, трансгуманизм, фотореализм: назови хоть горшком... (you name it!). В конечном счете, если днями подряд вглядываться в этот калейдоскоп изображений, все начинает повторяться — те же киберпанки в инфракрасной фотографии, те же принцессы в городах-антиутопиях будущего, та же «Святая гора», снова Микеланджело, восемь пальцев тянутся к руке Бога, вновь грибы, множество грибов, да, они особенно ценятся, опять Дэвид Боуи. В этой инфомассе я — по своим критериям (хотя что я за мудрый судия такой?) — заметила хорошо если 1 процент того, что заслуживало звания искусства — и создан был этот процент людьми, являвшимися профессионалами: художниками/дизайнерами/фотографами/писателями, нередко даже в одном флаконе.

Сюрприз?

Права и скандалы

А ведь понятно, что долю талантливых и умных людей на земном шаре никакими супертехнологиями не увеличишь. Как же быть тем, чьим занятиям угрожает данный вид искусства? Многие художники уже вышли, я бы сказала, на улицы (т. е. в социальные сети и на платформы художников) с плакатами *НЕТ ИИ! ИИ — НЕ ИСКУССТВО!* — и требуют закрытия программ ИИ. Сделать это ну никак нельзя, поскольку Midjourney защитила свои права лицензией *sui generis* (как *единственную в своем*

роде), ссылаясь на Директиву 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране баз данных» (11 марта 1996) — права «уникальных» баз данных закреплены также и в «Законе об авторском праве» Латвии.

Опасения художников оправданы: конкурс цифрового искусства штата Колорадо в 2022 году выиграло изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Представляя работу, участник честно заявил, что сгенерировал ее с помощью нейросети. Члены жюри конкурса не поняли, что это значит, но позже заявили, что даже знай они о «вкладе» ИИ в работу, все равно вручили бы премию этому художнику. И еще в 2022 году вышла первая детская книга «Алиса и Искорка» (Alice and Sparkle), проиллюстрированная с помощью ИИ — художник оформил ее за один уикенд, впрочем, активно обсуждая процесс в сообществе.

С другой стороны, новоиспеченные ИИ-художники винят «настоящих» художников в контроле (stop gatekeeping!), требуя стереть существующие границы искусства. Искусство должно быть свободным, нынешние определения творчества пора отменить, пусть правит разум, а не рука! Для защиты своих работ энтузиасты нейросети изобрели новое понятие — синтографию. Сопоставим с фотографией — та, едва зародившись, встретила горячий отпор со стороны живописцев: кто теперь станет заказывать портреты и пейзажи, если достаточно нажать кнопку на аппарате (в те годы — отщелкнуть крышку объектива)? Но, достойные привратники, искусство никуда не делось, народ по-прежнему пишет и рисует, а может, даже больше, чем ранее. И вспомним — с появлением письменности слышались жалобы на то, что запись слов ухудшит память.

Другой, напрямую связанный с Midjourney скандалчик, разгорелся совсем недавно, когда по сети прошла новость, что программа якобы украла авторское искусство — без согласования включив работы в свою базу данных. Углубившись в юридический контекст проблемы, видим: в условиях использования Midjourney указано, что нейросеть основана на адаптированных произведениях — но право на адаптацию для баз данных защищено 5-й статьей директивы уже упомянутого ЕС/С. Также в условия использования программы есть ссылка на Закон (1998) об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA = Digital Millenium Copyright Act), который вроде как позволяет авторам отзываться свои работы. Чего, вероятно, до сих не случилось, ведь база данных оперирует шестьюстами пятьюдесятью

миллионами изображений (к моменту публикации статьи данные устареют) — попробуй отыскать свое. Отсюда вытекает комментарий, который в этой связи дал прессе руководитель программы Дэвид Хольц: он попросту отговорился тем, что интернет-изображения, адаптированные Midjourney, не содержат метаданных об их авторстве. Поди докажи про каждое взятое нами фото, что оно — твое. Для его поверхностных аргументов есть причина — в настоящее время у изображений, генерируемых программным обеспечением, нет реального юридического наполнения, и по сути в этом новом мире всяк может делать, что хочет.

Апроприация

Как выглядит на практике имитация уже существующего художественного стиля? Я сейчас просто возьму стиль Дали и смастерю его текучие часы и фантазмагорию пейзажей? И получу свое, индивидуально значимое (плевать на гейткиперов!) сюрреалистическое искусство! Пишу в prompt «стиль Дали» и «бегущие часы», «пустыню», «ветвь дерева» и «фантазмагорию», ИИ выплевывает довольно убогие подражания Дали: превзойти их смог бы любой, кто более-менее успешно прошел подготовительные курсы отделения живописи Академии художеств. Ничего выдающегося, зато — по крайней мере, согласно условиям использования Midjourney — эта работа теперь принадлежит мне, и я одна владею правами на нее. Ну что сказать на это умнику-искусствоведу, когда я предложу ее на выставку? Фактически данный феномен известен еще со времен дадаизма и футуризма, тогда соответствующие художники делали коллажи из уже наличествовавшего искусства и называли это апроприацией — использованием другого произведения искусства или его фрагмента как своего для создания новой работы с новым, отличным от прежнего смыслом. Реконцептуализация уже существующего произведения искусства.

Манифест метода апроприации — эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935). В нем рассматривается следующий феномен: произведение искусства, будучи однажды воспроизведенным, утрачивает свою неповторимую ауру и становится доступно каждому. Углубляясь в прошлое апроприации, некоторые связывают ее с еще более ранними временами, с XIX веком, когда художников вдохновляли древнегреческие скульптуры — и, конечно

же, в современном искусстве все, от того же Дали и до Херста с Бэнкси, занимались присвоением. Да кто вообще проследит тропы влияния и вдохновения?

Один из ярчайших образчиков апроприации в Латвии — знаменосец постмодернизма Франческа Кирке (род. 1953), виртуозно играющая в своих работах со всеми жанрами — и с классикой старых мастеров, и с поп-артом, и с цветиками Такаси Мураками, создавая иное, собственное искусство. Однако если раньше «апроприанты» присваивали заметные фрагменты картин, то в случае ИИ стиль существующего художника деконструируется до последнего пикселя. Это совершенно новое явление, не имеющее (опять-таки) должного наполнения в искусствоведении. Пример — в подсказке прописаны стили разных мастеров: от кого-то, скажем, взяты лишь лицо и характерные губы. В одной из работ — девушка со свойственным азиатам разрезом глаз. Что в таком случае оценивать? Самое, надо сказать, увлекательное при работе с программой — наблюдать за тем, как возникает изображение. Потому как происходит это постепенно: сначала появляются лишь несколько процентов информации, вырисовывается туманный образ, неясные очертания идеи, этакий сон наяву, переживание зачатия мысли в сознании. Из коллективного подсознания шестисот пятидесяти миллионов изображений рождается концепция. По мере того как пиксели диффундируют, она становится четче, красочнее и наконец — та-да-дам! Готова уникальная картина, единственная и более неповторимая.

Вперед в будущее

И все же — что теперь? Веб-дизайнеры и книжные иллюстраторы потеряют работу? Помню времена, когда в редакциях рукописные тексты приходилось отдавать машинистке (да, мне понадобилось полчаса, чтобы связать девушку с ее профессией!). Спустя какое-то время ее заменил человек, умевший набирать текст на компьютере. Когда это научились делать все, исчез и он.

Так, значит — по прогнозам некоторых футурологов — все будут лишь программисты, каждый в своей области? И станут вести бизнес в метавселенной, где цифровые юристы постоянно судятся из-за прав на пиксели?

Йонас Оппенлендер выдвигает смелую гипотезу: по мере того, как мы продолжим учиться коммуникации с ИИ на удобном ему языке, изменятся наши собственные языковые привычки.

И воцарится искусственный общий интеллект (AGI), что будет и петь, и кататься на коньках, и сочинять! О наступлении его говорит следующий факт: только что вышел новый чат-бот GPT, с чьей помощью на английском языке можно генерировать более или менее связный (дрожи, писатель!) текст, а на латышском люди уже пишут с ним народные песни. Угадайте, как это сообщение восприняли синтографы? Схватили на лету и заставили чат-бота сочинять подсказки. ИИ пишет команды для ИИ-искусства.

Ах да, ювелиры и мастера рукоделья тоже вымрут — одна женщина сгенерировала в Midjourney очень красивые лампы и поделилась образами в пользовательской экосистеме. Мол, никогда не сможет позволить себе заказать столь необычные вещи профессиональным художникам. Отозвался другой пользователь, у которого дома имеется профессиональный 3D-принтер, он, мол, эти лампы для нее распечатает.

Проверки на дорогах

Иные художники, тем не менее, не столь воинственны и пессимистичны, полагая, что стоит опасть первой волне пользовательского энтузиазма, произойдет расслоение в самом ИИ-арте — обозначится небольшая страта, которая действительно будет создавать великолепные, инновационные ИИ-образы и раздвигать границы того, что нынче считается искусством. Будут профессионалы — для них нейросеть станет вспомогательным рабочим инструментом, и любители, которые будут генерировать «приколы» или иллюстрировать свой самодельный «издат». Фактически этот процесс уже потихоньку пошел. Я вижу ИИ-сообщество втянутым в дискуссии, кто более «творец» и «пионер», или почему кому-то следует в этом отказать, если «каждая работа сама по себе красива». Плюс все типичные аргументы, всплывающие, когда атмосферу сотрясает Большой Вопрос: что такое искусство?

Еще чуть-чуть о моем персонально важном малом «искусстве» ИИ. Кое-что из своей синтографии я выложила в Instagram, и — едва я начала ставить хэштег #aiart — на меня стаей стервятников ринулись промоутеры с предложениями разместить картинки на их сайтах и купить подписчиков.

Чтобы довести этот дигитально-социальный эксперимент до конца, я купила — целую тыщу ботов, которые принялись массово лайкать мои работы, раздражая этим представительницу «малого творчества» нашей семьи, размещающую в этой соцсети свои рисунки. Теперь ИИ лайкает мои ИИ-творения (помните, как Боб и Элис, два чат-бота, начали коммуницировать друг с другом?), а в семье одним другом стало меньше. Ну да, представитель «малого творчества», где он сам является «привратником», в этом клубке парадигм наиболее уязвим. Но и со всеми моими хэштегами мне удалось завести друзей среди людей и создать свою собственную мини-экосистему. Теперь могу спросить «друга», какой стиль он использует, а с самыми близкими друзьями даже (это очень интимный шаг) поделиться всем «промптом». Кто-то из друзей признаётся, что в качестве подсказок использует хайку. Некто, называющий себя Библиотекарем, что ни день публикует новый стиль, что для меня является суперским экскурсом в историю искусства. И что-то есть борхесовское в этом ветвящемся адаптивном лабиринте, уходящим в бесконечность.

Все это мило и познавательно, но меня не покидает ощущение дежавю: некогда я подвизалась на платформе самодеятельных авторов — в период, когда писала по-английски. Тогда мы выкладывали там свои работы, дружили и лайкали друг друга, обменивались также и рекомендациями. Так оно шло какое-то время, пока жизнь бежала вперед, а наше малое творчество угасало.

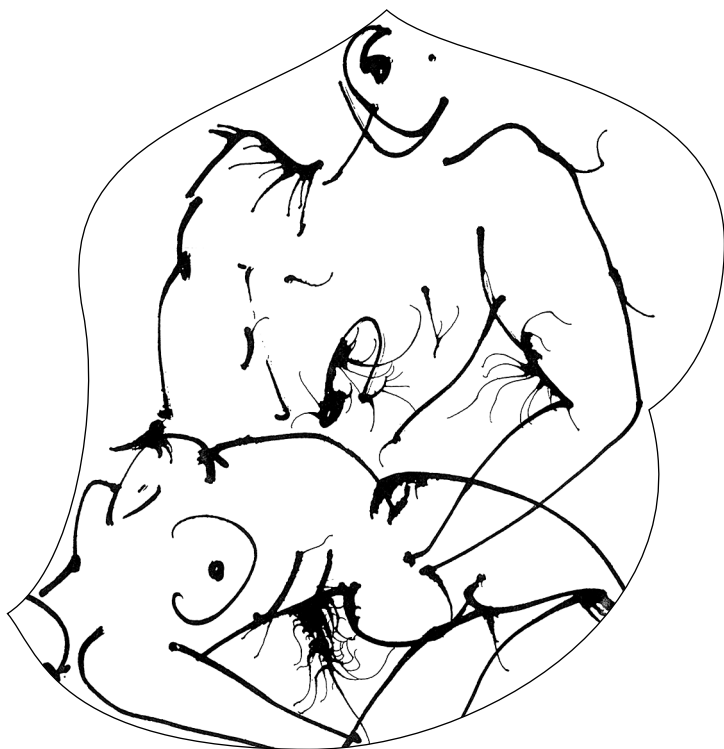
Невзирая на все теории и прогнозы, я все же думаю, что социокультурная модель творчества сохранится, общество никогда не откажется от «привратников», и — сколько бы кто ни настаивал на важности самого процесса — культура наша ориентирована на продукт и на мнение авторитетов.

Наконец забавный факт. Каждую секунду с помощью ИИ генерируют десять кошек. Я плыву в той же лодке, творя очередную синтографическую работу, человека с кошачьей головой на Домской площади. Стиль — тупо фотореализм. Генератор снов моргает своими пиксельными звездами и удивительным образом понимает, что такое Домская площадь: на фоне — чудо! — видно нечто вроде здания Биржи. Кошачья голова у моего персонажа есть, но рядом на тарелке нежится пушистый кекс — мне нужно еще поработать над написанием подсказок.

Создатели Midjourney говорят, что программировали изображения людей так, чтобы они выглядели иначе. Чтобы их можно было отличить

от реальных людей. Они и впрямь иные. Дело не в восьмипалых руках и неловких позах. Лица — у них другие лица, взгляд исходит из чуждых глубин, из бесконечности пикселей. Фанерные головы, как писал один из фейсбучных комментаторов моего «арта». Как-то пугающее грустно вглядываться в то, как смеются, обнимаются, волнуются или просто смотрят куда-то вдаль несуществующие люди. Пытаясь определить это ощущение, я вспомнила книгу Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня», где главная героиня, Кэти, была клонированным «человеком», воспитывавшимся в специальном поместье — школе для доноров человеческих органов. На каком-то этапе своей жизни она отчаянно искала «прототип» — человека, из клетки которого была клонирована. Кэти жила в студенческом общежитии, где были доступны порножурналы; листая их, она разглядывала лица моделей, а затем вроде бы нашла в соседнем городке одну похожую на себя женщину. Однако женщина эта оказалась ложной надеждой, похожих лиц в журналах не было, и за всю свою короткую жизнь Кэти так и не нашла того, из кого «вышла».

*Публикуется с разрешения портала Satori.
Перевела с латышского Лига Вигранте*



Турфирма «Кристиан Крахт»

ГДЕ-ТО ОКОЛОНОЛЯ

Из писем — чаще всего начинается с писем.

В письме одного латвийского русскоговорящего и русскодумающего (именно так) писателя, моего коллеги и доброго (я надеюсь) приятеля было — просто позволю себе процитировать:

Персонаж, конечно, чудовищный. Обеспеченный и от этого, видимо, пресыщенный метросексуал, ненавидящий собственную историю и историю вообще, глубоко в яме ресентимента, презирающий всех и каждого, да, в общем, и себя, способного нажраться и по пьяни обосраться в гостях. От этого, разумеется, пустота, разумеется, очередной виток экзистенциализма в его острой, вульгарной форме... <...> исполнилось его желание: «мне бы крылья, я бы всех сверху оплевал»...

294

Речь шла о герое романа Кристиана Крахта *Faserland* (1995) в русском переводе Татьяны Баскаковой (2001), озаглавленном ею «Faserland» (порусски это совсем другое слово). Я пытался воспротивиться. Речь-то шла о характерном для переходного возраста фиаско психосоматической природы — печальном эпизоде из жизни странника, лишенной, как мне казалось, той бесприютной дидактики, что изобилует в жизнеописаниях Кнуньпа или Холдена Колфилда.

«Этот запах всегда заставляет меня вспоминать о моей первой большой любви.

Итак: я был приглашен в дом к Саре (**буду называть ее просто Сарой**), меня пригласили ее предки, чтобы получше со мной познакомиться, как это принято у **стариков**. Мне было шестнадцать, и я ужасно волновался, хотел, естественно, произвести на них хорошее впечатление и прочее. Сара и я тогда уже целовались, но больше между нами ничего не было, **я еще не потерял своей девственности, и она, я думаю, тоже.**

Добавлю к этому, что она занималась балетом, что у нее **были обалденно длинные каштановые кудри** и что **я не на шутку на нее запал**. В общем, я прилично оделся — на мне были галстук, и блейзер с золотыми пуговицами,

и прочее, — и вот уже взбегаю вверх по лестнице, **ладони у меня вспотели от возбуждения**, коленки дрожат, и тут **я улавливаю этот запах мастики. Он как буравчик ввинчивается в мой мозг**».

Так выглядело в переводе искусное описание печальной подростковой неудачи: объелся, упился за семейным ужином, надышался запахом мастики для пола... был оставлен на ночь в комнате для гостей.

«Я, естественно, сперва отнекиваюсь: что вы, не надо, большое спасибо; они продолжают меня уговаривать, и в конце концов я соглашаюсь. Я, как уже говорил, был страшно **возбужден и вдобавок здорово насосался. Короче**, я укладываюсь спать в гостевой комнате, а перед этим получаю поцелуй от Сары (я и сегодня помню **вкус того поцелуя — винно-медвяный**).

Среди ночи я просыпаюсь, в комнате как-то **прикольно** пахнет, я открываю глаза и **шарю в потемках**, все вокруг влажное, и я думаю: **боже правый!** Не иначе как **я во сне обоссался. Господи, пусть бы это случилось где угодно, только не сейчас и не здесь! Я зажигаю лампу на ночном столике, раздается щелчок**, я оглядываюсь вокруг и **вижу в постели свой блев** — но это не все, нет, **я туда еще и насрал!** В глазах у меня потемнело. **Долго я не думал — я тогда вообще не мог думать.** Я быстро **нацепил на себя свои шмотки** и выскочил из комнаты, бегом сбежал вниз по лестнице, **которая все еще пахла мастикой**, и, **очутившись на улице, от стыда разрыдался** — но **на месте я не стоял, нет, я бежал до самого своего дома.** И Сару я никогда больше не видел».

В ответном письме я привел адекватные значения выделенных слов и фраз.

Сейчас для простоты я назову ее Сарой — ему больно произносить ее имя.

Родители, у родителей — нейтрально, с уважением.

Я был еще невинен, она, полагаю, тоже — без доли цинизма.

Дивные, длинные каштановые волосы — с робким восхищением.

Я был совершенно влюблен — искренне.

В таком вот духе — фигура речи.

Ладони у меня взмокли — без «возбуждения».

И тут этот запах мастики — реплика стороннего наблюдателя.

Он сверлит мне мозг — без фанатизма.

Взбудоражен — ситуацией.
Меж тем чудовищно напился — без гусарства, потерянно.
В общем — констатация факта без фамильярности.
Какой вкус был у поцелуя, а именно — вино и мед — трогательно.
Странно — в недоумении.
Чувствую во тьме вокруг — спросонок.
Боже мой! — в ужасе, без возмущения.
У меня был «влажный сон» — поллюция.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста — мольба.
Я включаю свет на ночном столике, шелк издает он — по-детски.
Вижу, что меня вырвало на постель — кошмар.
Я еще и наделал в постель — обезкураженный: обезоруживающе (без восклицания).
Особо не рассуждая, я вообще не мог рассуждать — трезвая оценка.
Оделся — без эмоций.
Где все еще пахло — нюанс, пахла не лестница, а пространство (но это деталь).
И уже на улице я взвыл от стыда — а с чего вдруг разрыдался баскаковский уродец?
Не остановился, нет, побежал дальше, пока не пришел домой — спрятался в «норку».

Отнекаться не вышло.

...Но ведь он же уродец и есть!

И согласишься, у меня же, наверное, есть право трактовать прочитанный сюжет сообразно своим представлениям об этике? А от того, что действия описаны в переводе, возможно, не теми словами, они не перестают быть действиями, поступками, поведением, и, когда я читал, мне стало противно, поэтому и бросил...

Не то чтобы так уж безоговорочен был авторитет переводчицы — могуч авторитет перевода, заставляющий критиков рассуждать о переводных книгах, как если бы перед глазами они имели оригинал и для его анализа были бы вооружены соответствующим контекстом. И не то чтобы авторитет критики был столь уж велик: велика власть неизвестно кем

сформированных представлений о системе полочек, по которым авторы вместе с текстами раскладываются еще до прочтения (природа не терпит пустоты, сиротеющую полку надо забить, отсекая лишнее и заливая пресуемое формалином).

И не то чтобы это меня особо мучило — *à la guerre comme à la guerre*, — но что-то на меня вдруг нашло, тормоза взвизгнули, ABS застучал, а машинерия закрутилась, и Остапа понесло...

Часть I

1. ПРИСТРАСТЬЕ К ЛЮЛЯ И ФИНИКАМ

Хочешь разобраться в предмете — начни его преподавать. Хочешь выучить что-то — напиши книгу. Не помню, кто это сказал, но знаю точно: чтобы понять иностранную книгу, лучше всего ее перевести.

Когда я прочел свежеизданный (2021) *Eurotrash* думающего на разных языках, но пишущего на немецком швейцарца Кристиана Крахта, мне захотелось понять его получше: переведа. Довольно быстро обнаружилось, что у Крахта в России есть свой переводчик — Татьяна Баскакова. Признавая бесспорные заслуги Татьяны Баскаковой на ниве популяризации немецкоязычной литературы, я взволновался: каким образом воспринимает переводчица, о чем пишет К. Крахт? Не фрик, не записной страдалец, не составитель шарад, а просто сердечный (по рассказам) миллионер, нервический (по факту) позер, живущий в вообще-то совершенно неведомом и чуждом ей (судя по всему) мире?

Конечно, «хороший» роман в состоянии объяснить себя сам — содержит, так сказать, мануал по собственному применению. Поэтому говорят, что даже «плохой» перевод в состоянии убить не более чем 30% процентов романа.

А что если «убийство» совершается преднамеренно? Или по «преднамеренной неосторожности»?

Есть такие незабываемые первые фразы: про счастливую семью Облонских, *Let us go then, you and I* Т. С. Элиота или *O, Литво, ойчизна моя! Ты естешь як здровие* из «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Дебютный роман Крахта *Faserland* начинался с упоминания пива «Йевер»: *стою себе и пью Jever из бутылки*. Я помню этот горьковатый «фризский» вкус

[friesisch-herb из рекламного слогана], бутылку 0,33, не столь частую в начале девяностых, лаконичную этикетку... позже «Йевер» стал общим местом, подзабыл Восточную Европу — и все-таки. Русский текст убил меня, стерев темпоральный узел моих воспоминаний, как смахивают паутину — «стою <...> и пью из бутылки пиво».

Еще быстрее обнаружилось, что я — не единственный недоумевающий. Уже в 2004 году, три года спустя после выхода *Faserland* в переводе Т. Баскаковой, некий Дитер Вирт [Dieter Wirth], славист и, очевидно, транслятолог, опубликовал в «Германистическом ежегоднике СНГ» [Germanistisches Jahrbuch GUS „Das Wort“, стр. 157–181] статью под названием «Роман Кристиана Крахта *Faserland* — в ожидании нового русского перевода» [Christian Krachts Roman „Faserland“ — in Erwartung einer russischen Neuübersetzung]. Помимо общей критики в приложении он приводит список из 66 тяжеловесных ошибок (на 220 страниц текста): лексические ляпы; кросс-вербальные и грамматические ошибки; ошибки, связанные с реалиями.

Сейчас я думаю, что их гораздо больше — начав читать русский текст, я сразу стал замечать ошибки, которые после не мог обнаружить у Вирта. Они яростно бросались в глаза, не стоило даже тратить время на сравнение перевода с оригиналом. В «Фазерланде» то и дело мелькали элементы *чистейшего абсурда* — не знаю, правильно ли я выражаюсь (фигура речи, заимствованная у протагониста: Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig ausdrücke), — в то время как немецкий текст рационален и, честно говоря, более понятен, чем статья Вирта.

Уже первые образцы этого абсурда отличались чистейшей прелестью.

На дорогом немецком курорте богатенькая девочка по имени Карин приезжает на мерседесе S-класса в шикарный ресторан и там прикармливает домашнего лабрадора.

«В заведении есть собака, темно-коричневый Лабрадор по кличке Макс, и Карин, видимо, всегда, когда бывает в ‘Одине’, дает ему **кусочек хлеба**, пес к этому уже привык. <...> и кто-то за стойкой ставит на проигрыватель ‘Отель Калифорния’ группы Eagles, и пока играет музыка, и собака Макс грызет свою **хлебную горбушку...**»

Вопрос: где Карин берет на полуострове Зильт свою зачерствелую горбушку? И как она носит ее — в сумочке или в кармане куртки?

Завернув в салфетку или без ничего?

<...> und jemand hinter der Bar legt Hotel California von den Eagles auf, und wie die Musik so spielt und der Hund Max sein **Brötchen** zerkaut...

Brötchen — обычная булочка, zerkauen — разжевывать (собакам приходится раскусывать хлеб). Представляю себе фундаментального лабрадора, скромно грызущего сухую горбушку под мистический припев Eagles...

Ibid.

«У ближайшего к нам столика застряли трое посетителей и очень громко разговаривают о Тестароссе. У них у всех часы фирмы 'Картье', и по их виду можно безошибочно определить, что они играют в гольф».

Можно решить, что речь идет о ком-то вроде Барбароссы. К примеру, о Белой демонессе из аниме-сериала «О моем перерождении в слизь». К сожалению, сериал появился на двадцать три года позже книги, так что номер не прокатывает. Может, гольфисты с *Cartier* на запястьях говорят о тайном городе? актрисе-вамп с итальянской кровью в жилах?

Am Nebentisch stehen drei Männer und reden ziemlich laut über ihren Testarossa.

Буквально: *За соседним столом стоят трое мужчин и говорят довольно громко о своем Testarossa*. В баре & ресторане «Один» есть высокие столы (с барными стульями). «Тестаросса» — это модель Феррари, к моменту написания и выхода книги снятая с производства. Штрих, так или иначе характеризующий картёношцев, говорящих о *своих* Феррари. Хотя в Википедии указано, что Т. Баскакова переводит с итальянского, ее, вероятно, смутило то, что «их Testarossa» стоит в единственном числе. Крахта же, по-видимому, смущало, что во множественном числе Testarossi выглядит еще большим бредом, нежели громкий разговор трех застрявших о Тестароссе.

Кстати.

Как только речь заходит о левых радикалах из Берлина («берлинских автономистах» — переводит Баскакова: неудачная калька, потому что <Berliner> Autonome = <Berliner> Autonome Gruppen, «берлинские» «автономные группы», — субстантивированный атрибут), скупающих подержанные фиаты «Уно» для перепродажи в Африке, Крахт употребляет уничижительное *Unos*, в свою очередь смущая Баскакову, переводящую «Уно» как «фиат» первой модели, то есть определенно раритет. Надо признать, что переводчица почти последовательна: в дальнейшем «туареги жарятся в долбаном тесном» фиате,

в то время как они зажигают на этих долбанных малолитражках: die Tuareg heizen mit diesen blöden Kleinwagen durch die sengende Wüste; на паритетном автомобиле вряд ли удастся зажечь...

Ладно — вселенная наживы и чистогана. Без поллитры ее не понять. (Вот базовая проблема транслятологии: может ли духовный непьющий человек переводить про бесконечные бары и непрекращающуюся блевотину?) Но существует же чистый, уютный мир женской нижней одежды...

В одном из баров протагонист встречает чернокожую модель, судя по описанию ее жестов, высокую и тонкую, вроде той — из фильма Анджея Жулавского про Софи Марсо.

«...Правда, я должен сказать, что выглядит она обалденно классно (я имею в виду, у нее в самом деле размер 1А)...»

Я думаю, переводчица имела в виду размер лифчика, причем наиболее огромного (иначе в чем классность?). Но мало того, что у такого рода моделей обычно (по телевизору) аккуратные грудки, размер А — это самый маленький размер!

...Und ich meine, sie sieht schon verdammt gut aus, ich meine richtig 1А...

А означает «1А» всего-навсего высокий класс (отсылка к Авессалому Владимировичу Изнуренкову: «Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!»).

...И я имею в виду, выглядит она чертовски хорошо, я имею в виду, на все сто...

С барами в переводе не заладилось. Но читатель-то русский успел к началу века посидеть за стойками! По идее, каждый такой пассаж должен выбивать его из равновесия страницы на три: от ошибки до ошибки. Как смиряется он с тем, что (подмечено также Виргом):

«Я подхожу к 'ронделю', большой корзине, наполненной **хот-догами** и бутербродами с салями, которую служащие 'Люфтганзы' поставили рядом с кофеваркой, потому что стюардессы слишком ленивы, чтобы разносить что-нибудь во время рейса, беру себе четыре бутерброда, **шесть хот-догов** и два йогурта 'Эрманн' и распахиваю все это по карманам моей барбуровской куртки».

В Википедии указано, что Т. Баскакова переводит и с английского языка.

Она могла бы догадаться (даже если никогда в жизни не раскусывала сосиску в тесте), что хот-доги принято есть горячими? и что вряд ли кто-либо возьмется распахать по карманам какой-либо куртки шесть хот-догов (даже если это Barbour с четырьмя наружными карманами)?

Jedenfalls laufe ich zu dem Rondell, diesem großen Korb mit **den Ballistos** und den Salamibrötchen...

Bal(l)istos — это миниатюрные шоколадные батончики с наполнителями, в блестящей упаковке, идеально подходящие к барбуровскому вощеному хлопку.

«С Хеннингом Хансеном я познакомился на пляже, мы вместе строили песочные замки и хорошо ладили друг с другом — главным образом потому, что у Хеннинга был велосипед с багажником, и мы вдвоем постоянно гоняли на этой штуковине к киоску...»

Похоже, велосипед тоже проехал мимо — *гонять* с пассажиром на багажнике столь же нелегко, сколь и зажигать на фиате первой модели в раскаленной пустыне. В действительности Хеннинг Хансен обладал велосипедом с вытянутым, удивительной формы седлом — Bananensitz (оно же Bananensattel, надеюсь, понятно и без перевода), на котором едущие сидят друг за другом. «Банановое седло» навеяло переводчице идею багажника, «седла для бананов», — но читатель? Как можно смириться с тем, что велик с багажником обзывают штуковиной [mit dem Ding]? С бананом вместо седла — тогда конечно...

Райт-Ковалева кормит беднягу Холдена котлетами вместо гамбургеров, на что ей многократно было *указано*. Не вижу в этом ничего дурного — гамбургер в конце-то концов и есть булочка с котлетой. Но если у Райт-Ковалевой процесс питания поставлен на логичную советскую основу, то у Баскаковой от него веет первозданной дикостью. В «Фазерланде» не задалось не только с булочками и сосисками. Один из товарищей героя, Александр, «звонил ей по телефону, а когда возвращался в Германию, назначал ей свидания в дешевых забегаловках, где мужики стоя жуют длинные котлеты и запивают их пивом прямо из бутылки». Скорее всего, в действие приведен принцип компенсации — длинное банановое седло мы упустили, заставим мужиков жевать длинные котлеты. По правде говоря, торчат там люди (!) с длинными бакенбардами, *dann verabredete er sich mit ihr in Elendskneipen, in denen Menschen mit langen Kotteletten hemmstanden und Bier aus der Flasche tranken*. И даже не то страшно, что

перепутались *das Kotelett* и *die Koteletten*, а то, что *das Kotelett* — это отбивная, порой с косточкой, и она никак не может быть длинной. Наша рубленая котлета, то есть *die Bulette*, может быть длинной, однако тогда она — люля-кебаб.

2. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В X.!

На сайте издательства Penguin Random House, прямо под надписью *we know what book you should read next* (сплошь маюскулы), нашел полезную штуку: «Путеводитель для читателей» модного романа Кадзуо Исигуро про несимпатичные судьбы клонов — доноров человеческих органов — в дистопической, но якобы современной нам Англии девяностых.

Хочешь понять — переведи. Или хотя бы прочти оригинал вместе с переводом на другой язык. Или два перевода — на разные. Порой переводчик (или редактор, кстати) понимают что-нибудь такое, чего не знал сам автор. Так пришли в мир Тиль Уленшпигель Карякина — Горнфельда — Мандельштама, Холден Колфилд Риты Райт-Ковалевой, Князь света Виктора Лапицкого...

Праздник, который всегда.

Письма... Из беглого упоминания англоязычного писателя с японскими корнями в недавнем письме латышской писательницы возникло стойкое желание разобраться. И вот у меня две версии, английская (*Never let me go*, 2005) и русская («Не отпускай меня», 2007, перевод Леонида Мотылева), и море вспомогательного: рецензии, эссе, диссертации — имеется даже «Летопись заседаний литературного клуба “Зеленая лампа” Кировской областной библиотеки им. А. И. Герцена», где четко отреферирована бездна русских откликов.

Если Кэти Х., протагонист и единственный нарратор, излагает ретроспективно, то я забегу вперед, сообщив, что в какой-то миг мне стало чудиться: текст романа заранее создан всеми рецепирующими и рефлекслирующими, всеми их «горизонтами ожиданий» — настолько точно угадан ими почти любой изгиб авторской мысли.

Заботило одно — едва ли не всякий пишущий, о чем бы он в связи с К. Исигуро ни писал, начинал с биографии: где была в тот вечер твоя тень, Ролан Барт? Почему никого не волнует детство братьев Стругацких? Отрочество Кормака Маккарти?

Впрочем, сам Исигуро в ряде черточек легко ускользает от читательского надзора. Но не издательского. Путеводитель «Пингвина» в разделе «Вопросы и темы к дискуссии» ставит вопросы, ответы на которые я так и не нашел.

Но — по порядку. Начну с родного языка — так быстрее.

...М-р Пенгуин в помощь.

Вопрос, которого нет: номер № 13. *Действие романа происходит «в конце 90-х»*. <...> *Насколько «реалистично» Never let me go отражает мир, в котором мы живем?..*

Роман, написанный в начале 2000-х, относится к *England, late 1990s*. Особых примет времени в нем вроде нету. Насколько он аутентичен текстуально? Русский текст выдержан в рамках олдскульного нарратива, обычно изображающего у нас американскую прозу, — вышедшего из великих переводческих экспериментов кашкинской школы, Осии Сороки, Виктора Хинкиса, и к XXI веку слегка обомшевшего. Нарратор-клон, Кэти Х., ровесница мне, но стилистически я бы определил ее в тети, а действие — в поздние 70-е. Кадзуо И. (на десять лет старше нас с Кэти) пишет резче, прямее — при том, что эмоций не педалирует. Он вполне мог бы омолодить Кэти еще лет на десять.

My name is Kathy H. I'm thirty-one years old, and I've been a **carer** now for over eleven years. That sounds long enough, I know, but actually they want me to go on for another eight months, until the end of this year. That'll make it almost exactly twelve years. Now I know my being a carer so long isn't necessarily because they think I'm fantastic at what I do. There are some really good **carers** who've been told to stop after just two or three years. And I can think of one **carer** at least who went on for all of fourteen years despite being a complete waste of space.

«Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как **помогаю донорам**. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные **помощники**, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала **одного**, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место».

«Ш», если я угадал, это Шерлок вместо Холмса?

Плевать на вызванную нечувствительности к русский языка небрежность. Можно, разумеется, утверждать, что некто был полное дерьмо, хотя это уже напрягает, но дело в ином — семантика не отвечает логике. *Despite being a complete waste of space* — несмотря на то, что он был полным нулем, ничтожеством... даже законченным придурком куда ни шло. Шучу: для клона — перебор; хотя он ничего из себя не представлял. (NB. Пустое место = на него можно не обращать внимания.) Зато пошибче б, пошустрее б!

Меня зовут Кэти Х. Мне тридцать один год, и я забочусь уже одиннадцать с лишним лет. Это более чем долго, знаю, но вообще-то они хотят, чтобы я проработала еще восемь месяцев, до конца года. Итого почти двенадцать лет. Сейчас я знаю — причина, что я забочусь так долго, не обязательно в том, что они находят мои навыки превосходными. Есть реально хорошие заботящиеся, которых отставили уже через два-три года. <...>

304

Тонкий момент — я вовсе не предлагаю перевести именно так. Я опасуюсь: общая интонация перевода готова завести меня *не туда*. В ленту Хичкока, в частности (ровно тех лет, когда маленького Кадзуо привезли в Англию). Но отнюдь не по вине переводчика. В целом перевод добротен и читабелен. Просто Кэти — «ненадежный рассказчик», так много где сказано, она путается в воспоминаниях. Фундированный прелогатель вынужден не столько прислушиваться к ней, сколько соблюдать собственные «горизонты».

Вопрос № 1. <...> *Сколько потребуются времени, чтобы смысл таких терминов, как donation, carer, completed раскрылся полностью?*

Слово complete в глагольной ипостаси является здесь эвфемизмом слова «умереть»: доноры после *выемок* [donation] органов *завершают*, то есть умирают. Лексически адепт старой школы неожиданно оказывается близок к попмодерну в духе Филипенко или Горалик. Не knew he was close to completing звучит, конечно, жутковато — но честно, а «знал, что близок к завершению» звучит мерзковато именно в силу своей транзитивной обманчивости: умереть = завершить себя.

Переводчик оборудовал качественную пугалку для интеллектуала средней руки, озабоченного вопросами. Эллипс навеян фактом, о котором, не

обинуясь, доносит русская Википедия: «Как и в других работах Исигуро, правда становится ясной далеко не сразу и раскрывается постепенно, через намеки».

Лично я с первой страницы чуял, что примерно значат эти слова; отчасти благодаря аффектации перевода. Я вообще не считаю, что Исигуро говорит намеками: он лишь предлагает называть это так. Его ребусы разгадываются быстро. Потому что это не квиз, а игра в умолчания. Коктейль из остранения, «минус-приема», когда на картине есть всё, кроме того, о чем идет речь, — и, разумеется, «Расёмон-эффекта» Акутагавы — Куросавы: правда так и не становится ясной, но картина вытанцовывается.

Повисающий в воздухе *safer*; слегка извиняющаяся интонация; эти «они» (в русском переводе уже введено понятие «донора», которым *помогает* Кэти, а «они» передаются пассивным залогом). Я вот-вот пойму: бедную мисс Ш. имеют, причем по-крупному — имеют не без помощи *guardians* [хранящих], переведенных как «опекуны». Довольно скоро возникнут: выморочный интернат (Хейлшем), крутоватая Рут и мутный Томми — товарищи по, можно сказать, несчастью. У них всё не так, поскольку сами они — *не те*. В не-мире, откуда веет чувством беспросветности, подкрепляемым листанием страниц.

Вопрос № 2. *Кэти обращается к нам напрямую с заявлениями типа «Я не знаю, как это было там, где были вы, но...» <...> Каковы предположения Кэти насчет своего возможного адресата, и почему?*

Леонид Мотылев старательно затушевывает подобные места.

If you're one of them, I can understand how **you** might get resentful...

«Можно понять, если **кто-нибудь** из них и завидует...»

I don't know how it was where you **were**...

«Не знаю, как было там, где **росли** вы...»

Тушуются и критика; почему-то.

Мое предположение — Кэти везде чудятся клоны. Не в смысле ужасика: просто *такие*, как она. «Изредка попадались встречные фары, и тогда мне казалось, что это помощник **вроде меня**, который возвращается куда-то один или, может быть, со своим донором». (Точнее: *We'd occasionally encounter other headlights, and then I'd get the feeling they belonged to other carers, driving home alone, or maybe like me, with a donor beside them* = <...>

«помощники», едущие домой одни или, может, **как и я**, с донором; то есть просто помощники всюду.)

Вопрос № 7. *Один из наиболее заметных аспектов жизни в Хейлшемме — влияние коллектива. Воспитанники внимательно изучают друг друга, примеряя различные позы, позиции и манеры речи. Типично ли такое поведение для большинства подростков, или есть нечто особенное в том, как воспитанники Хейлшема ищут подобия?*

Диккенс, где была в тот вечер твоя тень?

3. IT'S THE LITTLE DIFFERENCES...

Из вышепротитированной переписки: *К тому же указанные тобой или Дитером просчеты относятся к деталям, аксессуарам, и сути-то, в общем, не меняют.*

Похоже, настало время огласить список претензий от Дитера Вирта. Он, как и следовало ожидать, упрекает переводчицу в следующем.

Избыточная жаргонизация языка плюс вульгаризация мыслей и поступков героя...

Использование едва ли не всего ряда синонимов для одного-единственного повторяющегося нейтрального слова...

Соответственно, уже упомянутые мной ошибки, каковые он разделяет на грубые и более-менее грубые (исходя из контекста и наносимого ими вреда). Самые забавные среди них: мужское имя «Нигель» вместо Найджел [Nigel], но бар «Тандженте» вместо Тангенте [Tangente = касательная]; «кабак в спальном районе» вместо кабака на районе [Kneipe auf dem Kiez] Гамбурга, где тоже спят, только иначе (имеется в виду Репербан в районе Санкт-Паули = квартал красных фонарей); энурез вместо поллюции, «я во сне обоссался» вместо «влажного сна» [Feuchten Traum gehabt] в гостях у Сары...

Из бутылки красного Ilbesheimer Herrlich (не Sekt и не Prosecco) «с шумом вылетает пробка» — вместо того, чтобы вино «конкретно вставило» [der Ilbesheimer Herrlich knallt ganz ordentlich rein]. (Вошел: и пробка в потолок! Страсть к транскрибированию названий вин, марок одежды и автомобилей прекрасна, когда она привносит фонетическую красоту в нудную иностранщину, но *Ильбесхаймер Херрлих* — «и тут из бутылки 'Ильбесхаймер Херрлих' с шумом вылетает пробка» — что бы это зна?..

А ведь игра слов еще та: Herrlich — *гросслаге* [большой виноградник] в Пфальце и то же время наречие со смыслом «ура!»; звук ушел — цирк уехал. Я писал бы П'beshajmsкое Gornee — а что?)

«Низкому» Гамбургу вообще нехило перепало в переводе: так, футбольный клуб «Санкт-Паули» [FC St. Pauli], см. чуть выше, поехал до Сан-Пауло, Бразилия: *На другой фотографии он стоит на мосту в Каире, в фирменной майке футбольного клуба «Сан-Пауло»*. Видимо, в качестве компенсации (см. еще выше).

И вдруг я задумываюсь. Засомнёвываюсь, ich würde sagen.

Некий товарищ, именем Ролло, отвозит протагониста на рейв-пати в окрестностях Мюнхена. Цивильно одетые, они сидят на лугу и пьют пиво.

Ab und zu kommen irgendwelche Hippies in bestickten Lammfellwestchen auf uns zu und bieten uns Tee an. Chai, wie sie sagen. Ich finde das alles extrem amüsant.

«К нам то и дело подваливают какие-то хиппи в вышитых жилетках из овчины и предлагают чай. Chai, как они говорят. Я нахожу все это очень прикольным», — переводит Баскакова, за что получает от Вирта отлуп средней тяжести: *Переводчица не обращает внимание на звуковую идентичность русского слова для чая [Tee] (чай) и иностранного слова (смесь индийских пряностей), оставляя его в латинском написании — вместо того, чтобы опустить второе предложение.*

Я реально беру под сомнение — понимает ли автор книжки о переводе за полтора ста долбанных евро («Парафраз и перевод в модели содержание<—>текст», 1996), что такое перевод? Он предлагает сократить баскаковский абзац на одну фразу: *К нам то и дело подваливают какие-то хиппи в вышитых жилетках из овчины и предлагают чай.* Я нахожу все это очень прикольным. В чем, черт возьми, прикол? В оригинале как раз таки прикольно созвучие Tee — Chai, морской путь vs Великий шелковый. Двое разморенных чуваков, внешне скорее тянущих на яппи, нежели на хиппи, сидят на траве, а им в качестве теэ-э-э предлагают чайи-и-и. Прикольно. Крайне amüsant.

То, что Дитер находит прикольными вышитые жилеточки чайваллахов, смутило уже меня — настолько, что пришлось выпить зеленого чая с молоком и медом.

Попутно я пытался обыграть слова «молоко» и «масала», догадываясь, что на рейве под Мюнхеном едва ли разносили чай с молоком (разве что со

сгущенкой?), пока интернет не выдал мне идеальное созвучие: чай — чаат (смесь, с которой можно готовить и чай). Не совсем корректно с точки зрения культуры потребления чая, однако от хиппи можно ожидать чего угодно. Совсем некорректно с точки зрения доступности слова в мировой паутине на рубеже веков. Впрочем, какая разница:

Время от времени к нам подходят какие-то хиппи в вышитых овчинных жилеточках и предлагают чай. Чаат, так они говорят. Я нахожу все это крайне забавным. «Кин-дза-дза» (1986).

Итак, мое доверие к Дитеру В. падает, хотя и не в такой мере, как к Татьяне Б. А Дитер В. продолжает цепляться к Татьяне Б. Его цепляние делается хаотичным. Он чувствует, что что-то не так, но не знает, что: кроме ошибок, свойственных всем нам, переводчикам — равно как и дьявольского в оных упорствования, — он ничего не находит. Уже кажется, что он не всегда в состоянии оценить не только русский перевод, но и сам оригинал. Как, увы, многие немцы, он не въезжает в разницу между немецким и швейцарским способами экспонирования (в которую, *alas*, не въезжали, переводя «Номо Фабер» и «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, патриархи Лилианна Лунгина и Соломон Апт, что, конечно, не делает их переводы менее *unwerfend*), сводя ее к чудачествам словоупотребления.

Но и здесь он — *но здесь и он* — ошибается!

Das Wort *Brosche* in Beispiel (8) ist eigentlich auf Schmuck beschränkt. **Ein falscher kindlicher Sprachblick dürfte kaum (derart singulär) nachgezeichnet sein.** (Eine *Kokarde* ist auch im Russischen nicht aus Metall.)

(8) <Kindheitserinnerung: Piloten> *weiße Mützen, auf denen vorne Alitalia auf einer silbernen Brosche draufstand* (7); Übers. als *Kokarde* (72).

Слово «брошь» в примере (8) относится, собственно говоря, к украшению. Ложная детская «языковая экспозиция» (тем более в единственном числе) едва ли может иметь место. («Кокарда» и в русском языке не из металла.)

(8) <Детское воспоминание: пилоты> белые фуражки, на которых спереди на серебряной брошке было написано «Алиталия» (47); переведено как *кокарда* (72).

Второе предложение (мне) здорово непонятно. В такой позиции оно выглядит наездом на самого Крахта. Но если оно там оказалось по

недоразумению и должно быть передвинуто в конец, получаем наезд на Баскакову, тотально мимо.

Sie hatten weiße Zähne und weiße Mützen, auf denen vorne Alitalia auf einer silbernen Brosche draufstand... ⇔ У них были белые зубы и белые фуражки, на которых спереди, на серебряной кокарде, красовалось название компании, «Алиталия»... 1 : 1, в чем проблема?

Кокарда запросто может быть металлической, а в Швейцарии die Brosche означает любой значок с любой булавкой, лишь бы прикалывался к одежде.

Когда в последней главе речь заходит о Цюрихе, критику-рецензенту надоедает реагировать на вопиющие неточности. Герой идет «прогуляться по Привокзальной улице и заодно поглазеть на витрины». Название цюрихской Bahnhofstrasse просвещенному миру знакомо в качестве синонима эксклюзивной торговой улицы и на другой язык может транскрибироваться как иероглиф. (Потом он снова бежит назад к Привокзальной улице: laufen швейцарцам заменяет глагол geben [идти], он идет назад к Банхофштрассе, настолько фешенебельной, что по ней не бегают.)

Пассаж «Я часто слышал, что улицы в Цюрихе на удивление чистые и аппетитные, и должен сказать, что это правда. Так бы и проглотил все до последнего кусочка, до последней лакомой крошки...» представляет собой неверное описание впечатления от Цюриха, что в районе Банхофштрассе слишком эклектично-шикарен, чтобы его хотелось сожрать целиком (скорее понакусывать). Для перевода Alles ist in Häppchen zu haben, in lauter ganz leckeren Häppchen требуется все баскаковское самоуправство, смысл-то тут следующий: ...он весь как <поднос> с закусками, исключительно лакомыми закусками...

Наконец — когда он (он!) пытается заказать в баре пиво с гренадином, до официанта доходит не сразу: und ich mache noch einen Rauchring, und dann versteht er plötzlich doch, was ich meine. Bier mit Grenadine heißt das Zeug. Eine Panache, mit der Betonung auf dem ersten A. ...Я выпускаю еще одно кольцо дыма, и тут он все ж таки вдруг понимает, что я имею в виду. Пиво с гренадином — так называется питье. «Панаиш», с ударением на первом А. «Пиво с гранатовым сиропом, так это называется, — разъясняет переводчица. — Особого рода коктейль panache (с ударением на первом а)». Особого рода коктейль, также известный как «радлер», вообще-то можно получить в любой дыре (просто нарратор привык, видимо, к его

желтому варианту с лимонным соком). А фишка ситуации в том, что швейцарцы даже в благодарственном *mègсi* ударяют на первый слог.

Швейцария раздражает Дитера Вирта? Антигерманские псевдовыпады автора его раздражают? Или что Крахт, швейцарцем будучи, играет в свою якобы непричастность к этой стране? (Да он издевается! «Пока мы выезжаем из города, водила трындит что-то о налогах, и поскольку сам он явно родился в Тичино, не замечает, что я не швейцарец», — дабы понять, о чем трындит италоязычный швейцарец, надо быть швейцарцем; я не прав?)

Разъяснять Татьяна Баскакова любит очень. Должно быть, каждый перевод свой она сопровождает обширным комментарием. Ее комментарии определенно раздражают — многих, Дитера в том числе. *Unhaltbare textuelle Bezüge*, — ворчит он. — Мол, текстуальные связи притянуты за уши.

«Прежде всего, почему роман называется ‘Faserland’? Первое, что приходит в голову, — перевести это слово как ‘Отечество’, предположив, что рассказчик использует не немецкий термин (*Vaterland*), а его английский аналог (*Fatherland*), только записанный фонетически, так, как его воспринимают на слух немцы. Но ведь можно понять то же слово и по-другому, буквально: ‘Волоконная страна’ (*faser* — волокна, в том числе используемые в волоконной оптике, *Faseroptik*, которая, например, применяется в медицине — для просвечивания внутренних органов; в физике для регистрации треков ядерных частиц; в вычислительной технике — там лазерные волокна выполняют функции ячеек памяти; и во многих других областях)».

What the fuck does anything have to do with Vietnam? — “Dude” Big Lebowski. That was a little bit more information than I needed... — Uma “Mia” Thurman.

А сам прикол остается незамеченным. Дитер Вирт соответственно пеняет.

Der Titel *Faserland* dürfte humoristisch auf die manchen Deutschen misstratende Aussprache von engl. *fatherland* und metaphorisch auf *ausfasernd* (‘anfangend sich aufzulösen’) anspielen.

[Название *Faserland* могло бы намекать: иронически — на топорное произношение отдельными немцами англ. *fatherland*, а метафорически — на *размочаливание* («начало распада»).]

И тут я замечаю — und ich merke, нон-стоп повторяет протагонист, — Вирт тоже как бы не врубается. Поскольку немецкое слово Faserstoffe, «устарелое» обозначение для балластных веществ (клетчатки), в Швейцарии ни разу не устаревало, и Германия — это не (не просто) «размочаленная» страна, а страна клетчатки, страна эрзаца, короче говоря, херни, но выражено это даже, парадоксальным образом, с нежностью. Так что я бы рискнул предложить для названия слово «Ойчланд».

Но без комментария.

Часть II

4. ПОРА НЕ ПОРА — ИДУ СО ДВОРА

Второй раунд с Исигуро.

Безжалостно *анзипну* из контекста мнение Григория Дашевского: «Самоотречение изображено на этот раз не как чистка столового серебра и даже не как блуждания по руинам Шанхая — а как буквальная расплата собой, своими органами». Я не спорю о достоинствах текста (кто я такой?), не сетую на качество перевода (не раз лажался сам!), я взываю к логике (натаскан).

Вопрос № 18. *Что выражает финальное предложение («Просто постояла еще немного, потом повернулась к машине и села за руль, чтобы ехать туда, где мне положено быть») относительно душевного состояния Кэти перед лицом потерь и ее собственной смерти — стоицизм, отрицание, мужество, решимость?*

Один из наиболее заметных аспектов почерка Кадзуо Исигуро (прежде всего в композиционных решениях) — влияние курсов creative writing. Паттерны. Пуанты. Где-то к концу третьей четверти важную роль в книге начинает играть лодка (то есть транспорт: именно наличие машины отличает Кэти от доноров).

But then everything changed again, and that was because of the boat.

+

God knows how these things work. Sometimes it's a particular joke, sometimes a rumour. It travels from centre to centre, right the way across the country in a

matter of days, and suddenly every donor's talking about it. Well, this time it was to do with this boat.

Даже в чертовски конкретном переводе Леонида Мотылева лодка — это символ.

«Но тут все опять изменилось — теперь из-за лодки.

+

Кто его знает, как такое получается. Иногда начнется с какой-нибудь шутки, иногда со слуха. В считанные дни распространяется от центра к центру по всей стране, и вот уже про это толкуют все доноры до единого. На сей раз — лодка».

Называние сущности. Саспенс. Реплика в сторону. Резонерство, констатация. Возврат к сущности (предмету) — фиксация. Покуда 3 клона заняты наблюдением этой увязшей в болоте и чудом дошедшей до наших страшных дней рыбацкой лодки, в небе появляется самолет. Не раньше, не позже.

312

I shook my head, and when I didn't hear Ruth say anything, turned to look at her. At first I thought she was still staring at the boat, but then I saw her gaze was on the vapour trail of a plane in the far distance, climbing slowly into the sky.

Ясно, что самолет — тоже символ. Как же иначе.

«Я покачала головой, а потом, не услышав ничего от Рут, обернулась к ней. В первый момент мне показалось, что она по-прежнему разглядывает лодку, но потом я увидела, что она смотрит на серебристый след дальнего самолета, медленно поднимающегося по небу».

Пусть в небо поднимается самолет, а не след (самолет — зависимое слово, герундий относится к главному; да и не видим мы этого самолета in the far distance, видим лишь след). В великолепной наивности переводчик комментирует:

Точно так же, например, у Исигуро возникает образ лодки, застрявшей в болоте, — эта лодка никак не объясняется, герои едут, потому что им хочется

смотреть на эту лодку. Исигуро не делает акцент на том, что лодка является метафорой их положения, но тем не менее это прочитывается. И когда персонажи идут к этой лодке, смотрят на небо, Исигуро вскользь замечает, что героиня смотрит на серебристый след самолета, пролетающего по небу. Что за этим стоит, не поясняется, и даже не хочется расшифровывать; возможно, это душа этих героев, у которых такая короткая жизнь. Душа, о существовании или не существовании которой в книге идет речь.

+

Хотя это английский автор, в поэтике Исигуро, японца про происхождению, проявляется что-то сходное с японской поэзией.

Название романа продиктовано песней середины 50-х, для которой автор придумал фейковую исполнительницу с фейковым бэкграундом. Несложно предугадать, что центр тяжести повествования у мастера creative writing расположится недалеко от фрагмента, посвященного кассете с этой песней. Вкладыш изображает певицу с тлеющей сигаретой; *им* курить нельзя. Одна из «опекунш» намекнет клонам, что они — *другие*, после чего автор до неприличия «в лоб» разыграет тему того, *о чем дети догадываются, но боятся спросить* (интересно, существует ли специальный термин?). И вновь переводчик подавит авторскую интенцию в зародыше.

We certainly knew — though not in any **deep** sense — that we were different from our guardians, and also from the **normal** people outside...

«Безусловно, мы знали, пусть это знание и было очень **поверхностным**, что отличаемся от наших опекунов и от всех **нормальных** людей снаружи...»

*Мы, конечно, знали — хотя и не в каком-то **глубинном** смысле, — что отличаемся от наших опекунов, а также от **обычных** людей снаружи...*

Курсивом дан Google Translator, даже он бережно сохранит «глубину» смысла и не припишет десятилетним детям оппозиции: нормальные — ненормальные.

Мои сумбурные записи отражают тот мрачный рок-н-ролл, что выстроился вокруг знаменитой работы, а заодно и узор заячьего (не инверсионного) следа высказываний самого Исигуро, каковым он отчаянно сбивает погоню.

Изложу по цитатам, найденным мной у цитирующих: лексические сдвиги возможны, но причин сомневаться в передаче смысла...

— *Он говорит, что убирает то, что пропадет в переводе (каламбуры, речевые тонкости), ибо где-нибудь в Малайзии английские детали непонятны...* Не верю. Пример: Федор наш Михайлович Д., описывающий российскую провинцию так, что она понятна читающему малайцу. Было бы желание.

— *Он говорит о внимании японской прозы к деталям, к текстурам и запахам, о ее поэтике вещности...* Верю. Данный текст брезгает деталями и лишен поэтики вещности в той степени, в какой ему не хочется быть японским. Возвращаясь к вопросу № 18 — пятый вариант, «самоотречение», навязываемый экзегетами: *не верю*.

Я ощущаю гармонию самоотречения, когда в переведенном Аркадием Стругацким «Сказании о Ёсицуне» Таданобу, предчувствуя свой конец (то есть completing), говорит:

— Что имеет начало, то имеет конец. Все живое неизбежно гибнет. Приходят сроки, и их не избежать. Я был готов к смерти у Ясимы, на земле Сэтцу, в бухте Данноура у берегов Нагато, в горах Есино, но еще не исполнились тогда мои сроки, потому я и дожил до этого дня. Пусть так, но глупо было бы мне пугаться, что последний час наконец пришел. Умру же я не собачьей смертью!

И далее:

Он надел две белых нижних безрукавки и широкие желтые шаровары, затем бледно-желтый кафтан, завернул вокруг ног штанины и подтянул к плечам рукава, растрепанные с ночи волосы не расчесал, а собрал в пучок и завязал на темени, поверх нахлобучил и сдвинул на затылок шапку эбоси, шнурки же от нее плотно повязал на лбу. Затем он взял меч и снова, нагнувшись, выглянул наружу. В предутреннем сумраке еще не различить было цвета доспехов.

Словно воочию вижу Сато Сиробёэ Таданобу, самурая Судьи Ёсицуне. Вижу его с луком для троих в бою, с дамой в переулке Муромати, с коротким мечом во рту («лезвие сквозь волосы на затылке вышло наружу»). И льшу себя надеждой, что о сокрытом в листве также догадываюсь.

— Он говорит о стихах для песен, что они должны быть «похожими на сновидения», минимально конкретными, создавать настроение... Верю. Книга, в которой я пробую разобраться, напоминает *minimal ambient* в пустом подвале; люди клюют на ее стерильную токсичность в ожидании конца света.

— Он говорит, что есть вещи, которые интересуют его больше, чем клонирование: что действительно важно, когда время начинает истекать?... Верю и не верю разом.

А перевод скрывает от меня (в большей мере, нежели раскрывает):

— почему поздние 90-е;

— к кому обращается Кэти;

— что известно «в глубинном смысле»;

— в чем суть параноидного коллективизма клонов;

— символом чьих душ & судеб являются лодка & самолет?

Все, что касается клонов и доноров, сделано не так чтобы неубедительно, но далеко не в модусе правдоподобия. Однако книга чем-то покупает, и не обязательно оттого, что ее хорошо продают. Не тем ли, о чем дети догадываются, но боятся спросить — щекоча болезненный, но табуированный интерес шуточками об *отстеживании* [unzipping] органов (от мотылевского «вываливания» меня тошнит).

В Хейлшеме под кроватями воспитанников — соответствуя гуманности *кураторов* — имелись ларцы с сокровищами (about how we each had our own collection chests under our beds — «о личных сундучках для коллекций (?) у каждого из нас под кроватью»).

Глядя, с какой легкостью роман фасуется по заготовленным для него ланчбоксам, я резонерствую.

В опросниках, предлагающих назвать «икс» лучших или любимых, мы называем не то, что / не тех, кого любим, а то, что / тех, кого считаем нужным назвать.

Достоевский несет чудовищную чушь про инквизиторов и слезинки ребенок, но он — абсолютный художник, каждый его словесный штрих уточняет картину мира, а мы упорно именуем его философом.

Толстой повторяет одну и те же пару хоxm, до которых он некогда додумался, при этом он — абсолютный режиссер и оператор свободнейшего и выразительнейшего фильма, равного творению мира, но мы талдычим об историзме Толстого и детерминизме в его романах.

Кэти Х. из «Не отпускай меня» есть маленький худенький японский подросток в отвратительной, судя по тексту, стране; чужой, alien — в не то стае, не то своре, — что, будто затурканный в детстве Хичкок, грезит только о том, чтобы запугать взрослых, ему уже полтинник (late 1990s!), а попугай не пришлось; он кричит, мол, время-то истекает, что делать и как себя вести, с кем дружить, aliens повсюду aliens; не лучше ли смириться, сродниться со смертью à la samurai — тогда неважно, что детская мечта прахом; но этого ему даже не вышептать, все давно произнесено, пускай и не при всех; он, будучи обучен складывать слова, сочиняет себе клонов, сочиняет халтурно, нестыковка за нестыковкой, читавший Стругацких может лишь посмеяться, но дикой своей растерянностью и тоской, и — не готовностью к смерти, но суицидальным расширением повседневности как залогом душевного равновесия — он гарпунит читателя...

— *Адик, Адик, иди кюшать.*

— *Ньет, мам, я хочу убивать людей!*

Я не хочу играть.

5. РОМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА РАССКАЗЧИКА

Три романа К. Крахта — так утверждают люди (присоединяюсь!), — выстраиваются в логическую цепочку. Что неудивительно: Крахт уважает логику. И так, *Faserland* (1995), *1979* (2001) и *Eurotrash* (2021). Герой, протагонист, рассказчик — Крахт, но в то же время никакой не Крахт, — перемещается по Западной Германии с севера на юг, встречает приятелей и приятельниц, курит, пьет, блюет, никого принципиально не трахает (см. начало), в конце теряет последнего (в порядке появления) из приятелей в Боденском озере (из газет узнавая о самоубийстве), сам садится в лодку и лодочник везет его на середину Цюрихзее (при этом интертекстуальные связи жестко купируются путем необходимого определения Гессе или там Вендерса как говна-пирога).

Следующий герой попадает на колоссальную вечерину в Тегеране накануне той революции, теряет на ней своего друга (передоз; а впрочем, он его давно потерял) и после ряда скорее занимательных, нежели опасных приключений предпринимает паломничество к горе Кайлас в целях полного и окончательного очищения. Там китайский патруль берет его под арест и переправляет в лагерь, где он полноценно перевоспитываем в духе Мао.

В конце концов третий герой забирает из психушки в Винтертуре (по разным причинам знаменательной) свою мать, они снимают в банке чуть более полумиллиона франков и с этой наличкой в пакете из супермаркета в течении двух суток осуществляют небольшой такси-трип по Швейцарии — в поисках эдельвейсов и зебр. Путешествие сопровождается рассуждениями о богатых, бедных и немецком нацизме. То есть там много всяческих рассуждений, но этими тремя темами можно ограничиться, ибо герой четко дает понять: нацизм возникает на острие раскола между элитами и быдлом.

Что еще говорят знающие люди?

Первопроходца сравнивают с Холденом, кетчером в раю: «Его самый известный роман *Faserland* (1995) — как раз такая история пустых тусовочных скитаний 28-летнего Холдена Колфилда по Германии в декорациях из модных брендов», — пишет, почитав русского Крахта, Александр Чанцев. Я готов радоваться прозорливости критика, пока не улавливаю, что Колфилд (мятущийся юнец) служит для него эпонимом вроде шумахера или болгарки. Заодно ловлю фразу: «В последнем, 2021 года, романе *Eurothrash* Крахт решает припасть к корням, сделать ремейк — пишет своеобразное продолжение *Faserland*». Ерунда, взятая, скорее всего, из английского рекламного проспекта. Проехали.

«На самом деле, если кто и понимает что-то в любви и нежности, — так только эти циники. Как и ‘Элементарные частицы’, и ‘Сами по себе’, ‘*Faserland*’ — роман про любовь: к Германии, к недоступной Изабелле Росселлини, к своим друзьям детства», — пишет Лев Данилкин. Это круто, слова «любовь» нет в послесловии Баскаковой. В послесловии к 1979 оно уже есть — потому что там есть эта цитата из Данилкина! Но все ее великолепие разбивается о маленькую бумажку, прилепленную к входной двери: «Они arrogantны; они снобируют. Вот их жизнь. Этот дендизм — форма отчаяния, ‘*Faserland*’ — гламурный рагнарек, конец света в глянцево исполнении». Боюсь, Данилкин не добил до конца ни русской, ни немецкой версии, а любовь (о которой переводчица вначале не подозревала) экстраполировал из какого-то другого «циника». Нетути там ни дендизма, ни снобизма, ни рагнарека. А гламур если и есть, то только с чьей-то заскорузлой точки зрения.

И Данте — Данте с ушами, наполовину оторванными послесловием («*Похоже, отдельные эпизоды у Крахта не только в определенном смысле*

соответствуют эпизодам 'Божественной комедии', но и выстроены в том же порядке»), там нету. Вернее, есть, но не только там, растворенный как гумус: такова уж Фазеропа — она давно выстроена в том же порядке, что и круги ада.

О чем тогда эти книжки? Понять их может каждый ☺. Надо всего лишь верить в то, что там написано. Тому, что говорит тот, кто говорит. И если в послесловии к 1979 ясно сказано: «Рассказчик — достойный сочувствия проstack, возомнивший себя новым Христом или просто повторяющий — в гротескно искаженном виде — земной путь Христа накануне приближающегося конца старой цивилизации» (Т. Баскакова, *Апокалипсис в блекло-зеленых тонах*), то отчего бы нам, черт возьми, ему не верить? (...Герой попадает в Иран <...> благодаря деньгам своего бывшего любовника Кристофера (чье имя означает «Несущий Христа»)), — добавляет Баскакова; добавлю: Кристофером звали также мальчика четырех лет от роду, владельца Винни-Пуха, и отношение бывшего любовника к герою в менторском аспекте отчасти напоминает отношение Кристофера Робина к Пуху, откуда, увы, ничего не следует, поскольку рассказчик — стопроцентный Пятачок.)

Ключевая проблема современного автора — это выбор такого нарратора, какому читатель поверит без лишних оговорок (в широком смысле поверит: его стебу, его буйной фантазии, его безумию). Столь много сказано и написано уже, что шутка «когда диктор говорит: время — восемь часов вечера, я инстинктивно смотрю на часы, не врет ли он» — больше не шутка. Крахту хочется, чтобы ему верили (ровно это он коммуницирует вовне), и он выбирает правильного рассказчика.

«Фазерланд»: вечно молодой, вечно пьяный, а-ля «Смысловые галлюцинации». Его ироническая, пародийная готовность к признанию собственных ошибок, к очищению (к мочеиспусканию, рвоте, а в конечном счете и к смерти, которая, однако, не обязательна), убеждают лично меня в том, что — здесь попутав, там присочинив, — он в конечном счете не соврет. Правда, отдельные личности требовательно настаивают на *orep end* путем самоубийства. Но тогда откуда у нас его записи?

Если относиться к рассказчику серьезно, если верить, что он вводит в некосвенный, не визионерский контекст, то все случившееся случилось именно с ним (откуда, тем не менее, не вытекает, что он и автор — одно лицо).

Таким образом, если он прыгнул с лодки в озеро, он уже двадцать семь лет как мертв, мы же читаем дневник, что вполне приемлемо, только вот не верится, что он продолжал вести дневник, сидя в лодке на скамейке (банке?), перед прыжком завещав его лодочнику. Он и вправду объявляет себя Холденом Колфилдом — в травестийном русле. Он так же уязвим и беззащитен, но богат — от чего еще более беззащитен, ибо попадает в ситуации, куда бедный просто не рискнет сунуться. Тем самым мыслительный зигзаг — я беден и поэтому несчастен, — смыкается в кольцо: быть несчастным — неотъемлемое право человека в этом мире. Напрашивается, исходя из степени непричастности и неучастия, сравнение с кн. Мышкиным, но он вызывает неизмеримо меньшие разрушения, нежели князь (да — в аэропорту он поджигает куртку Barbour с оставшимися Ballistos, но, по всему судя, очаг возгорания будет локализован).

А коли возжелать экзегетики в духе Татьяны Баскаковой, то название бара Tangente подсказывает образ тангенциального движения по касательной. Богатый Колфилд уязвим окружающим его враньем, которое редуцируется им в ресентимент, каковой он, как и все иное, выдавливающее его к поверхности супа в социальной пароварке, именуется нацизмом, который является синонимом вранья, потому что страной по-прежнему рулят старые деньги, деньги наци, и новые деньги, в которых воскресли старые... *noli me tangere!*

«1979»: фактически репортаж с петлей на шее. Вот последний абзац: «Регулярно, каждые две недели, у нас проводили сеансы добровольной самокритики. Я всегда их посещал. Я был хорошим **зэком**. Я всегда старался **подчиняться** правилам. Я исправился, я **исправил себя**. Я **никогда не ел человеческого мяса**».

(Не могу пройти мимо. Четыре ошибки (не ляпа!) на четыре предложения.

Alle zwei Wochen gab es eine freiwillige Selbstkritik. Ich ging immer hin. Ich war ein guter Gefangener. Ich habe immer versucht, mich an die Regeln zu halten. Ich habe mich gebessert. Ich habe nie Menschenfleisch gegessen.

Мне трудно вообразить, что Крахт называет зэком немецкого узника в китайском лагере (или что он сам себя так называет). *An die Regeln zu halten* = придерживаться правил: если ты «стараясь подчиняться»,

значит, ты еще не исправился. *Sich bessern* = исправляться, обычный возвратный глагол, не лохи, Баден-Баден не требуется. Последняя фраза — самая интересная. В переводе тема — не ел, рема — человеческого мяса. Немецкий язык — правостремительный, фокус высказывания в нем «убегает» вправо (английский, напротив, левостремительный). Если бы Крахт имел в виду то же, что и Баскакова, он бы написал *Menschenfleisch habe ich nie gegessen* [I have never eaten human flesh].

Тема — человеческое мясо, рема — он его никогда не ел. По-русски: *человеческого мяса я никогда не ел* = **человечины я не ел.**)

С тех пор, как в седьмой главе (первая часть: 1–7, вторая часть: 8–12) повар Масуд произносит *Il est vraiment un peu simple, celui-là*, — причем мне кажется, что в оба текста вкралась опечатка (нет буквы à), — и герой в обществе дьяволообразного Маврокордато, отправляющего его в Тибет, вкушает *темной еды*, он аккуратно и последовательно сходит с ума. Безумие рассказчика — залог его клятвы на Библии. Того же, кто станет вещать о нем, как об «отправляющемся в личное паломничество на священную тибетскую гору, чтобы попасть в плен к китайским коммунистам и там найти свое очень специальное просветление, растворяясь даже не в другой культуре и хронотопе, но в восточной массе...» (А. Чанцев), я смиренно спрошу: «Доктор, откуда у вас такие картинки?»

И потом — ежели он просветлился, зачем он пишет такую художественную муть?

«Евротреш»: я не против счесть нарратором (нарраторшей) мать, знающую заранее, чем кончится любая история, хотя и требующую, чтобы сын непременно рассказал ее до самого конца; знающую содержание книг, которых она не читала; способную цитировать поэзию на языках, которых она не понимает. Она говорит с читателем посредством своего сына, псевдо- или квази Кристиана, в чем нет ничего необычного (скажем, мироздание имело привычку вещать населению посредством О. Э. Мандельштама, а Хозяйка Медной горы ругалась с приказчиком посредством Степанушки...).

6. ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ (ТОЛЬКО В ПЕЧКУ НЕ СТАВЬ)

Возвращаясь к волшебному послесловию к «Фазерланду» — я, пожалуй, признаю, его каббалистическую правоту:

«Хотелось бы сказать еще об одном любопытном наблюдении. Герой путешествует, то и дело меняя свои планы <...> (и перемещаясь из одного 'круга ада' в другой) под воздействием неких 'посредников' или 'наблюдателей', которые все так или иначе связаны с буквой 'М'. <...> Карин (которая ездит на 'мерседесе' и подкармливает собаку Макса) и Серхио (имеющий мобильный телефон); в поезде на Гамбург рассказчик встречает 'Пиздобородого' (Mösenbart), в Гамбурге — шофера в кроссовках 'Мефисто' и затем сексуального извращенца с татуировкой, изображающей крота (Maulwurf). <...> Александр, столь сильно озабоченный популярностью группы Modern Talking. К числу посредников явно относятся также Маттиас Хоркс, из-за которого герой попадает в Гейдельберг, и безымянный хозяин гостиницы, рекомендуящий ему отправиться в бар 'Макс'. Может быть, невольным посредником следует считать и Ролло, в прошлом 'крутого мода', который спасает героя и увозит его в Мюнхен... <...> 'Наблюдатели' имеются и в 'Божественной комедии', в каждом из кругов ада. Не связал ли их Крахт с буквой 'М' именно потому, что видел в них прислужников 'Машины' (Maschine), которая описывается в последней главе?»

Тщетно, о Дитер, хватать сигающего в Цюрихзее адепта за барбуrowsкую куртку...

Помимо становящейся вполне явной неоднородности и частичной тривиальности этих объектов можно утверждать, что (а) среди немецких существительных, написанных с большой буквы, такая «М-изация» не бросается в глаза, (b) переводчицей упущены еще некоторые М-слова и (с) с самых первых страниц начальные буквы имен (которые в русском языке тоже пишутся с большой буквы) тупо произвольны.

Утверждаю: Мать, Мироздание, Медной горы Хозяйка [Mistress Of The Mednaya Mountain].

Я, надо заметить, в целом отнюдь не бескомпромиссный фан романа *Faserland*, но именно он натягивает тетиву: *Faserland — 1979 — Eurotrash*. Три книги о непосильной любви (Лев Данилкин, vivat!) к чему-то ужасному: о невозможной любви к стране «своих отцов», невозможной любви к бросившему тебя большому и даже мертвому мужчине и невозможной любви к сумасшедшей матери.

Семейная расстановка чем-то напоминает два первых (они же последние) романа поляка Щепана Твардоха, «Вечный Грюнвальд» и «Морфий». В рамках безумия тысяча девятьсот семьдесят девятого года напрашивается мысль о трех удачных клонах Эрнста Юнгера (1895–1998), изготовленных в секретных английских лабораториях вслед за Кэти Х: Кристиан Крахт (1966), Джонатан Литтелл (1967), Щепан Твардох (1974). Из них самый драйвовый — это Твардох, самый искусный — Крахт, ну а самый гнусный...

Когда я переводил Твардоха, читая о нем всякое, с изумлением — возвратившись затем в варианте сэра Исигуро — обнаружил, что польские критики пишут о каких-то других книгах, не тех, что лежали у меня на столе. Рецензии и просто статьи о «Морфии» были скроены по одному лекалу — лекалу человека, который пробежал глазами первую треть книги (всего в ней 2 части, 14 глав), вяло пролистал центральную треть и отложил заключительную, учитывая мнение жены, соседей, коллег или просто пресс-релиза.

Та же фигня происходит с Крахтом — неча Баскакову винить! Простой, прозрачный до гениальности язык и точно найденный нарратор. Не *czuły* [«чувлый» = чуткий], как сказала бы пани Токарчук, а непосредственный, без мозгоедства, немцам внушенного полувеком денацификации, которая до кучи оказалась враньем, ибо страной рулят старые деньги, а это зачастую деньги наци... etc. (см. выше), а фрау Ольге Токарчук — желанием вписаться в «новую повестку».

Стереотипный немецкий писатель так повествовать не может. Он то жеманится, то скромничает, то напихивает в каждую фразу столько мишуры, что хочется предложить выкинуть половину, но тогда вряд ли что останется. «Не нужно слов!» — хочется сказать той же Юли Цее, как говорил маленький мальчик своей бабушке:

— Юля, не нужно слов!

Недоверие к языку у пишущих, у переводящих и читающих переносит действие из жизни исключительно в <их> мозг <и>, где оно продолжает развитие по новым правилам. В результате сдвига из относительной реальности в реальную относительность возникает стойкое убеждение, что даже когда Павел Львович Целан писал о бабах, он писал о фашизме. (О фашизме он, разумеется, тоже писал, но о бабах — все-таки чаще.) Новая agenda: память, травма, страдание, *per aspera* — но не *ad astra*, а в глубины

психоанализа, Kraft durch Freude наизнанку, durch Qualen ins Licht (а то и durch Quallen).

Пипл, возбужденный (смущенный?) существованием крутого независимого Крахта, всеми силами пытается повесить на него ярлыков, тем самым как бы ставя его на место в пространстве литературы. Это не срабатывает. Крахт — безбашенный путешественник с даром слова, и лучшее, что ему удастся в своих книгах — это обеспечить моментальный трип, мгновенное вхождение в предлагаемую ситуацию, в описываемый им мир. В данном искусстве превосходит он многих пишущих на немецком языке, в первую очередь тех из Германии немцев, что ведь и до сих пор, тридцать три года спустя после падения Стены, не дюжи get the kumquats out of <your> mouth and get to the point, как сказал Тони Сопрано в 13-й (!) серии 1-го сезона.

Он же вместо «присядь — и я расскажу» говорит «пойдем — и я покажу». Кристиан Крахт — мастер языкового трипа. Let us go then, you and I!

И снова первая фраза «Фазерланда», уже в качестве приглашения:

«Итак, все начинается с того, что я стою у рыбного ресторанчика в Листена-Зильте* и пью из бутылки пиво.

* Зильт — остров в Северном море (Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн). Лист — название северной части острова и расположенного там города».

Ну стоит и стоит. Пьет — пусть пьет. Мне какое дело?

А вот первая фраза *Faserland*:

Also, es fängt damit an, daß ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke.

Ее достаточно, чтобы встать рядом с героем, пьющим пиво из бутылки. Потому что каждое слово в ней просто и прямо и gets to the point. Без кумквата.

Стало быть, вот как все началось, стою я в «Фиш-Гош», в том, что на Зильте, в Листе, и пью Jever из бутылки.

Три сильных позиции: <Юрген> Гош (известнейший рыбный ресторатор), Зильт — знаменитейший морской курорт, Jever — так себе пиво (лишь в моих воспоминаниях блестящее), но мощно популярное на севере Германии. То есть: стоит себе чувак в крайне зачетном месте и вынужден пить «Йевер», поскольку другого нет (пей он, к примеру, «Потсдамскую

штангу» [Potsdamer Stange = потсдамский пивной бокал], фраза была бы выстроена иначе).

Ça a débuté comme ça. [Так-то оно и началось.] Louis-Ferdinand Céline, “Voyage au bout de la nuit”.

...Я иду!

Или:

«Таков Гейдельберг, и весной он действительно, без всякой лажи красив. Когда в остальной Германии еще по-зимнему уродливо и серо, здесь уже зеленеют деревья и люди греются на солнышке в Неккарауэн».

Где тут трип, куда? Что такое Неккарауэн? Рыбный ресторанчик в Гейдельберге? А почему люди греются в нем на солнце — когда естественнее потягивать пивас под рыбку из Неккара?

«Это место и впрямь так называется, вы только представьте, а еще лучше произнесите вслух: Неккарауэн. От одного этого слова ты словно размягчаешься. Такой могла бы быть вся Германия, если бы не случилась война и евреев не жгли бы в газовых камерах. Тогда вся Германия сейчас походила бы на это слово: Неккарауэн».

И примечание: «Неккарауэн — букв.: ‘пойма (реки) Неккар’ (нем.)».

Стало быть, люди греются в пойме реки. Эффектно! A die Aue — это луг, заливной луг, речная долина. А Неккар — это еще и река Гельдерлина, прошу прощения за рифму. Для немецкого уха Нэкарауэн — с одним «к» и ударением на первый слог — звучит действительно поэтично. Вовсе не как Никарагуа; хотя — who knows?

Крахта нетрудно заподозрить в туристическом мазохизме, поскольку трипует он по местам непростым. «Чулое» ухо да слышит: маршруты пролегли по территориям, которые он любит. Или с тем, кого любит, — все равно где. В романе 1979 к абзацу № 8 от начала мне само по себе делается ясно, что рассказчик и Кристофер — бывшие любовники («конкретно» бывшие — но...). В русском переводе (в котором — хвалит Татьяну Баскакову Дитер Вирт, — значительно меньше ошибок) до меня начинает доходить к абзацу № 28. Чудо?

Чудо. Мастер Крахт.

Фазерланд до известной степени держится на лейблах, марках — Крахт ими как бы жонглирует (Даниил Бендицкий). Жаль, что с немецкой обложки вместо 37-летнего Бендицкого переводчицу убеждал девяностолетний Грегор фон Рецтори: «Такой точности восприятия мира,

который сплошь состоит только из фирменных товаров, такой трезвости взгляда посреди пустоты, такого неприятия коллективных банальностей...» И т. д. и т. п.

...Адам, маркирующий этот мир как умеет — с помощью брендов: пропуская или переименовая те или иные бренды, топонимы etc., переводчица отказывает ему в назывании — лишая Адама ориентиров. Возвращаясь к Исигуро — упомянувшая его писательница в следующем письме цитировала своего знакомого: ...*Понимаешь, что это такой только занавес, колышущийся на ветру. А за ним — пустота.* Не в обиду будь сказано. А Крахт — может, безумными трипами герой заполняет ту пустоту, в которой его творцу почудилось нечто?

Символ-самолет проплыл над клонами-символами, созерцающими лодку-символ... У Крахта, когда герой *Faserland* случайно оказывается на пляже весьма ярко выраженных геев [ganz, ganz harten Schwuletten], которых Татьяна Б. обидно именует «очень крутыми говномесами», забыв, что некоторое количество текста назад она назвала «говномесом» Вима Вендерса, всего-навсего мерзкого типа [Arschsack], — стало быть, когда ему среди них становится фигово, он видит, «что очень далеко — там, где синева моря приобретает более светлый оттенок, — плывет пароход. Я наставляю на пароход палец, стараюсь не шевелиться и сосредоточенно смотрю, как это судно движется относительно моего пальца. Пароход, который отсюда кажется совсем крошечным, проплывает мимо пальца по той далекой линии, что соединяет море с белесым горизонтом. И самое лучшее во всем этом, что головная боль внезапно отпускает меня...» И это не символ — лекарство.

И перевод, хоть и не в меру многословен, почти точен (надо забыть, что горизонтом море кончается, а не соединяется с ним).

7. И ЭТО ВСЕ О НЕМ, ИЛИ КТО УБИЛ ЛОРУ ПАЛМЕР

— Почем ты знаешь?

— Я видел!

— Ты заглянул в окошко (подглядел в замочную скважину)?

— Я там был...

Андрей Левкин умер этим февралем. Годы подряд я был уверен, что в рассказе «Стоя у окна в феврале» о превращавшейся в оконную раму Деве

Марии он, недоумевая в финале: «Почему Она не родила девочку?» — от имени матери радовался, дескать, за сошествием в ад следовало, кажется, некое смягчение режима... Ищу и не нахожу этой фразы в сети; не я же ее выдумал?

Крахт куда более человечен, чем его реципиенты. (Состояние, что ли, позволяет — во всех смыслах?).

«В дверь заглядывает кухарка средних лет, филиппинка; она подходит к Ролло, делает книксен и потом долго трясет его руку. Она вся просто сияет от того, что Ролло вернулся. Спереди у нее не хватает одного зуба. Я хочу сказать, я почти уверен, что это так. Потому что переднего зуба нет у Бины. Бина тоже воспринимает как праздник души каждое мое появление в родительском доме. Мне кажется, для Бины и для этой филиппинки нет ничего более кайфного, чем когда они готовят для своих «молодых господ» или гладят им рубашки. Может, тут дело в том, что эти женщины никогда не имели собственных сыновей. Все это, по правде говоря, довольно грустно, но люди обычно по своей воле вляпываются в такого рода ловушки, которые тоже представляют собой определенную разновидность зависимости».

326

Откуда у простой российской переводчицы столько презрения по отношению к простым кухаркам?

Неужто *ressentiment*?

Die Köchin kommt durch die Tür, eine Frau aus den Philippinen, und sie geht zu Rollo, macht einen Knicks und schüttelt ihm die Hand. Sie strahlt über das ganze Gesicht, so froh ist sie, Rollo wiederzusehen. Vorne fehlt ihr ein Zahn. Ich meine, ich kenne das ja. Bei Bina ist das genauso. Die rastet auch jedesmal aus vor Freude, wenn ich mich wieder blicken lasse. Ich glaube, für Bina und auch für diese Frau aus den Philippinen gibt es nichts Schöneres, als für die jungen Leute zu kochen und ihnen ihre Hemden zu bügeln. Vielleicht liegt es daran, daß diese Frauen selbst nie Kinder haben. Das ist eigentlich ein bißchen traurig, aber das ist wieder so eine Sache, in die sich die Menschen hineinmanövrieren, wieder so eine Art Abhängigkeit.

Простой переводчик Google более снисходителен, нежели Татьяна Баскакова.

В дверь входит кухарка, женщина с Филиппин, и она подходит к Ролло, делает реверанс и пожимает ему руку. Она вся сияет, она так рада снова видеть Ролло. У нее отсутствует передний зуб. Я имею в виду, что знаю это. То же самое и с Биной. Она также сходит с ума от радости каждый раз, когда я появляюсь снова. Думаю, для Бины, а также для этой женщины с Филиппин нет ничего лучше, чем готовить для молодежи и гладить их рубашки. Может быть, это потому, что у этих женщин никогда не было детей. На самом деле это немного грустно, но это еще одна вещь, в которую люди втягивают себя, другой вид зависимости.

Я слышу здесь также некоторую пародийность, самоиронию, направленную на социальные размышления юного мажора, которая ввиду «открытого конца» нарратива, предполагающего самоубийство, так и не перерастает в цинизм. Меня убеждает в этом и следующий (почти соседний) пассаж, один из самых поэтичных в книге:

Das Geräusch des Windes, der durch die Büsche weht, und auch dieses leise Klicken der Eiswürfel in unseren Gläsern machen mich ganz ruhig, fast sogar ein bißchen schläfrig. Ich denke daran, daß ich früher auch oft am See gesessen habe und daß ich diese Stunde, in der das Licht nachläßt und man aufnahmefähiger wird für ganz komische Dinge, wunderbar finde. Wenn man so sitzt und nachdenkt und ein bißchen trinkt, dann wird man empfänglich für Schatten oder für Vögel, die am Himmel über dem See kreisen.

In sich sind diese Sachen ja gar nicht merkwürdig, aber wenn das alles so zusammen passiert, dann bekomme ich immer so eine halbwache Vorahnung von, na ja, etwas Kommendem, etwas Dunklem. Nicht, daß das mir Angst machen würde, dieses Nahende, aber es ist auch nicht angenehm. Auf jeden Fall ist es gut versteckt. Ich habe das noch niemandem erzählt, deswegen kann ich es auch nicht besser erklären. Es liegt hinter den Dingen, hinter den Schatten, hinter den großen Bäumen, deren Zweige fast den See berühren, und es fliegt hinter den dunklen Vögeln am Himmel her.

Фрагмент этот прекрасен сам по себе, и его с легкостью понимает Google, он даже чувствует ритм, хотя не видит украшающих прозу лирических ассонансов: *Es liegt — es fliegt*, — и делает свою знаменитую ошибку: *Nahende = Nah + Ende*, лишь улучшающую его перевод.

Шум ветра, дующего в кустах, а также тихое щелканье кубиков льда в наших стаканах навевают умиротворение, почти даже сонливость. Я думаю о том, что я часто сидел у озера и что я нахожу этот час, когда меркнет свет и человек становится более восприимчивым к очень забавным вещам, чудесным. Когда вы сидите, думаете и немного пьете, вы становитесь чувствительными к теням или к птицам, кружащим в небе над озером.

Сами по себе эти вещи совсем не странные, но когда все так происходит, у меня всегда возникает полусонное предчувствие, ну, что-то грядет, что-то темное. Не то чтобы меня пугал этот приближающийся конец, но и не приятно. В любом случае, он хорошо спрятан. Я еще никому об этом не говорил, поэтому не могу объяснить лучше. Он прячется за вещами, за тенями, за высокими деревьями, ветви которых почти касаются озера, и летит за темными птицами в небе.

Для Google понимание облегчается еще и тем, что фрагмент выдержан в стиле скупой послевоенной романтики, немного скрашивавшей полный Kahlschlag [сплошная вырубка], произведенный в немецкой культуре Адольфом Алоизовичем.

Сама стилистика, разумеется, не выросла на голом месте, восходя аж к Клопштоку, однако в этой редакции она, скорее, наследует бывшим наци, вписываясь в тему ресентимента, делающего любовь к Германии «невозможной».

К сожалению, русская аранжировка предлагает свой ассортимент.

«Шелест кустов, колыхаемых ветром, и позвякивание кубиков льда в наших стаканах совершенно успокаивают меня, я даже начинаю ощущать легкую сонливость. Я думаю о том, что раньше тоже часто сидел у озера и что нахожу эти часы — когда свет постепенно меркнет и человек становится более восприимчивым к разным прикольным вещам — восхитительными. Когда человек вот так сидит и размышляет о чем-то и немного пьет, в поле его восприятия вдруг попадают тени или, например, птицы, кружащие над озером.

Сами по себе эти вещи ничем не примечательны, но когда все вот так соединяется вместе, у меня всегда возникает полудремотное предвосхищение как бы это назвать — чего-то Надвигающегося, чего-то Мрачного. Не то чтобы оно меня пугало — То, что Приближается, — но и не могу сказать, что оно вызывает у меня приятные эмоции. Во всяком случае, его истинная суть пока от меня

скрыта. Я еще никому об этом не рассказывал и потому не могу понятнее объяснить, что имею в виду. Это что-то — за предметами, за тенями, за большими деревьями, нижние ветви которых почти касаются поверхности озера; оно летит по небу вслед за темными птицами».

На этом фоне принято желать, чтобы «он» (читай — Кристиан Крахт) самоубился.

Мы даже не жалеем суицидника Ролло, несмотря на его трогательное, на грани истерики, одиночество на берегу Боденского озера: ведь тот согрешил — мог убить хиппи на рейвовой лужайке, подбросив ему в стаканчик две таблетки валиума.

Сам герой единственно пытался сжечь франкфуртский аэропорт; далеко не смертный грех.

При помощи смерти Ролло протагонист вырывает из себя своего «внутреннего Ролло». Теперь все должно быть хорошо, потому что жизнь в сущности прекрасна, он любит жизнь, он наслаждается ею, но хорошо не становится. Между ним и предметами его любви по-прежнему стоит ресентимент. Я часто наблюдаю это в Латвии, которую очень люблю, и жизнь в которой могла бы быть такой, что лучшей и не пожелаешь, когда бы умы граждан периодически не просветляла мысль о том, что во всех наших бедах так виновны «оккупанты». Расовый немецкий ресентимент дивно выражен «легендой о Dolchstoß», кинжальном ударе, нанесенном жидо-либералами в спину германской армии во время Великой войны. Что же касается Латвии, искушаемой дремучим ресентиментом, то стоит искупаться в море или хотя бы в заливе — желательно в холодную погоду, — как любовь к этой стране вспыхивает с новой силой. Прохождение через подобие чистилища облегчает Магомету путь к вершине. (Попытка скаламбурить очевидно спровоцирована пилигримством протагониста 1979 к прекраснейшей горе Тибета.)

Переплыть озеро значит — просто очиститься. Кто-либо из рецензентов переplывал на лодке Цюрихское озеро? В нем не хочется топить, если по-трезвому.

В Швейцарии чаще всего хочется броситься под поезд с бетонного ограждения.

Фиби катается на карусели, ОН смотрит на нее, сидя на скамейке под проливным дождем.

Boy, it began to rain like a bastard. In buckets, I swear to God. All the parents and mothers and everybody went over and stood right under the roof of the carousel, so they wouldn't get soaked to the skin or anything, but I stuck around on the bench for quite a while.

«И тут начало лить как сто чертей. Форменный ливень, клянусь богом. Все матери и бабушки — словом, все, кто там был, встали под самую крышу карусели, чтобы не промокнуть насквозь, а я так и остался сидеть на скамейке» (Рита Райт-Ковалева).

А перед тем.

— Ну, ступай, а я посижу тут, на скамейке, посмотрю на тебя. (Ibid.)

“Go ahead, then—I'll be on this bench right over here. I'll watch ya.” (J. D. Salinger)

Dann los — ich setz mich da auf die Bank. Ich schau dir zu. (Irene Muehlon + Annemarie & Heinrich Böll)

Ich steige ins Boot und setze mich auf die Holzplanke... (Christian Kracht, *Faserland*)

Я спускаюсь в лодку и сажусь на деревянную скамью... (Т. Баскакова)

Вступает Дитер Вирт. *В лодке скамья всегда соединена с подлокотником или со спинкой: легче было бы, конечно, соскользнуть в воду с доски, если этому действительно суждено случиться.* Мы все привыкли к ошибкам, мы все ошибались понемногу, я, ты, она по-другому не можем, да и он не может, он тоже, бывает, ошибается (обоим неведомо: что немцу доска, то русскому скамейка), чего еще требовать от перевода 2001 года, коли пять лет спустя Л. Мотылев преспокойно переведет рубашку поло как тенниску?

В четвертый раз возвращаюсь к чему-то, требующему повышенного внимания: Faser. Фибра, по сути дела. Покуда фибры душ переводческих вибрируют исключительно от малых терций, these little differences, суть переводимого остается делом автора и читателя. Не говори: «Отчего это прежний вздох был громче нынешнего?» — потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Между тем сторонний наблюдатель Кристиан Метц [Christian Metz], тоже прикинутый такой парниша, рассуждает по радио о «Евротреше». Финальный эпизод, рассказчик сдает мать обратно

в психушку; их встречает чернокожая медсестра, укрепляя (мнимую) веру матери в то, что они добрались наконец до Африки:

Mama! Wann sehen wir uns denn wieder?

Bald.

So schließt der Roman. Der Dialog ist **ein sanfter Widerhall** des faserlandschen: *Bald sind wir in der Mitte des Sees. Schon bald.* Dennoch endet *Eurotrash* relativ untraumatisch.

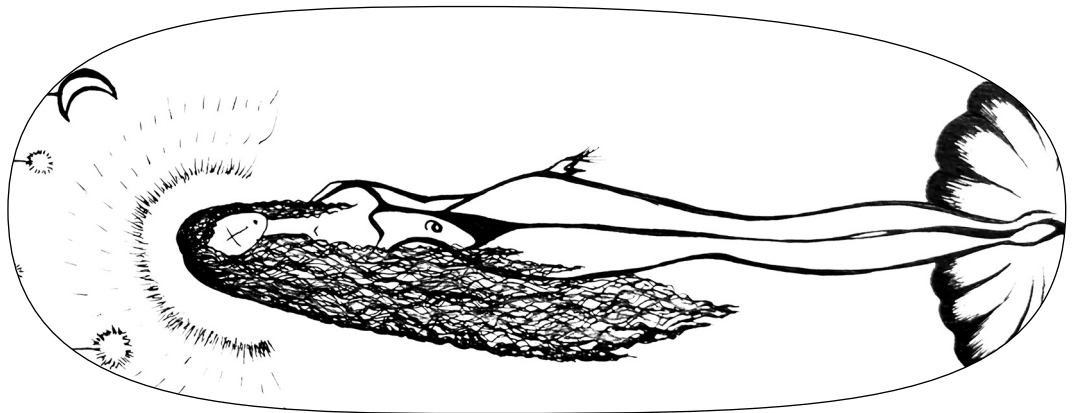
Мама! Когда мы снова увидимся?

Скоро.

*Так заканчивается роман. Диалог является **мягким отзвуком** фазерландского: Скоро мы будем на середине озера. Скоро, да. Однако заканчивается Eurotrash более или менее безболезненно.*

Смело.

Да.



Санта-ментальные истории

ПИДАРАС

Это было время, когда меня называли пидарасом. Я ходил в черных вельветовых штанах и черной плотной рубашке, с длинным хайром на не всегда мытой голове. Мимо проезжали машины, и все кричали мне: «Пидарас». От меня плохо пахло. Я был бледен. Я был беден. Я странно смотрел на окружающее. Как-то раз я шел по тенистой улице, шумели деревья, гуляли блики. Навстречу шла компания гопников. «Эй ты, пидарас!» — окликнул один меня. Я взял пустую бутылку и смотрел на них. «По-моему, он не слишком пидарас», — сказал этот чувак, и они прошли мимо.

МУХА САША, КОМАР ВАСЯ И ЖУК-ОЛЕНЬ

332 Муха Саша жужжала и билась в стекла окон. Комар Вася зудел возле лампы. Жук-олень полз по жердочке. Муха Саша сильно ударилась об оконное стекло. Комар Вася взлетел к потолку. Жук-олень полз по жердочке.

ЭКОНОМИЯ

«Надо экономить, — сказала мама. — Надо меньше есть. Надо меньше жить. Надо откусывать маленький кусок от хлеба с маслом. Надо не жить». Нежить — по-украински «насморк». Надо не жить. Надо экономить. Надо аккуратно резать буханку хлеба. Надо экономить. Покроши хлеба птицам. Им тоже надо экономить. Они улетают в теплые края. Надо не жить.

СЛЕЗЫ НА ХУЯХ

«Что-то хуи запотели», — сказал один из них, ухмыляясь.

Я был маленьким задрипанным слабым. Надо мной издевались. Меня били и унижали. Как-то раз в школе приبلатненные пацаны на физре с местной сивотой зашли в тесный кубрик раздевалки. Мы были как давалки,

мы ничего не могли сделать. Обычные мамины мальчики. Сявки вытерли свои хуи, расстегнув ширинки, об атласные подкладки наших пиджаков.

КОМАР

Вышел из лесу. Вокруг жужжали комары. Их немолчный хор поднимался к небу. Я представил себе собирательное лицо комара. Хитрое, ухмыляющееся. Облизывающее запекшимся языком тонкие губы. И сплюнул. Комар исчез. На его месте появился кулек. Порванный кулек с бездной вместо дна. Он шевелил конечностями, вися на древе, и изредка громко хлопал на студеном ветру. Это лицо пустоты. Подумал я. И зашевелил конечностями. Вдыхая холодный воздух. Комары улетели в лицо кульки. Они исчезли в пустоте вечности.

ПСИХОТЭ-ОЛЕНЬ

Она была моим шаманом, а я был ее оленем. Камлала она на тайне тела нашего. Она ебала когда-то и тело. Тело нашей любви и охоты. Хохоты: селяви, икота. Странная напасть. Вполне ожидаемая. От человека приземленного и смешного. И снова она касалась рукою края оконной рамы, стопую касалась тени, которая есть в Вигваме. Тень ползла перед ней, как леопардова шкура, и я узнавал ее между этих беспокойных пятен.

С
С
С

НЕВАЛЯШКА

Мистер Бэби перекрестил рукой рот. Мистер Бэби делал творог из молока летучей мыши. Мистер Бэби говорил, что он Бэтмен. Мистер Бэби садился в кадушку, брал швабру и проваливался в третье измерение. Много хорошего сделал мистер Бэби. Мир его праху. Он не может умереть. Я вижу: он выходит из парикмахерской и садится к чистильщику обуви. Утренняя газета в его руках. Потом он проходит сквозь стену, садится в космолет и летит прямо к Сатурну. Черной планете. Чтобы получить инструкции у Старца Горы. Когда Зухра восходит над миром, озаряя всё гниловатым сиянием колеблющихся водорослей, лежащих, как космы русалки, на желтоватом песке.

МУЗЫКА

«Сейчас как дам тебе по консистенции, хуйло заповедное!» — обратился рыжий парень к пернатому грачу. Грач смотрел на него черным глазом и покачивался на ветке. Грачи прилетели, а вы ничего не поняли. Парень плюнул, вытер потный лоб шапкой и пошел, кособочась, к дверям кабака, которые, как нотный знак, вертелись на ветру, впуская то генерала от инфантерии, то Мишку от Клавки, то белого нетопыря.

БАБА НАДЯ

Лошок прибежал. Шо ты, теля? Сейчас зарежу тебя и съем. Му-у-у-у.

КЕКС БЕЗ ИЗЮМА

Кекс без изюма. А кому легко? Мне легко. Тогда будем тебя убивать.

334

БУБЛИКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

В детстве я играл в гуттаперчевый Мак-Дональдс. Там были резиновые бургеры и отбивные стейки. Чайки летали между столами. Там было флизелиновое море с бархатными кустами и морскими опушками. Мак заряжал трубку. А Дональд стрелял из нее короткими шариками. Так было всегда. Стеклянная утка покачивалась под потолком. А резиновый Мак сыпал сахарную стружку на рабочие поверхности столов.

ЛЮБОВЬ

Друг мой. Которого никто не любит. И который ненавидит человечество. Почему они его не любят, когда он их так ненавидит? Поэтому они достойны ненависти. Его любить надо. А вы это не понимаете. Будьте вы прокляты!

БЕС

Лысый бес Мистраль сидел возле костра и глядел, как кружились снежинки. Будто бабочки на опушке леса. Будто сумасшедшая картечь,

потерявшая центростремительность. Жухлыми жуками падали снежинки оземь и превращались в добрых молодцев. В их голограммы. Которые слизывал Мистраль длинным языком хамелеона. А потом долго задумчиво сидел и смотрел, как добры молодцы из его нутра превращаются в кипящее варево внутри чугунного быка, которым был он сам — Мистраль — лунный бес первого посола из закатных бочек солнца.

ПРОГУЛКА ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ДОЖДЯ

Я шел, бежал во время летнего дождя. Нажал на клавишу зонтика. Дождь шел, стекал по выпуклостям и округлостям. Дождь выпил тучи. Все было понарошку. Дождь, гроза и я. Я шел, бежал во время дождя. Я падал в эти лужи отражением. Тысячи игл, тысячи капель шили деревья, небо, солнце. Это был летний дождь. Деревья шумели. Дождь шумел. Я шел, бежал во время дождя. Тучи останавливали меня. Время текло сквозь меня. Я шел бежал во время дождя. Я падал. А время шло. Как ни в чем не бывало. И тучи плыли по горизонту. И белый взгляд месяца был особенно ясен. Я был прост. Я был куст. Я рос до звезд. Я шел, бежал во время дождя.

НЕ ЛУНА

Решили выделить у человека свет и убили его? Кого? Человека. А свет убили? И свет убили. И плыли они убитые на одной реке, и падали вместе в реку, и мерцало солнце сквозь густую листву. А луна погасла.

А кровь лилась по листьям твоим, человек. И не знал ты себя. И голое зеркало было твоим другом. Твои соглядатаем. Твоим песнопевцем.

ДРУЖБА

Я думал о том, что нет никакой настоящей дружбы. Все человеческое — это слабость среди растений и животных и двурелейных автоматов. Они относятся к тебе так вегетативно, оплетают щупальцами. Их добро — это добро их желудка, когда они едят тебя причмокивая. А зло — это когда им помешали есть. Обломали кайф. Вонзили занозы. Взяли за горло. Бог — это начальник. Он поможет. Если ты будешь хорошо вести себя. Я выучил правила назубок.

ТАМ

Жизнь несущественна. Жизнь причинна. Жизнь — это поручни трамвая. Но ты никак не можешь влезть в вагон. Так и висишь на подножке. Выдыхая морозный воздух. Морозный воздух трамвая. А на улице жара, июль. Окна трамвая заиндевели. Они похожи на старинный гербарий, который ты хранил в альбоме. Трамвай катится. На улице плавится солнце. А пассажиры не видят оттуда внешний мир, который проваливается вовне.

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

У меня была банковская карта. Резервная. Не сильно мне и нужная. И вот «пластик» ее лежал на моем столе, сливаясь с лакированной поверхностью столешницы. Я неловко взмахнул рукой и смахнул пластик. Как я потом ни искал ее, я обшарил все углы, я не мог найти этой карты. Пластика. Бог прибрал ее.

Карманы времени живут в нас. Что-то проваливается в нас. Безвозвратно. И только в далеком тоннеле ползет какое-то насекомое, царапая клешнями стены.

ЧИТАТЕЛЬ

Болел изысканными болезнями. То ангина, то боли в спине. Как будто кто-то и впрямь решил меня вывести из равновесия. Из зависимости. От этих книжных шкафов, от этих пьяных рассветов, от этих утомленных закатов.

Этот текст составлен из нескольких фрагментов моего романа о средневековой Натангии, о Восточной Пруссии с ее жестокими войнами и хрупким миром, с борьбой между язычеством и христианством, с ее людьми — отчаянными и сомневающимися, любящими и ненавидящими. Населяют отрывок мифические и «реальные» герои: Дорно — юнец, что станет в будущем великим вождем; Заланга — девочка из местного племени; «долгожительница» колдунья Стагата; морской царь Атримп и его дочь Банга; бог всех богов Укапирм... Альбис, друг... Маттел, враг...

Каждый раз, когда бредешь по берегу реки, озера или моря, каждый раз, когда как бы случайно оскальзываешься на гладком камне или теряешь равновесие, зацепившись за увязшую в песке ветку дерева, ты будишь мурашки страха. Зудит под ложечкой, в затылке. Это не камень, не сук дерева, не что-то еще. Ты знаешь, что это, ты это уже испытывал. Ты чувствовал мои стылые пальцы на твоей шее, мои соленые губы. Мы целовались. По-настоящему, бездонно. Когда опять придешь на берег моря, то вспомнишь обо мне, но сам этого не узнаешь. Я всегда буду твоим вечным незнанием. Точно так же, как ты не знаешь и не можешь понять всего того, что больше тебя, даже себя самого, потому что на самом деле ты больше того, что знаешь о себе. Весь век ты с равной силой жаждешь и боишься неизведанного.

Твоя обреченность, твоя судьба связана с тем, что ты потерял, сам того не замечая. Это оно заставляет тосковать и искать. А стоит настичь воображаемую потерю, понимаешь вдруг, что поймал мираж, и всякий раз начинаешь поиски заново.

Год приблизительно 1240-й.

В то утро она долго играла с бледным юнцом; шипела и выла пареньку в самое ухо, хватала его башмаки, какое-то время швыряла их по сторонам и вверх, выбрасывала в ближайшую дюну, зачерпывала пригоршни теплого золотистого песка, сыпала юноше под рубаху и в штаны, заседала песком его волосы, уши и глаза. Когда мальчик — то ли от усталости, то ли по какой-то иной, не известной Банге причине, — перестал хвататься за ее пышное трепещущее платье и все глубже зарывался в складки, она отпустила его. Потеряв юнца из виду, Банга решила вытрусить платье в ту же дюну.

Она улыбалась еще какое-то мгновение, а потом попыталась вернуть себе тело мальчика; то обматывала его ноги длинным окровавленным подолом своего платья, то хрупкими пальцами цеплялась за его штанины, едва не срывая их с бедер. Но возвращения не случилось.

Солнце садилось. Юбки Банги тяжелели, в них багровели и чернели прежние прозрачные кровавые пятна. Она еще раз погладила мальчика. На его теле запеклась алая пена, а на берегу осталась пара золотистых янтарных камней и спутанная клубками бурая трава с этим сладко-искристым дымным ароматом в остывающем воздухе пестрого листопада.

Банга успокоилась и отступила. Она отправилась к отцу.

...

Не в первый раз Заланга тайно, ей одной известными тропами, пробралась к большой бушующей воде. Звать по имени было запрещено. Старая Стагата один разочек тихо рассказала, что тогда вода взмывает в небо и нападает сверху, пожирая всех людей, их скот и даже дома. Люди умирают ужасной смертью, столь ужасной, что мертвых не принимает подземный мир. Нет-нет, Заланга будет молчать. Заланга крепко-крепко прижмет ладонь к губам. Заланга только одним глазком глянет, не позовет ли кто-то вдруг эту большую воду по имени. Заланга предскажет тот миг по тучам и успеет прыгнуть в душло дуба-гиганта.

Сюда приходили только мужчины. Лишь они имели силу устоять против великой воды. И Заланге хотелось своими глазами видеть, как волны выбрасывают в песок янтари, эти солнечные камни.

Ее взгляд блуждает по береговым пескам. Янтарей не видно. Перед наступлением темноты еще кричат некоторые морские птицы. Расклевывают рыбу покрупнее или другое какое животное, выброшенное водой. Среди серебристых и серых птиц каркают вороны. Они держатся подальше от остальных.

«К буре, да?» — еле слышно произносят обветренные губы Заланги.

Чуть ближе к Заланге и дальше от голосащей стаи птиц на темном пригорке неподвижно сидит черная птица. Ворона? Галка? Порой наклоняется, что-то клюет, порой поднимает ногу к самой голове. Другие птицы держатся поодаль, не приближаясь к черной. Заланга не может оторвать от нее взгляда.

«Больна, да? Ранена?» — Некоторое время она рассматривает черную ворону.

То и дело какая-нибудь птица срывается в сторону сидящей вороны, та покачивается, словно теряя равновесие, и громко клекочет в сторону подлетевшей, отпугивая ее. Заланга, понаблюдав какое-то время за странными делами птиц, решила снова поискать янтарь. Солнце сегодня вечером почти невидимо, спрятано где-то за темными облаками. Бывает, на закате оно освещает песок и береговые камешки. Некоторые из них похожи на золотые янтари. Заланга оглядывается на дивную неподвижную ворону. Она все еще там сидит. Влажный морской ветер усиливается, он развевает и путает короткие, слегка рыжие пряди Заланги. Волны оставляют свою пену на берегу все ближе и ближе. В такие моменты они нет-нет да и выбросят один-другой янтарь. Заланга знает это. Она торопливо перебегает от одного подозрительного камня, который издали кажется солнечным, к другому. Но стоит приблизиться, камни превращаются в самые обычные. Заланга недовольна. Она незаметно подходит к сидящей вороне. Ветер ерошит птице перья на хвосте, ворона поднимает то одно, то другое крыло, но все равно торчит на том же месте. Заланга застывает.

Это же... человек. Черные взлохмаченные волосы облеплены песком. Ветер треплет их туда-сюда и посылает желто-коричневой крупой недвижимое тело. На спине сидит ворона.

«Плохой знак...» — говорила Старая Стагата, когда что-то шло не как обычно. Правда, Заланга не знает наверняка: «Придется вернуться. Солнце упадет за край земли, и наступит тьма».

Мысли в голове Заланги несутся одна за другой. Человек не отдан богам. Он спит? Ранен чужеземными смертеносцами? Сам — смертеносец?

Что ж, уже скоро тьма окутает берег и воду, людей и скот. Заланга сомневается. Однако через мгновение, прячась за высокими побегам трав, медленно подбирается к лежащему. Под истерзанной рубашкой парня виднеется коричневая кожа. Он не похож на местных мужчин. Ни на одного. Больше похож на смертеносца. Заланга выглядывает из-за небольшой песчаной насыпи в двух шагах от парня. Она изучает спящего. Ворона изучает Залангу. Молчи, не каркай. Кажется, парень пошевелился. Он стонет? Заланга задерживает дыхание. Жизнь еще не покинула человека. Парень выдыхает что-то непонятное, потом еще и еще раз. Сквозь ветер Заланга не может понять, действительно ли чужак что-то сказал или ей

просто привиделось. Он открывает глаза и мгновение смотрит прямо в ту точку, где всем телом к песку припала Заланга. Дождавшись, пока парень опять закроет глаза, Заланга молнией вскакивает и убегает. Прежде чем полностью исчезнуть, оглядывается. Вороны нет.

Над Брунсбергом странной багровостью переливается лунный серп, врезанный в черное полотно неба, точно как в те предопасные часы, когда, не дожидаясь рассвета, хитрыми ворами крались смертеносцы. Вначале, одетые в длинные робы, под которыми прятались нашейные кресты, они рассказывали о своем Боге и чудесах, которые он может творить, если к Нему обращаются в вере, и о жизни в ней до самого восхождения на небеса, где можно пребывать без печали. Позже их одежда стала тяжелее и темнее, кресты — крупнее, а кони — свирепее. Они топтали землю Пруссов, ее рощи, холмы и людей.

Все жители холма знали: такой серп луны — это верный знак Укапирма.

Заланга не могла уснуть. Ворочалась и возилась.

340 «Глупая, что делаешь! Заланга, это чужак. Смертеносец. И он наверняка говорит на непонятном наречии, он принесет беду. Прикончи его! Убей, отдай обратно Антримпу», — мысли в маленькой голове Заланги бежали, как облака под небом во время сбора урожая. Она давно уже усвоила сказанное грубым голосом Стагаты: «...кто убивает достойного слугу богов, через которого от богов его друзья получают силу и величие, тот должен быть растерзан друзьями слуги».

Убил ли этот израненный, полуголый юноша кого-то, тем более — убил ли он достойного слугу богов, этого ведь сейчас не узнать. Даже Антримп пощадил его, вынес из моря на сушу. Разве это не добрый знак?

...

— Дура! Глупая девчонка! — шипела Банга вдалеке, когда Заланга, испугавшись неподвижного тела юноши, в вечерних сумерках спешила домой. Банга раскачивалась и извивалась, дергала свою юбку вверх и вниз, швыряла Заланге вслед белую пену, но та растворялась в воздухе, и волос Заланги касалась лишь странная серая влага дымки или вечернего тумана. Бросилась Банга к своему отцу Антримпу, трясла и теребила отца, пока тот не проснулся, и вся вода не поднялась вместе с ним. Потемнело небо до черной черноты, а луна засверкала кровавым светом.

Боги уселись вокруг костра. Они судили о царе Натангии.
Решали его жизнь и смерть. Решали о Брунсберге, решали о Пруссии.

...

— ...рррно! оррно! Дорррно!

Сквозь сипящий, шипящий и где-то в ушах, висках, в голове, в теле саднящий звук иногда доносится узнаваемый оклик. Будто отец зовет.

— оррно! Дорррно!

Веки тяжелые, словно им не дано смыкаться и распахиваться: они — сплошная кожаная перепонка из плоти. Но и плоти, кажется, нет. Есть один огненно-жгучий кусок мяса. Дерево, срубленное в месяц движения соков, живая рыба со снятой чешуей. И все-таки — суша. Это чувствуют живот, руки и лицо. Оно вмято в хрупкий песок так, что воздух попадает только через одну ноздрю и уголок рта. Воздух занозистый, песчаный и жалящий. Язык — неподвижная деревянная втулка. Застрял в горле, как затычка от бочки — не вытащить, не напиться золотистого медвяного пива или только что перебродившего березового сока.

— ...рррно! оррно! Дорррно!

«Это же голос отца», — мальчик пытается открыть глаза, которые будто вросли в лоб или необратимо затерялись в скулах. На миг ему удается слегка приподнять веки. Свет слепит глаза. Больше он ничего не видит. Веки падают вновь.

«Я побежден. Отец, твой сын Дорно из Ламикии проиграл битву. И одолены мои люди из Курсы, преданные Папе Римскому телом, землей и волей за обещанную свободу. Настало время вознаграждать, но отчего ты не идешь и не забираешь своих мужей, что последовали за твоим богом? Почему он не возвращает нас, если уж мы отданы ему, отец? Ни папе, ни епископу, ни их богу мы не нужны свободными?» — Сквозь боль, пронзившую все тело, в голове Дорно вспыхивают мысли, видения, звуки и цвета. Он вспоминает, как мысли эти когда-то прежде гнездились в его голове. Они поднялись из полгорсти дрожжей с самого доньшка сосуда для хлебного теста, бродили день и ночь без особого тепла — наверное, от безучастности чужих лиц, которые так много обещали. То, мыслимое, оборвалось сразу после того, как где-то прямо возле уха раздался голос,

похожий на голос отца. Но это не он. Так перед смертью кричат раненые солдаты. Затем умолкают навсегда. Но Дорно жив. Настолько жив, что не выдерживает, еще раз пытаюсь поднять веки. Да, свет уже не такой яркий. Его почти нет. И каркающий голос пропал.

— Наконец свободен! От короля Дании, Швеции... и воли папы, и его Бога. Наконец свободен. От короля... папы... бога... я свободен. — Эти слова, кем-то сказанные, где-то слышанные раньше, крутились и кружились в ноющей голове Дорно так неистово, что рев моря, чья громкость и сила прибывали, не мог перебить ритм и звучание этих слов. Дорно постепенно осознал, что лежит на морском берегу, что темно — и прохладно.

...

Заланга мечется взад-вперед. Ее веснушчатые щеки совсем покраснелись, ладони увлажнились, Заланга время от времени потирает одну о другую, о свои бедра, потом прячет в них лицо, снова, будто вытирая, проводит ими по бедрам и ногам.

Она вновь направляется к берегу.

Добежав без передышки до того места, откуда днем видела юношу, она пытается рассмотреть силуэт лежащего человека. Берег кажется светлым и странно блестящим. Пустой. Там никого нет. Ни ворон нигде нет, ни прочих птиц. Большие гребни воды пульсируют тут серебристой, там янтарной пеной, непонятно шипят, не то посмеиваясь, не то присвистывая.

«Он взят назад. Антримп забрал его себе», — Заланга, тихо бормоча, недолго вглядывается в темную даль, затем поворачивается домой. Однако какое-то дуновение, какой-то посторонний запах влывает в ноздри девочки. Заланга прижимает обе ладони к груди и невольно приседает. Под ложечкой жарко, как и на щеках.

Он тут, лежит среди кочек с острой травой. Неподвижный. Теперь совсем близко. Заланга угадывает его тяжелое дыхание.

Чужак ничего не ощущал, не видел и не слышал. Спал тяжелым сном. Из такого сна можно и не вернуться. Говорят, великие боги не могут решить, куда таких деть. Важнее ли дела, что предстоят на земле, дел подземных или небесных? Заланга знала, что сейчас чужак не опасен. У него нет ни силы, ни воли, ничего, что могло бы навредить ей или кому-то другому.

Подползает еще ближе. Можно почувствовать жар кожи юнца, заметить кровоточащие раны. Грудь мальчика поднимается и вместе с выдохом тяжело опадает обратно. Его сочащиеся раны полны берегового песка.

— Моча! Мне нужна моча.

...

Судороги в спине и ногах весь день мучили старую Стагату. Вечером, сидя перед очагом, она деревянным пестиком давила и разминала бобровые железы, которые полила странной буровато-зеленой жижей. Снадобье из желез еще не успело хорошо отстояться, потому сморщенное лицо Стагаты скривилось до неузнаваемости, как будто она готовилась тотчас выпить этот отвар досуха, но все не могла решиться.

Она была самой старой во всем племени. Вайделоты изредка приходили к ней беседовать, чтобы лишний раз не беспокоить богов. Рассказывают, Стагата пережила уже более пятидесяти листопадов. Это был почтенный возраст, и большинство считало, что боги не берут ее к себе, так как забрали двух ее сыновей. Первого еще невинным младенцем смертеносцы увели в далекую землю Куршей, так болтали некоторые знатоки, а Стагата верила, второй — вождь Верос всеведущий, каких боги до сих пор не давали Брунсбергу, был тайно убит. И вот Заланга, сирота, предпосланная Стагате. Стагата умела помочь скотине и человеку, если боль была не слишком сильной. Она знала нужные слова — и часы, когда их сказать, а когда их думать.

Едва настала темнота, в шею и грудь Стагаты вверглась тревога. Вместе с ней все усиливалась боль в костях и спине. Ощущалось отсутствие Заланги. Ждать Стагата умела. Она ждала.

...

— Ты посмела коснуться обреченного. Ты нарушила древний завет — привела в племя незнакомца. Это дурной знак. Знак гибели!

— Этого парня обнимал сам Антримп! А он живет живого. Еще никто не возвращался из подводного царства.

— В огонь!

— Убить!

Толпа мужчин, окружив темноволосого парня и совсем юную девочку, кричала.

Вокруг трещат и гнутся под ветром ветви деревьев. Гроза близко. Смеркается. Двое юнцов, прижавшись спинами к могучей ольхе, испуганно смотрят в лица разъяренных мужчин. Чужак едва стоит на ногах, кажется, что его держит дерево, в чей ствол парень вжался своей спиной.

— Если небесные копы не расщепят этих двоих, значит, для обоих боги приберегли другие планы, — сказал в конце концов человек с огромным, не до конца зажившим шрамом вместо правого глаза. — Пусть случится, как решат Великие, подождем!

Мужчины были явно встревожены, но большинство утихло и согласно кивало головами. Однако по жилищам своим они всё не расходились. Поразглагольствовав еще немного, решили, что обоих юнцов следует оставить в лесу, пока старейшина племени сходит к вайделотам, через которых и будет обретено решение Бога всех богов. Юнцу и девочке категорически запретили подходить к людям племени, а иначе эти двое будут безжалостно убиты, как отмеченные смертством.

Была ли надвигающаяся буря знаком для мужчин или наказанием для юноши, никто не мог понять. Небесный гром всех и всегда делал смиренными, поэтому мужчины, жаждущие крови и готовые убивать еще минуту назад, вполне мирно пустились прочь.

...

У Великан-дуба сквозь вспышки молний и раскаты грома звучало торопливое бормотание. Выбрызгивалась кровь ягненка из перерезанной шеи, лилась на камень, текла к корням дерева, пока струя не утихла, не впиталась в землю рядом с цветущими луговыми травами и садовыми прирученными цветами. Мужчина то и дело возносил руки к дубовой листве и повторял снова и снова:

«О солнечный Диевайтис украшенный светом пусть лучистость твоя укрепит глаза пусть ясность твоя вразумит умы вот тебя раскрасивые цветы лугов вот тебя прикуска из годовалого ягненка

- О самый первый
- О первейший
- О высший

О семя и сила всего могущество и ведение Ты яви свою волю и норов дай знак о смерти или о жизни...»

Тем временем Стагата семенила лишь ей ведомыми тропами, все приближаясь и приближаясь к брошенным на произвол судьбы юнцам. Небо лопалось и гремело, хлестал ливень. В эту ночь луна не взошла ни серебряная, ни золотая, ни кровавая, как той ночью, а море слилось с землей в мокрый ком. Под ложечкой у Стагаты закружил вихрь сырого воздуха.

...

Небо прогрохотало, затем все стихло. И боги были сказавши: «Стагате должно своего давно украденного сына найти. Только через Стагату править ему Натангией, судьбы Пруссии свивать. И Заланга через девять сыновей еще девять столетий будет беречь это семя. Оно станет ворочать землю, скалы, море и болота, оно поведет роды встреч жизни и смерти, чтобы сквозь огонь и воду, сквозь боль и счастье возрождать себя вновь и вновь. Пока море будет восставать на небо, пока дождем будет проливаться на землю, пока человек будет ощущать в себе старую Стагату, до тех пор ее душа семя сеять станет и год за годом урожай собирать».

«Стагата, спеши, Стагата, беги! Дашь еще раз жизнь сыну, признав его, всевеликого правителя Натангии. Должна будешь эту весть им рассказывать и оборачивать их судьбу волею могучих богов. Гореть Брунсбергу от чужих и пылать от рук сына твоего, когда спустя годы выкурят их из прусской земли. Упорство за упорство, пламя за пламя, око за око, меч за меч будут драться столетиями, и искры высекутся», — вздохнула Банга так сильно и жалобно, что Стагата спешно подняла глаза вверх, затем, словно что-то услышав, оглянулась. Брунсберг горел алым пламенем. Бились кинжалы о кольчугу. Железные кресты, висевшие у носителей кольчуг на шеях, вдавливали людей Брунсберга в землю.

...

Перегнувшись через тело какого-то чужого воина, Дорно пытался понять — жив тот или нет.

— Не касайся его! Он мечен крестом, — внезапно неизвестно откуда послышался чей-то колючий голос.

Дорно выпрямился. На тропе, по которой он проходил довольно часто, обычно не было ни единого живого существа, кроме куда-нибудь спешившей лисы или ежа. Прежде чем вывести из леса в поле, тропа недолго вилась сквозь небольшие кусты и редкие мелкие деревья. Откуда ни возьмись перед Дорно встал Маттел. Скособоченный, как всегда, он будто бы прятал искалеченный глаз от прямого взгляда, а более короткую ногу слегка вытянул перед собой, уткнув носком в землю.

— Остерегайся, чтобы тебя тоже не пометили. — Маттел втянул голову в широкие, но кривые плечи и боком, хромя, проковылял мимо замершего Дорно.

— Кто его убил? — наконец опомнился Дорно. Но Маттел был уже далеко.

Да, ответа не последовало. Маттел взял да и пропал из виду, уворачиваясь на бегу от частого кустов можжевельника. Какое-то время Дорно смотрел на затылок лежащего мужчины, а затем перевернул его лицом вверх. Огромный шрам на щеке через глаз. Из перерезанной шеи все еще текла кровь. Дорно этого человека видел. Наверняка был одним из беженцев. Нет, все же где-то в прошлом... Брунсберг! То была последняя ночь в Брунсберге перед изгнанием и дорогой в Натангию. Дорно вспомнил слова этого мужа со шрамом вместо глаза: «Если небесные копьё не расщепят этих двоих, значит, для обоих боги приберегли другие планы». Возможно, именно этот человек склонил остальных в пользу спасения жизни Дорно.

Парень в гневе стиснул зубы так сильно, что широкие челюсти хрустнули, а на шее вздулись вены. «Я, Дорно из Ламикии, однажды с ненавидимыми здесь смертеносцами отправился, чтобы других делать слугами чужого Бога или убивать. Это я есть тот, кого, побежденного, море выбросило как полусдохшую рыбину на берег, однако на чужой земле я был спасен, выхожен и принят как сын. Здесь бы лежать мне полагалось». Горячее дыхание Дорно все резче вырывалось в холодный воздух, превращаясь в непрозрачный белый пар.

Вокруг тихо, холодно, и где-то над головой каркает ворона. Ее карканье напоминает что-то из былого, что-то очень знакомое. На миг показалось, что воспоминание вот-вот вернется, но в следующий миг все покрывается непроницаемой дымкой и уплывает куда-то далеко-далеко, как лодка в заливе, что мелькнула на мгновение и вдруг исчезла, оставив наблюдателя в неизвестности: что это было — явь или морок?

Сколько бы Дорно ни внимал карканью ворон, этот звук его тревожит. Он поднимает взгляд к птице, которая не прекращает надрываться. Но вороны больше нигде не видно и даже не слышно.

Немного постояв возле мертвеца, Дорно продолжил свой путь к беженцам. Его не покидала мысль, что Маттел вынашивает нечто недоброе. Уже раньше он слыхивал, что этот человек частенько захаживал в одно глухое и небольшое поселеньце. Болтали, что он якобы подыскивает новую жену и даже нацелился на одну из пришелиц.

Дорно шел все быстрее и быстрее. Мысли о Маттеле, как и он сам, улетучились, и Дорно вернулся к прежним размышлениям. Он знал — вскоре влажные листья превратятся в хрупкое стекло, земля покроется снегом, и людям, устроившим на дальнем пустыре несколько стоянок, придется несладко.

Сам Альбис не был в восторге от затеи Дорно, но и препятствовать не стал, более того — пообещал помочь и найти поддержку среди местных.

Дорно чувствовал, что знает о намерениях и ожиданиях своих и чужого богов. Ведь он был когда-то убийцей и убитым, он обманывался и обманывал сам, но боги не отвернулись от него. Он знал, что и как говорить этим людям — до того, как местные мужи, объятые холодной ненавистью, сойдутся друг с другом под покровом третьей тьмы. Тем временем крест носящие ждали снега, чтобы зажечь для продрогших свой костер. Дорно понимал, что времени мало, и одной искры достаточно, чтобы запылала ненависть, которая обратит местных против беженцев. Но не только: она обратит отцов против сыновей. Дорно ощущал это. Кто вдохновил его? Кто ему это нашептал?

Он понятия не имел, но уверенность придавала ему сил и звала вперед.

Дорно еще раз поднял глаза к небу, надеясь разглядеть ворону, чье карканье было для него привычным спутником судьбы — почти как шелест леса или журчание ручья. Или в обратном порядке: как журчание ручья и шелест леса...

Перевел с латышского Янис Грантс

Юля смотрела на свое отражение в зеркале. Оно и правда ей шло, это нелепое платье. Темные волосы удачно заземляли его боевой раскрас, ноги... Ну, в этом платье у нее были только ноги. Правда, это была не она, а какая-то странная замороженная женщина, обслуживающая чужое эго. Где-то за окном засвистели колеса дрифтеров, и Юля поняла, что надо сделать. Она выключила свет, сняла платье и распахнула окно на улицу. Взломанный корнями асфальт парковки ловил свет фонарей. Юля представила, как кинет платье туда, оно спланирует и упадет мертвой жар-птицей на голый асфальт, и из этого выйдет прекрасное фото для какой-нибудь полупрезной биеннале. Юля бросила платье. Оно шмякнулось об асфальт дохлой селедкой прежде, чем Юля успела моргнуть. Она засмеялась. Так было даже лучше.

РАЗ

— Почему ты уехал?

В сотый раз его сестра начинала разговор именно этой фразой. Раньше Йоргос пытался ей как-то ответить, но, что бы он ни говорил, упирался в стену непонимания.

Просто болтовня. Марго это было совершенно безразлично.

— Приветствие, как всегда, зашибись. Поставлю эту фразочку вместо звонка на твои входящие. Похоже, ты по-другому уже не умеешь...

— Ха, ха! Как смешно! — не унималась Марго. — Ты объясни, и я больше не буду спрашивать!

Как же.

Марго слышала только себя, свои вечные претензии ко всем — к родителям, к мужу, к нему, даже к дедам. Йоргос сидел в тусклой комнате, откинувшись на изголовье одной из кроватей; Марго праведно-гневно дребезжала в телефоне. Несмотря на поздний час, кто-то из детей шелестел рядом, и Марго аккуратно пропускала тяжелую артиллерию. А ведь могла бы и не напрягаться.

— Какого ты вообще к ним поехал, если тебе настолько на них насрать!

Йоргос положил трубку. Нет, сестрицу не могли смутить даже дети. Всегда была той еще свиньей. Из дома сбежала раньше него, под предлогом замужества, теперь возомнила себя государственным прокурором. Так что едва дед слег с сердцем, йая позвонила именно ему. Не своему сыну, не его

жене, не их дочери, его безумной сестрице, а именно ему. Он тогда сразу прилетел и впрягся во всё вместо деда. Хорошо хоть опыт на ферме был — не надо никого ни о чем просить, можно просто встать и делать. Вот они с бабулей и делали. С утра и до обеда. В обед под защитой кондиционера ехали к деду в больницу, а затем возвращались домой. И снова пахали, теперь уже до самых сумерек. Может, именно потому, что йая видела, как он пашет, она и не попрекала его вылазками в город, вне зависимости от того, каким он возвращался — и как: один или с подругой.

Однажды после очередной такой вылазки он вперся в кухню в одних трусах, уверенный, что йая еще спит, но та лишь молча посмотрела на него и вышла. Он надел штаны, налил кофе ей и себе и вынес на крыльцо, туда, где в густой тени дерева они с дедом всегда пили свой первый утренний кофе.

— Твоя сестра снова звонила, — сказала йая.

Йоргос поставил перед ней кружку и сел. Йая смотрела на сад, где в темной листве деревьев огненными шарами горели апельсины. Вдали, на той стороне долины, виднелись сады и фермы, кое-где разбавленные островками леса. Дорога, зажатая между спинами холмов, виляла змеей, теряясь за перевалом. Йая глядела куда-то отсутствующим взглядом, и Йоргос поежился. Он любил бабулю; любимым не делают больно.

— Прости, — Йоргос махнул рукой в сторону кухни, — я думал, ты еще спишь. — Он взял свою кружку.

— В моем возрасте в это время уже не спят, как бы ни старались.

Йоргос кивнул.

— Видишь, тот лес вон там, над поселком, рядом с маленькой фермой с терракотовой крышей? Его посадил твой дед. Это была ферма их семьи, но их отца обманули. Ферму они потеряли. Так вот — этот лес Коста посадил, уже зная, что ферма больше не его.

— Зачем?

— Затем, что в том месте был нужен лес. Весь тот склон выгорел за несколько лет до того. Оттуда ушли животные, ушла вода. Нужно было вернуть лес, чтобы вернулась жизнь.

— Зачем делать такое для того, кто тебя обставил?

— Он сделал не для него, Йоргос, а для земли. Для этой нашей долины. Ничто не существует само по себе, все взаимосвязано. Твоя сестра никогда не поймет этого. Все, что ее интересует — так это сколько она получит, когда продаст ферму после того, как мы умрем.

— Дед так плох?

Йая посмотрела на него словно на умалишенного.

— Твой дед еще многих переживет. Дело не в этом. Обещай, что земля не достанется каким-нибудь туристам. Пускай уйдет из семьи, если уж ты не захочешь на ней быть, но обещай, что не отойдет тем, кто вновь превратит ее в груды камней и песка. Здесь должна продолжаться жизнь.

Йоргос поежился. Йая глянула на него, как проколола насквозь.

— Я больше никогда ни о чем не попрошу тебя, но это ты мне должен пообещать.

— Обещаю. Так дед выкарабкается?

— Ты еще успеешь устать от него, чтобы снова сбежать.

Марго только делала вид, что волновалась о дедах. Йая знала ее как облупленную, и никто, кроме Йоргоса, не узнал, что дед тогда три месяца провел в больнице.

Все разбегались. Отец после школы сбежал с фермы в Афины, Марго сбежала из дома замуж, чтобы быть подальше от матери. А он... Он тоже сбежал, но всегда возвращался к дедам. Может, именно это и делало его в глазах сестры мистером «вселенское зло».

Йая с дедом были единственными нормальными в их маленькой, но безумной семье. Отматывая время назад, он даже не удивлялся, что они не расспрашивали его об отъезде. Наверное, за те два года, что он пробыл у них, им и так стало ясно, что его побег — всего лишь вопрос времени. Йая, увидев собранный рюкзак, прошла на кухню и принесла пачку денег, перевязанную резинкой. Глянув на деда, положила деньги в карман. А дед молчал. Стоял, опершись на вилы около хлева, и не подошел попрощаться. Йоргос махнул деду рукой, но тот отвернулся и исчез в темном проеме за стойкой. Йоргос поцеловал и покрепче обнял бабулю. Та и не заметила, как он переложил деньги в карман ее передника.

Шестьсот метров до асфальта, три километра вниз до шоссе.

Через полчаса попутка, направлявшаяся в Афины, высадила его на центральной площади Трикалы. Йоргос купил бургер и стал искать, с кем двинуть дальше.

Мужик ехал на север на старом белом фиате. Его маленькая грязная дворняга с большими серыми пятнами ластилась к ногам как сумасшедшая. Мужик сказал, что едет к другу на северо-восток — на сбор винограда. За

харчи, ночлег и двадцатку в день, не считая сигарет и выпивки, он каждый год с удовольствием отдыхал там от брюзжащей жены. В конце концов у его друга на сборе всегда были молодые и гибкие девахи, а на таких даже посмотреть — уже любо-дорого. Не изменять же ему с тутутками. Этого он жене никогда не сделает. Да, сейчас все иначе, чем тридцать лет назад, когда казалось, что от любви глаза вот-вот выскочат. Ну и что? Он сам ее выбрал.

Йоргос смотрел на мужчину за рулем, а тот все поглядывал на него и, извиняясь, смеялся. Краснолицый, со светлой пушистой порослью на руках и шее, он больше походил на поляка, чем на грека. Крепкий, с шевелюрой двадцатилетнего, лишь густые морщинки вокруг глаз выдавали возраст. Йоргос отвернулся, чтобы их не видеть. У отца были точно такие же, вот только Йоргос уже и не помнил, когда в последний раз видел, как отец смеялся. Годами стойчески вынося истерики матери, тот научился молчать, и теперь только и делал, что молчал да собирал авиамодели. Этот же мужик, хоть и покоцанный жизнью, был ею явно доволен. Сбегая от своей благоверной, чтобы отдохнуть — возвращаясь с подарками, чтобы простила. От сезона до сезона, из года в год.

Двадцать евро в день — хренов кризис, однако кормежка, ночлег, экстры, а главное, девчонки: это было то, что нужно, чтобы снова почувствовать себя собой. Поэтому Йоргос и убрался подальше от деда. Тот вечно всех сторонился, никого не нанимал. Марию выгнал, когда узнал, что она спит с внуком. Вот ведь подставил. Йоргос в тот день уехал и сразу вернулся — забыл инструменты. Та собирала сумку и рыдала; нос красный, глаза колючие, а слова... Можно подумать, это он выставил ее после полугода работы на своих дедов. Йоргос дождался, когда она выйдет на улицу, взял сумку, положил в трактор и повез ее вниз, в деревню. Мария все пищала, все сопливила, ее было жалко и даже как-то неловко. Йоргос погладил ее по колену, чтоб успокоить, а та кошкой накинулась на него. Кричала. Называла по-всякому. Не то, чтобы ему это говорили впервые. Но, с другой стороны, никто ведь ее ни к чему не принуждал: по обоюдному согласию. Увидев автобусную остановку, соскочила, стянула с трактора сумку, надувшись, водрузилась на площадку.

Йоргос предлагал помочь деньгами. Можно было найти что-то в деревне, он бы зависал у нее по ночам и лишь в рабочие часы ездил бы на ферму. Он не хотел, чтобы она уезжала, правда, но сейчас это было уже

неважно. Мария кричала и махала руками, пока не заехала ему куда не надо; он, скрючившись, ползал перед ней на карачках под вездесущими взорами соседей. Расплатился сполна. Но и она дура. Решила последовать за своей обидой. Она ему правда нравилась. Он начал было думать, что это она, а тут дед со своими принципами, революционер хренов. Надо было ему уже тогда от них...

А Мария — ну, ясное дело, что это не *она*. С ней было хорошо, она не лезла, когда он просил не трогать его, и спала под отдельным одеялом. А *ее* он не пропустит. Когда встретит, сразу узнает. Точно. Своим внутренним взором он видел *ее* совершенно четко, совсем как вот этого мужика на сиденье рядом. А еще он узнает то чувство, которое возникнет, когда он будет с *ней*. Оно уже проскакивало; раньше, с другими. На секунду, минуту, но с *ней*, с *той* это будет иначе. Насовсем. Только это будет потом, когда придет время. А пока Йоргос ехал дальше, потому что хотел и мог. У мужика на фиате, вон, выбора не было. Только решение, принятое годы назад, и остатки эмоций, которые всю эту схему поддерживают. Ну и сердце. Сердце явно было хорошим. За пару минут договорился о месте для Йоргоса. Его нелепая дворняга умяла половину котлеты из того бургера, что взял для мужчины Йоргос, и они поехали.

Две недели — от зари и до заката. Йоргос уже и забыл, как это бывает, когда ты не из хозяев, а в найме. Может, не стоило уезжать — мелькало, прежде чем он проваливался в сон, но утро, как новая маленькая жизнь, стирало сомнения и выдавало билет на новый старт. Он вкальвал за троих, смеялся с другими, смотрел на нее, а потом они занимались сексом. Быстро и медленно. Нежно и грубо. Для себя и для другого...

Йоргос почувствовал, как она скользнула рукой по его животу. Они только-только утомнились и теперь курили. Свет и шум со двора проскальзывали сквозь приоткрытые ставни. Народ упивался молодым вином, танцевал и смеялся, а ее голова лежала у него на груди, торчащие ключицы ловили блики от света фонаря во дворе. Блаженно улыбаясь, взвинченная выпивкой, она свободной рукой попыталась разбудить его отстрелявшегося приятеля.

— На сегодня всё. — Он взял ее руку, уложил на ее же грудь и ущипнул сосок. Она недовольно вскрикнула и ткнула Йоргоса локтем под ребра.

Йоргос сел в кровати и закурил вторую.

Завтра они получат расчет и переберутся в соседнюю долину, там недавно начали сбор и боятся не успеть до дождей. Она дулась и торопливо одевалась.

— Свинья. Бесчувственная. У любой скотины на этой ферме больше чувства, чем у...

Она не смогла подобрать слово, плюнула, подхватила с пола одежду и, хлопнув дверью, выскочила в предбанник. Оттуда донесся смех. Видимо, кто-то как раз проходил мимо. Дверь распахнулась, она заскочила обратно и, фыркая, принялась натягивать штаны. Ее груди, до этого послушно прыгавшие в такт движений, болтались и шлепались о колени, пока она пыталась попасть ногой в штанину.

Йоргос улыбнулся.

— Тебе помочь?

Он стряхнул пепел в банку у кровати.

— Скотина, — на ходу застегивая пуговицы, повторила она.

Бабушка была единственной женщиной, которая понимала его. И это было несправедливо. Он знал, что его сестра глупо завидует ему. И эти девки тоже. Просто у них не хватает смелости быть свободными, а у него хватило. Да, возможно, он и сделал кому-то больно, но так устроен мир. Либо ты, либо тебя. Он понял это еще в армии. Не обязательно ненавидеть кого-то. Прими свою зависимость, если тебе боязно отпочковаться от места, где вырос, или от страхов, с которыми сроднился. Зачем винить в своих проблемах других?

Йоргос подошел к окну. Народ гудел, у бочки волновались чьи-то головы, там целовались и обжимались на виду у всех, плеск выпивки мешался со звуками игры на гитаре. Йоргос приоткрыл окно и сделал глубокий вдох. Пахло костром, пылью и терпкой, умирающей листвой. Он посмотрел в ту сторону, где за мягким извилистым хребтом должно было быть место, что станет его приютом на следующие две недели. Линия гор четко выделялась на розовом фоне закатного неба.

Кто знает, может, она там. Тут, в конце концов, по сравнению с его домом — тоже север. А может, и нет, может, она на севере-севере или где-нибудь по пути туда. Так ведь тоже бывает. Заранее никогда не знаешь, где встретишь своего человека.

Надо будет позвонить йае.

Какой сегодня день, среда или четверг? Юля смотрела на линию горизонта — плоскую, как крыша супермаркета. Перед ней простирались бурые поля, отдыхающие после летней страды, а за ними тонкой лентой стелилась серая полоса леса. В Латвии других горизонтов ждать не приходится. Юля повернула обратно. Флатвия. Так говорил ее начальник, англичанин, у которого она проработала год сразу после университета. Он возвращался на родину, а у мамы начиналась химия. Сложись все иначе, кто знает, где бы сейчас она была. Выбор без выбора. Послышался сосущий звук, словно кто-то ручным насосом подкачивал колеса велосипеда. Юля узнала его, такой звук в полете производят крыльями лебеди. Она подняла голову, но не увидела их в сером мороке над головой. Припозднились, красавчики. Юля слизнула каплю, скатившуюся к губам. Туман — лучшее, что можно сделать из воды и воздуха.

ДВА

354

Они управились раньше срока. На обработку оставили своих, кто-то решил зиму провести в большом городе и повернул на юг, а Йоргоса тянуло на север.

Вершины, покрытые снегом, шоссе, грязной лентой петляющее сквозь отроги гор, дождь, стучащий по крыше фургона или по козырьку капюшона, когда приходилось идти. Удобная жизнь — для городских выскочек, отвечал он на извинения тех, кто его подвозил, когда их пути расходились. Не очень вежливо, конечно, когда перед тобой городские, но выскочки попутчиков на дороге не подбирают.

Болгария тонула в дождях, лишние руки никому не мешали. Йоргос не бедствовал и всегда мог позволить себе взять перерыв, но сидеть без дела было не в его вкусе. Он никогда особо не выбирал хозяев, шел к первому, кто предлагал достойные условия.

— Я не сноб, — говорил он Владе, закуривая сигарету, чтобы сбить привкус тяжести после работы. — Какая разница, на кого батрачить?

Усталость долбила под дых, секса не хотелось, говорить не хотелось и того пуще. Лишь сигарета и дождь за окном. Он уснул в ее объятиях, с удивлением — периферией сознания — отметив, что ему это нравится. Ее соломенного цвета волосы, огромные темные глаза на смуглом лице заполняли пустоту после механики тяжелой работы.

Утром он не мог от нее оторваться.

Нет.

Нельзя спать в обнимку, мешает. Йоргос вылез из кровати, натянул рубашку и джинсы и посмотрел на спящую Владу. На щеке отметины от подушки, волосы сбились на одну сторону. Вышел осторожно, чтобы не разбудить, и наконец вспомнил, где их видел.

Ему тогда было девять. Мать, ожидая отца из рейса, выкрасила свои темные волосы в светлый, и цвет был таким же — соломенным, с брызгами рыжего тут и там в своенравных прядях. Отец был в бешенстве. Они ругались. Он кричал, что она похожа на шлюху. Она — что шлюхи — это он и его бесконечные женщины, что он не уважает ее и что ему плевать на детей.

Потом они шумно любили друг друга. Сестра мычала, чтобы не слышать их — зарывшись головой в подушку. Он смотрел в окно, следя за судами, которые входили и выходили из порта. Казалось, ничто не стоит на месте — кроме него самого.

Он думал, что один корабль непременно идет в Норвегию. Он где-то слышал это название и позже, на уроке географии, долго искал на картах, пока не нашел. Норвегия была цвета сумеречного неба и почти сливалась с окружающим морем. В памяти отпечаталось, что это что-то большое и верное. Цель, достойная путешествия.

Когда два года спустя его школа отзвонила конец учебного года, он решил, что время пришло. Кинул вещи в походный рюкзак, опорожнил банку-копилку и вырвал несколько листов из телефонного каталога, валявшегося в прихожей.

К счастью, по пути к своей цели он решил заглянуть к своим бабуле и деду. Ко всеобщему облегчению он явился к ним уже через три дня после начала поисков.

Отец хотел было в наказание отшлепать его паспортом, но обнаружилось, что паспорт остался дома. В ход пошла карта, на которой бóльшую часть Евразии занимала огромная розовая страна. На тот момент карта была раза в два старше самого Йоргоса.

Мечта была сдвинута в будущее, к поездке следовало подготовиться основательней. Пока же Йоргос утешал себя тем, что для продвижения к цели, оказывается, нужны только решимость и улыбка. Лучше, чем за эти три дня его кормили-угощали отзывчивые попутчики, кормила разве что йая. С тех пор пор каждое лето он пропадал на все более и более длительный

срок, неким прекрасным утром отправляясь куда глаза глядят по одной из афинских дорог, ведущих из города. Он менял попутчиков и находил друзей, но под конец всегда возвращался на ферму деда. Границу Греции в одиночку впервые пересек лишь пару лет назад. Истерика матери оказалась сильнее угроз отца, а маму он как-никак любил.

Жизнь на ногах была намного вкуснее городской, так что институт был заброшен, армия забыта как страшный сон, а Норвегия... к счастью, до нее можно было добраться пешком. Поэтому Йоргос не судил себя строго. Каждый шаг, пусть и направленный не в ту сторону, рано или поздно приведет его к цели. Не всегда лучше идти по прямой. Приходят и окольными путями.

Может, именно это и раздражало Марго — прежде всего. Он ничем не был повязан и мог каждый день жить так, как хотел. Та не унималась, звонила, стыдила его, прикрываясь любовью к дедам, но он молчал: как партизан. Он обещал йае, что Марго не узнает про сердце деда. Теперь приходилось играть самодовольного эгоистичного младшего брата, которому на всех наплевать. В мыслях Марго давно продала семейную ферму, позаботилась о дедах, сослав их в дом престарелых, и на вырученные деньги купила в пригороде домик с бассейном.

Вечером она позвонила снова. Йоргос слушал, как жужжит в телефоне сестра, и думал, что завтра снова пойдет на север, выйдя до петухов, до слез, до ненужных прощаний. Владе не будет больно, они спали вместе всего две недели. Надо быть дураком, чтобы за такое время привязаться по полной, а Влада не была дурой. Она была красивой, живой и немного трусливой.

— Ты меня слушаешь? — раздалось в телефоне, и Йоргос встрепенулся. Он почти заснул с телефоном у уха. Вот что значит знать репертуар наизусть.

— Я здесь, но мне надо спать. Завтра рано вставать.

— Что, опять сбегаешь от девки, не попрощавшись?

Йоргос поморщился, однако не нашел, что ответить.

— Трус.

— Это я-то трус?

— Да, — сказала Марго и отключилась.

Он закрыл глаза и лег на кровать, но заснуть не мог. Вот ведь, ведьма, знает, как садануть по самому тонкому.

Йоргос сел и глянул в окно. Последние еще куролесили во дворе, но тихо, не перегибая палку. Ладно, может, Марго права, все эти прощания ему просто не впрок, и он и вправду сбегает... Все когда-нибудь случается в первый раз, сказала бы йая. Он встал и, прихватив куртку, вышел из комнаты.

Влада сидела у костра с самыми стойкими из стойких. Кроме нее из девушек — еще только одна, та, что приехала из города со своим парнем. Те сидели в обнимку поодаль, тупо уставившись в костер: усталые, осунувшиеся совы. Йоргос едва успел обратиться к Владе, как заметил, что рука парня, сидевшего рядом с ней, лежала на ее бедре под подолом платья. С какого-то перепугу она была на этом холоде в платье.

Йоргос развернулся ко всем и как стареющий актер на своем бенефисе сказал:

— Всем пока. Небось еще где пересечемся.

Народ закивал и зажурчал ответами. Влада покрепче ухватилась за своего лупоглазого с рукой под платьем и громко, чтобы все были в курсе, обратилась к Йоргосу.

— Эй, слушай, ты же не обижаешься?

Не успел он ответить, что все путем, как Влада взвизгнула. Видимо, пальцы парня сходу нашли ту самую точку, которую они вместе за последние две недели так и не нашли.

Хотелось съязвить, но ум был как заезженная пластинка. Пык-мык — никакого толку. Йоргос покивал, поулыбался, ушел в свою комнату. И чего они все вечно тащатся от этих итальяшек?

Ладно. Значит, так надо. Значит, снова не то. Не то место, не та женщина. Где-то на севере все, наконец, обязательно склеится. Вот только глаза у *нее* будут голубые. Светло-голубые, он уже видел их, а если и нет, то, увидев, узнает сразу.

Кто вы — и откуда?

Много лет назад я уехала из дома родителей и начала самостоятельную жизнь. Мне было очень одиноко, тяжело, и я скучала по родному дому. Тогда, грустными вечерами, ко мне стали приходить забавные существа — жужи. Они были то голубыми, то коричневыми, то розовыми. Мы просто сидели на кухне и вместе грустили.

Через время я устроилась на работу в социальный центр, где проходили реабилитацию детки, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Их родители были на грани лишения родительских прав. Мы кормили, мыли, одевали малышей, читали им книги... Тогда на свет появились зеленые жужи. Придуманные мной забавные персонажи очень помогли — ребята включились в игру, стали больше доверять нам, своим старшим товарищам. Вместе с маленькими обитателями социального центра жужи создавали комиксы, в которых отмечались дни рождения наших подопечных. Зеленые существа помогали обустраивать комнаты, ходили по магазинам и покупали игрушки, путешествовали и совершали с нами поездки на пикники. Потом жужи вышли за пределы центра и стали общаться со взрослыми — рассказывать им о сложностях, призывать к состраданию и разумным поступкам. Так появилась на свет моя бакалаврская работа «Мы хотим жить».

Жужи очень тесно связаны с миром людей, они как бы социальные работники, которые всегда рядом с вами — поддерживают, страдают, помогают. Именно поэтому они переняли наш быт, правила и образ жизни. Они никогда не улетят на другую планету и не спрячутся в собственном сказочном мире.

Привет, мне не терпится вас познакомить с самой обычной семьей жуж. Они настолько обычные, что, встретив их на улице, вы не смогли бы понять, то ли это семейство из книги, которую вам читали мама с папой, а может, бабушка с дедушкой, или это другие жужи, так похожие на них.

Как и все жужи, они зелёные, с овальными головами и огромными добрыми глазами. У каждой жужи обязательно есть розовые щёчки, которые от радости начинают светиться, словно яркие огоньки на новогодней ёлке. Рот этих существ похож на длинную тонкую нить. Их ручки и ножки очень коротенькие, а тельце гораздо меньше головы.

Чтобы поддерживать здоровый зеленоватый оттенок кожи, жужи очень много едят зелёных овощей и фруктов, добавляют их в каждый завтрак, обед и ужин. Даже во время перекуса жужи предпочитают грызть палочку зелёного сельдерея или салатное яблоко. Семья из этой истории очень

любит брюссельскую капусту, огурцы, брокколи, спаржу, горошек... В общем, всё, что имеет яркий, насыщенный зелёный цвет. Теперь вы знаете, чем угостить жужу, если вдруг она придёт к вам в гости!

Когда жужа очень сильно расстраивается, переживает или злится, то поднимается в воздух, будто воздушный шарик. Но не переживайте, она не улетает высоко в небо и не теряется среди облаков. Её эмоций хватает только на то, чтобы чуть-чуть оторваться от земли. В очень редких случаях жужа может коснуться макушкой потолка или люстры.

Семья, про которую хочу вам рассказать, состоит из четырех жуж: Мама, Папа и двух сестёр. Старшую сестру зовут Алиса. Ей только-только исполнилось девять лет, и она очень гордится своим возрастом, ведь теперь ей позволено намного больше, чем, например, год назад. Она самостоятельно идёт домой из школы, у неё есть планшет, по которому она общается с друзьями и, самое главное, ей позволено ложиться спать чуть позже, чем младшей сестре.

Вторую сестру зовут Мелисса. Ей всего четыре года, но при этом она не самая маленькая. Хомяк и попугай, живущие в этой семье, — моложе. Но вернёмся к Мелиссе. Она очень активный и любопытный ребёнок, любящий приключения. Ей постоянно в голову приходит много разных идей. Ещё Мелисса обожает сладости. Алиса, конечно, тоже никогда не откажется от конфетки, если вы ей предложите. Однако Мелисса одной конфеткой никогда не ограничивается, она с удовольствием попросит ещё, и ещё, и ещё... Поэтому сладости в квартире этой самой обычной семьи жуж спрятаны на самой верхней полке над холодильником.

Как и полагается, там, где живут дети, обязательно есть взрослые. В этой семье взрослыми являются Мама и Папа.

Папа очень много работает, так как у наших жуж имеется мечта — большой дом с садом. Так вот, чтобы заработать деньги на эту мечту, трудится он дома, поэтому очень часто сидит в углу спальни за рабочим столом, что-то печатая на компьютере. Конечно, у Папы также есть свободные минуты, которые он проводит с семьёй и любимыми дочками.

Мама — художник, только творит она в те моменты, когда Алиса находится в школе, а Мелисса — в садике. Всё остальное время она посвящает детям и домашним делам. Но, приходя домой, маленькие жужи всегда знают, что Мама сегодня рисовала, так как где-нибудь находят новое пятнышко от акриловой краски.

Надеюсь, вам понравилось знакомство с этой самой обычной семьёй жуж. Но затягивать его не стоит, лучше побыстрее перейти к весёлым и забавным приключениям семейства, ведь именно во время этих необычных событий вы узнаете зелёных героев поближе и даже сможете с ними подружиться!

Всем известно, что дети всегда воспринимают всё буквально. Но взрослые — нарочно или по забывчивости — каждый раз повторяют одну и ту же ошибку:

— Смотри под ноги! — говорят они.

Послушный ребёнок сразу же идёт, опустив голову, и внимательно смотрит под свои ножки.

— Смотри вперёд! — не успокаивается взрослый.

Уже совсем растерянный малыш смотрит вперёд. Понимая, что, глядя вперёд, он не видит своих ножек, малыш начинает плакать:

— Вот как понять этих взрослых? Смотри под ноги, потом смотри вперёд! Но впереди ног нет!

Ещё один пример, взрослые часто говорят:

— Ешь с закрытым ртом!

Ребёнок опять растерян, а как же кусать вкусную булочку, не открывая рта?

Так происходило и с Мелиссой, она всё воспринимала буквально. Вот скажет Мама:

— К нам летом прилетит Бабушка.

У Мелиссы в голове сразу картинка, как Бабушка, держа в руках чемоданы, машет большими крыльями, перелетая океан, чтобы навестить любимых внучек. Встретив Бабушку в аэропорту, Мелисса тут же разочаровывалась, не найдя крыльев ни за спиной у бабули, ни в чемоданах.

А бывало, когда Мелисса напроказничала, Мама строго говорила:

— Намотай себе на ус...

Мелисса сразу расстраивалась, чуть-чуть приподнимаясь над полом, ведь усы у неё не росли! Как же она что-то будет наматывать? Однако по взгляду и тону Мамы было понятно — что-то намотать на ус следовало обязательно.

Сегодняшняя история именно о такой ситуации, когда Мама сказала что-то, а Мелисса всё восприняла буквально.

Началось всё ещё утром, когда Мелисса только встала с мягкой кровати и, свята щёчками, начала весело скакать по комнате.

— Мелисса! Не скачи, пожалуйста, — сделала замечание Мама. — Внизу под нами живёт милая старушка, ей неприятен твой топот.

Мелисса сразу прекратила прыгать, её яркий румянец потемнел. Удивлённо посмотрев на Маму, она спросила:

— Где под нами?

— Внизу, — попыталась объяснить Мама.

— Внизу? Под полом?

— Ну да, — не поняв удивление ребёнка, равнодушно ответила Мама.

— А давно она там живёт? — продолжила удивляться Мелисса.

— Да, когда мы переехали в эту квартиру, старушка уже там жила.

— Мам, — не унималась Мелисса, — а квартир без старушек не продавалось? Почему вы решили переехать именно сюда?

— Я не знаю... — задумчиво ответила Мама. — А чем тебе мешает наша соседка? Ты просто веди себя тише.

Сказав это, Мама ушла на кухню готовить завтрак.

Оставшись одна, Мелисса приложила зелёное ухо к полу, пытаясь хоть что-то услышать. Она не услышала ни звука. Тогда Мелисса попробовала что-нибудь увидеть в щели между досками. Но промежуток был настолько узок, что разглядеть что-либо не удавалось.

— Мам, — прибежав на кухню, Мелисса продолжила расспрос, — а старушке не больно, когда мы ходим по полу?

— Нет. А почему ей должно быть больно? — Мама явно не понимала беспокойства ребёнка. — Ты, главное, не прыгай и не топай.

Мелисса вернулась в детскую комнату, села на кровать и стала внимательно смотреть на пол. «Как же туда помещается старушка? Получается, она очень маленькая? — размышляла девочка. — Интересно, а у неё там есть кровать, шкаф, стол? Чем она сейчас занимается? А вдруг старушке очень грустно, что она застряла в полу и теперь не может выбраться?» От этой мысли Мелиссе стало страшно.

— Надо срочно достать старушку, застрявшую в полу! — дала сама себе команду маленькая жужа.

Мелисса достала из ящика с украшениями для волос металлическую заколку и стала ковырять дырку между деревянными досками. Довольно быстро небольшая ямка была готова.

— Мойте руки и завтракать! — позвала всех Мама.

Мелисса наклонилась к дырочке и прошептала:

— Я сейчас иду кушать, а ты беги.

За завтраком зелёная девочка загадочно улыбалась, а её щёчки сияли. Маленькая жужа чувствовала себя героем, ведь она спасла старушку, застрявшую в полу!

Я не буду вам рассказывать, как Мама обнаружила маленькую дырочку между досками и как Мелисса ей гордо рассказывала о спасении бедной старушки... Пусть эта история закончится добрым поступком маленькой жужа и верой в то, что она действительно спасла крошечную старушку, застрявшую под деревянными досками.

Вы уже поняли, что наши маленькие жужа были очень добрые и хорошие девочки, но иногда случалось так, что во время игры они забывали обо всех правилах и, увлечшись своими фантазиями, не слушались родителей. Именно так произошло в этот день.

Проснувшись утром, Мама, как всегда, ушла на кухню готовить всем завтрак. Папа уже сидел за рабочим столом и зарабатывал деньги на большой дом с садом, а девочки, почистив зубы и одевшись, играли.

На полу лежало большое голубое покрывало — это был самый настоящий океан. Раскиданные повсюду цветные подушки были опасными акулами. Мелиссина детская кроватка превратилась в большой корабль. Тюль, привязанный к бортику кровати, служил парусом, а жёлтая пластмассовая тарелка — штурвалом. В маленький розовый сундучок девочки сложили игрушечные пластиковые бусы, браслеты и кольца — этот ценный груз необходимо было доставить на остров. Из бумаги маленькие жужа скрутили себе подозрительные трубы и начали своё необычное путешествие.

— Я вижу, как надвигается шторм! — посмотрев в бумажную трубочку, сообщила Алиса.

— Что будем делать? — испуганно спросила Мелисса.

— Крепче держи штурвал! Мы справимся, — скомандовала старшая сестра.

Мелисса сильнее сжала пальцы на жёлтой тарелке и начала лавировать между высокими волнами. Но не справилась — корабль сильно накренило влево, и сундук с сокровищами выпал прямо в океан, кишаший акулами.

— Я его достану! — смело заявила Алиса и прыгнула в воду.

Голодные рыбы сразу же ощутили запах еды и попытались напасть на Алису, показывая острые белые зубы. Однако Алиса оказалась не только смелой, но ещё и сильной девочкой. Она схватила самую главную акулу за хвост и швырнула её в другой конец океана. Все остальные хищники в страхе уплыли, и больше никто не посмел оскалиться на Алису.

Взяв сундучок с сокровищами, жужа почувствовала, как её покидают силы. Шторм был настолько сильным, что справиться с бушующими волнами и доплыть до корабля было невозможно.

— Помогите! — закричала Алиса. — Тону!

Мелисса бросила штурвал-тарелку на палубу и стала думать, как спасти сестру, ведь плавать она совсем не умела. Тут Мелиссе в голову пришла гениальная идея — она взяла пояс от маминого халата, который служил канатом для крепления якоря, и бросила его в воду.

— Держись за верёвку, Алис! — крикнула Мелисса. — Я тебя вытащу!

Алиса взялась за трос и была спасена. Море сразу же успокоилось, выглянуло солнышко, и девочки спокойно доплыли до острова.

— Мелисса, нам надо запечатлеть наш героический поступок и сделать фотографии, как мы доставили сундук с сокровищами в целостности и сохранности!

Сказав это, Алиса взяла стул и с самой верхней полки шкафа достала мамину фотокамеру. Девочки так увлеклись игрой, что забыли один из главных запретов этого дома — фотоаппарат трогать нельзя! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, вообще никогда! Но сейчас маленькие жужи были на острове, посреди большого океана, и домашние правила забылись.

— Только фотографировать буду я! — заявила Мелисса и потянула за ремень фотоаппарата.

— Почему это ты? — стала возмущаться Алиса. — Это я прыгала в воду и сражалась с акулами!

— А я тебя спасла! Без меня ты бы утонула!

Девочки тянули фотокамеру, каждая в свою сторону. Никто не хотел уступать. Сёстры злились и не замечали, как медленно поднимались вверх. Когда они уже почти коснулись макушками потолка, фотоаппарат выскользнул из рук и с треском упал на пол. По комнате разлетелись мелкие чёрные кусочки пластмассы.

— Что тут происходит? — В комнату вошла Мама. Она внимательно осмотрела детскую, но детей нигде не было. — Алиса! Мелисса! Вы где?

И разбросанные фрагменты от камеры, и отсутствие дочерей указывали на неприятную ситуацию. Девочки, затаив дыхание, прижавшись головами к потолку, в ужасе смотрели то на разбитый фотоаппарат, то на Маму, то снова на осколки...

— Мы тут... — несмело произнесла Алиса.

Мама подняла голову вверх и увидела двух дочерей, болтающихся в воздухе.

— Вы сломали мой фотоаппарат? — Мама не сдерживала досаду в голосе, но её ноги всё ещё касались пола.

— Нет, это не мы, — ответила Мелисса. — Он просто упал и разлетелся на мелкие кусочки. Ты его починишь?

Мама взяла в руки сломанную фотокамеру, части, отколовшиеся от неё, и попыталась сложить, как детали мозаики.

— Нет, его уже не починишь, — вздохнула Мама и медленно начала подниматься к детям.

Она взяла обеих девочек за руки и потянула к себе.

— В этом месяце мы не будем покупать вам игрушки и сладости, — строго произнесла Мама, вернув обеих дочерей на пол. — Вместо этого купим мне новый фотоаппарат.

— Прости нас. Мы больше так не будем, — виновато произнесли маленькие жужи, обнимая Маму и вместе с ней поднимаясь в воздух, к самому потолку.

Следующая история произошла в обычный выходной, когда вся семья собралась в детской и весело проводила время.

— А давайте заведём ещё одного домашнего питомца? — предложила Мама во время игры в детское лото.

— Нет, — возразил Папа. — У нас уже есть попугай, хомяк и два ребёнка. Куда нам ещё один питомец?

— Но ведь это так здорово — заботиться о ком-то и любить его, — продолжала уговаривать Мама.

Девочки, внимательно слушая диалог родителей, отложили яркие карточки с картинками.

Забыв про игру, они жалобно произнесли:

— Папочка, ну, пожалуйста!

— Ну, хорошо, — сдался отец. — Кого мы заведём?

— Единорога! — первой своё предложение высказала Алиса. — Я буду ездить на нём в школу, а по вечерам причёсывать цветную гриву и читать ему сказки. Ещё я буду кормить его морковкой.

— Нет, — не согласилась Мама. — Для единорога нужна конюшня. Или она называется... единорожня? Впрочем, без разницы: ни той, ни другой у нас попросту нет. Единорогу будет неудобно в нашей маленькой тесной квартире. Надо кого-то поменьше.

— Тогда крокодила! — заявила Мелисса. — Он будет жить в ванной. Я всем в садике буду рассказывать, что у меня дома живёт настоящий крокодил! Я буду выгуливать его на поводке.

— Крокодил, — перебил Папа Мелиссины фантазии, — это опасно. И где мы будем мыться, если в ванной будет жить крокодил?

— А у нас будет добрый и воспитанный крокодил, который не кусается, — продолжала Мелисса. — Его можно будет вытаскивать из ванной, чтобы помыться.

— Все крокодилы кусаются, — вмешалась Мама. — Крокодилу в квартире не место.

— Может, тогда рыбок? — предложил Папа.

— Да, рыбок! — обрадовались все.

— Хорошо, давайте убирать игру и собираться в магазин за аквариумом, — радостно сообщил Папа.

Это был тот редкий случай, а может, и единственный, когда слово «уборка» совсем не расстроило Мелиссу. Она спокойно сложила все карточки в коробку, а саму коробку убрала на полку к остальным настольным играм. Ближе к вечеру семья жуж вернулась домой с аквариумом и всеми необходимыми аксессуарами для него.

— Так, девочки, — напомнила Мама, — в магазине сказали, что вода должна отстояться три дня. Так что сегодня мы наберём воду, а через три дня купим рыбок.

Маленькие жужи помогли родителям выложить грунт в аквариум, приклеить термометр, повесить фильтр и налить воду. Позже все разошлись по своим делам: Алиса умываться и чистить зубы, Мама убирать раскиданные вещи, а Папа мыть посуду. Только самая маленькая жужа осталась наблюдать за пустым аквариумом, сидя на стуле.

— Скучно будет рыбкам, — пробормотала себе под нос Мелисса. — Им нужны игрушки.

Немного подумав, самая маленькая жужа слезла со стула и из-под кровати достала большую картонную коробку с мелкими вещами. Из ящика она вытащила крошечного слонёнка, бегемотика, львёнка и цветной резиновый мячик. Недолго думая, она кинула фигурки в аквариум. Все игрушки, кроме мячика, тут же медленно пошли ко дну, а мячик так и остался плавать на поверхности воды.

— Ну вот, — Мелисса продолжила говорить сама с собой, — теперь рыбкам будет с чем играть.

Но маленькая жужа все ещё была недовольна тем, как выглядел аквариум. Недолго поразмыслив, она достала баночку с блёстками и высыпала их в воду. Мелисса это сделала не зря — в аквариуме блёстки отражали лучи света и красиво сверкали разными оттенками. Этого Мелиссе тоже показалось мало, так что она добавила в воду розовой краски. Теперь дом для рыбок готов: ярко-розовая вода с блёстками и игрушками — прекрасное жилище, в котором никогда не будет скучно.

Закончив мыть посуду, в комнату вошёл Папа.

— Что ты тут делаешь? — спросил он дочку.

— Украшаю домик для рыбок!

Папа взглянул на блестящую воду.

— Ты, конечно, молодец, что украшаешь дом для будущих питомцев, — вздохнул он, — но для рыбок это опасно — краска и блёстки могут навредить им. В магазинах продаются специальные украшения. Если хочешь, мы завтра поедem, и ты выберешь яркие и красивые предметы для аквариума.

— И даже крокодила можно? — поинтересовалась девочка.

— Игрушечного — да.

— И единорога?

— Если он там будет, то почему бы и нет?

— Хорошо, — согласилась Мелисса.

Старшая сестра вернулась из ванной, и Мелисса пошла мыться. Когда обе девочки умылись и почистили зубки, маленькие жужа легли под тёплые одеяла и довольно быстро заснули. Снились им яркие цветные рыбки, которые спокойно плавали в воде, болтали с добрым крокодилом и катались на маленьком единороге. А Мама с Папой ещё долго меняли воду в аквариуме и чистили его от блёсток и краски.

##

мы сидим на берегу
той реки за тем холмом
смотрим в воду и молчим
смотрим в воду и не спим
и мы спим и видим сны
как сидим на берегу
той реки за тем холмом
как мы спим на берегу

ветки чёрные в реке
искалеченной зимы
корни липкие в реке
из осипшей тишины

что-то чёрное толкалось
у тебя в сухой груди
птица чёрная клевалась
у тебя в сухой груди

как бы как бы нам проснуться
как бы как бы не упасть
не разбить не расплескаться
не разрезаться бы в кровь

у весны обличье зверя
у весны дыханье зверя
_и бренчит пустое стремя
и мы все с ума сойдём_

мы пойдём на крик сначала
а потом плывём плечами
мы наполнились печалью
и уснули на ветвях

кем мы будем кем мы станем
кем мы были кем не стали
и над нами вдруг растаял
двухоконный белый дым

над рекой плывёт вечерний
запах летний и вечерний
мы сидим на берегу
той реки за тем холмом
смотрим в воду и молчим
смотрим в воду и мы спим

##

он лежит в своей квартире
неподвижен как дуга
на полу лежит в мундире
как потухшая игла

от чего случилась эта
боли длинная река
за окном летит комета
и под кожей рыбака

он летит в своей квартире
ничего не говорит
он уже в потухшем мире
у него теперь болит
не на коже
не под кожей
не внутри его груди
а внутри речной сети
и болит внутри широкой
рыбы в чёрных камышах
рыбы в сетчатых мешках
с бледной синей поволокой

камнем рыба шевелилась
на речном качалась дне
рыбьей песней растворился
четверга потухший день

##

я сидел на дне балкона
надо мною простыня
то ли белая от соли
то ли белая от сна
то ли грязная как хна

надо мною закачалась
одноглазая пчела
то как нож она завоет
то заплачет как смола

надо мною проплывала
птица с язвой вместо глаз
то как степь она завоет
по помолится за нас

пуля в небе растворялась
танцевала как оса
пуля больше не боялась
вот февраль
а там весна

##

ночь растёт у него в груди
он как будто и сам растёт
разбухает весь изнутри болит
как воронье племя кричит

левая рука у него игла
вся изогнута и остра
научилась уже калечить зверей
было уже по той весне

в груди у него колокольный звон
справедливый и гордый
испаханный весь от волн
как больное солёное
и бесплодное бесподобное
бессердечное и увечное

расползаются швы внутри
кровоточит во славу кричит
во славу всему святому полевому
больному беспощадному
белому синему
от крови красному
к берегам насильников

неси меня плот по речной воде
сгори моё тело в святом огне

##

сон наполнил наши веки
сон наполнил наши вены
и густой водой в колодце
закачались наши дни

в повороте тела горы
в развороте тела норы
липких птиц внутри узоры
копошатся и спуют

лоб наполнился молчаньем
волчьим стоном и мычаньем
белым дымом и тоской

мы молчим и спим как реки
и пустеем с каждым днём

##

стой куда идёшь
стой кому говорю
я от туда иду устал
был как сталь
сон потерял
прозрачным стал
стой здесь и не спи
зачем пришёл говори
я не пришёл
меня принесли
на крыльях своих орлы
заговорили меня на огне
замолили на белой воде
сглазили скосоглазили
чёрным углём измазали
что ты там видел а ну говори
зачем вы сюда пришли
вместо глаз у меня белки
вместо души силки
вместо рта у меня труба
и не знаю я ничего
я и знаю об этом всё
ложись на траву и молчи
о чём молчишь говори
молчу я о том что в земле сырой
молчу я о том что в земле весной
молчу я том что руки мои
молчу я том что ноги твои
ложись на траву и спи
о чём спишь говори
_из земной юдоли
в неведомые боли

прыг — скок
прыг — скок
прыг под землю
скок на облако_

##

доктор едет на быке
у него топор в руке
доктор едет на коне
с чёрной сумкой на ремне
аты-баты шли солдаты
аты-баты на базар
аты-баты всех убили
аты-баты перегар
сива-ива
дуба-клён
шуга-юга
умер воин
трынцы-брыцы-бубенцы
раззвонились удалцы
диги-диги-диги-дон
умирай скорее вон
выпал из окнаЯков
удавился в избеИван
утопился в колодцеСерафим
утопился в рекеСавелий
отправился землёйОлег
задохнулся в болотеРуслан
долгіе дни
_мирныхъ воителей
правды блюстителей
боже храни
боже храни_

##

Развитие исполняет желания.

Из наблюдений

времена года меняют воздействуют на проекции психики
от нагретого воздуха летом и света солнца тяжелее и легче
свершать что-то в иных аспектах чем в остальные сезоны
изобретаешь какое заведение из доступных в котором
делают живым богом
используешь так найденную институцию
церковь ли вуз или офис рабочий компьютеризированный
где стараешься стать наподобие хлебникова
председателем шара земного
спиратить святость или божественность
украсть корону российской империи новым способом
или даже само императорство
увести себе корону планеты земля как если бы она существовала
или само главенство
наслаждаясь на пляжах некриминальными формами эфебофилии
вуайеристически эротомански вполсилы
или римским патрицием развалиясь на диване домашнем
инфоманя на смартфоне играя киноманя или слушая музыку
ад накопленных книг нечитанных уменьшая за томом том
я изувеченный неженка мне бы стать здоровее выносливей красивее
увеличить спортивность любовь обрести вкупе
со всем остальным материальным брачным и плотским
с некой музой прекрасной богиней ангелом плоти
деньгами трудом ли интеллекта решеньями в общем ходами
все кричат мне что в эту эпоху лишь увеличение суммы
которой ты обладаешь даст результат и почти что универсальный
но как ни прятись ты в борьбе за дензнаки жить будешь
по природе своей
по ней же и любимым своим занятиям
и стоит себя развивать и труды
говорят это лучший путь к богатству как и успеху

979

##

я вот в юности думал буду книги писать томами
будут издавать бестселлеры стану олигархом
я ведь способный
ан вот оно как повернулось
и пишу мало и зарабатываю не особо
и мало кому книги нужны из того что сам написать мог бы
да и наладить сбыт устаканиться с издательством
это не из лёгких задача не каждый справится
ан если будет как в фильме селфи с хабенским
нихрена не напишу а контракт гореть будет сроки поджимать
ну его нафиг от таких персепектив
вот и серьёзнофилю лабораторно в литературе некоммерчески
хорошо хучь не самый нафталин с карболкой начёртываю
а то из авангарда что самому повкусней
как в фильме выкрутасы с хабенским же не надо тоже
одни мраки в судьбе литератора и никакого олигаршизма
а ить скромные пролетарии писательскава творчества
по пять страниц прозы в день соваёвывають
то-то пелевин списамшийся на контрахти корячиццо памукиваеццо
а если читать то елизарова сорокина какого
рижанку евгению карлин и максима русси американца
головоломку гарроса евдокимова
и самому поди писать не хужей хочется
да хрена вот пишеццо
а если и получается то разве что как миша булгаков
а оно вже давно арьерградно
но хули делать хули делать
надо расти мастерством и объёмом текста
и издаваться пробовать пробовать

##

после бессонницы и пробуждения около трёх утра
смаковать в памяти виденную сетевую эротику

порнокартинки трёх богатырей компании мельница
попу с анусом напоказ модели похожей на лободу
красивую вульву девушки в приседе похожей на алсу
похожих на джоли в юности кстати давно не видел
наташа медведева смахивает на королёву по тв
если говорить просто о красотках переходя с эротики
на эстетизм и всякое такое радующее антидепрессивное
тамас там или раджас с саттвой нам давно нетти-нетти
потому как рыцарь грех у нас староверов добрый и благородный
если правильно пользоваться
так что книга махариши спрятана уже с глаз долой
а библия с дополнительным каноном на видном месте
ибо круче шедевра и обработанней книги нет
не то что олигархически а даже сказал бы божественно
но друг-церковник grit что потому я одинок и без счастьелюбвесека
что хочу оногo всего такого больше соблюдения наставлений Господа
потому и лишён а надо что-то правильное сделать
и тогда уже в любовной постели трахаться-трахаться-трахаться
в общем когда я гоню дурку я такой
выписываю сваво психа в текст и легечки
впрочем и это проходит

##

Дзинтари
фестиваль мороженого
книжный на улице Йомас

электричкой обратно в Ригу
до Засулаукса

иду от вокзала к троллейбусу
двенадцатому
до Тейки
и вспоминаю

сладкой сказкой
казалась жизнь из студенчества
и тянуло на глупости
думал вот-вот мастерство и деньги

но всё прозаично
жизнь лишь борьба с наползающей
энтропией
в частности со старением

и мечтаешь сделать так
чтоб констатировать
денег хватит
хватит на хорошую жизнь
до глубокой старости
и потомкам останется

376

вопрос лишь в практической
реализации

##

музыка рая магический реализм панк-текст сделанность
кибер-нектар наслаждение чредой символов слов фраз строк фрагментов
вдохновениемана нада-настройка*
подниматься сиречь развиваться в тантрическом направлении
пусть гиперреализм гипергламур кино и глянцевого журналов
ненатуральны
но приятно и антидепрессивно пощекатывают
эдак правильно левельно**
так как во всём надо соблюдать
принцип пилотирующего настроение полезного удовольствия
делающего жизнь качественней
и принцип синтеза улучшения
а ещё в юности я слегка ниндзяманил
но потом передумал

зачем убивать
ниндзя-кюнстлер тоже неплохо
а мастерованы восточных единоборств придурки
а без мастеровании неинтересно и отсеиваешься
а если отсеиваться то лучше куда получше
и чтобы жилось неплохо
например в шпионы-лукморщики и аналитики культуры
прогресс радуется тем что шпионаж стал в моде
и доступен всем обывателям надо только погуглить понигмить
поблужить и зайти на википедию
но мудреть и гениальность надо бы поосторожнее
могут поймать в виражи и финты на этом
впрочем надо быть опытным
и американизация культуры
материальной культуры
то раздражает то не раздражает
то замечаешь трансмутационное слияние
но что-то у них с политическим
пока на практике со скрипом
вот я и говорю у каждого своя форма
у каждого своя степень
заболеваний состоятельности образованности
и всего остального

##

Снег за окном, этот призрачный белый праздник танцующих, почти плавающих снежинок, на высоте 6-го этажа здания института и крыши соседнего крыла. И ты — почти спишь, словно рыба, загипнотизированный этим театром белых комочков в воздухе, словно бы ты снова в детстве, дома, в уюте, с мамой, и у тебя невысокая температура, и в школу не надо. Словно сама зима позирует тебе этим снегом, как муза, отчего ты и пишешь эти строки. Хочется спать, чего-то тёплого и ласкового, и чтобы любимый человек был рядом. Словно бы ты внутри зимней сказки, или — нет — сказка уже внутри тебя — приятная и нежная, как котёнок. Пожалуй, ещё

хочется молока с мёдом — и тихо, приятно и утончённо писа́ть,
писа́ть, писа́ть что-то подобное этому...

##

итак робингудить тихо партизанить себе хорошую жизнь
и всем окружающим
раз мало бабла будем брать мастерством и умением
но по закону и некриминально
нет не перевелись ещё братцы и сёстры лайфхакеры
я ещё когда сказал жизнь есть наслаждение
и смакование счастья и оргазмов

##

и на родине
я словно
на чужбине
в сладостных мечтах
о конкубине

потому и словно
на чужбине
нету нет
пока что
конкубины

чуть извраток
и беремен
от меня
у сладенькой
животик

вот такой вот
поллок рафаэль
буанаротти

##

Вецаки
номер отеля *Četri viļņi*
(бывший *Volero*)
7:20 утра

как если бы
свёртка пространства
утренней медитацией
эманациями мозга
моей головы
как если бы
роботизирование
порабощающее сканирование
местности и
пространства-времени
на один квадратный километр
радиусом

мои действия после подъёма
пожёвывания еды и
питие безалкогольных
в номере
по-прежнему носят
реабилитологический характер
по стилю в них узнаваем
дедушка Пётр Семёнович***
а-ля местный егерь XVIII века
по почерку

т.е. воскресенье
карки ворон над крышей отельчика
накрапывание дождичка

календарно двухнедельный
отпуск начнётся лишь завтра
в понедельник
но де факто я уже второй день
отдыхаю

точнее начал
с вечера пятницы
концертом БГ
в Дзинтари

чуть погода
одеваюсь ухожу
оставляю ключ от номера
на столике внизу
вместе со своей визиткой

в холльчике безлюдно
никого из администрации

на мне сувенирная кепка
группы «Аквариум»
с большой «А» на лбу

«А» значит «ампиратор» ;-)))

07.07.2019

*) Авторская производная от *нада-йога* (йога звука).

***) От английского *level* — уровень.

****) Пётр Семёнович Болдавенко — дед Павла Васкана, автора текста.

ПОМИНАЛЬНАЯ

1

пепел сгоревшего опыта становится удобрением
а из наших конвульсий
делают шпаргалки
для школьников
вульвы девочек
впитывают наши телодвижения
а мальчики разучивают партитуры птичьих следов
слоги небытия
ибо на страшном снегу наших будней
уже потемневших от слёз
утомлённой весны
текущей ручьями
по керамическим желобам

2

что там шумит в этих трубах водосточных
что там печалится в скрипящем листе железа
оторванном крае вывески
мы не знаем
и только поём
нашу песнь
тоски и разврата
о павших

##

я чувствую ты устала
от ебанутых
я могу помочь тебе
хочу согнуть тебя
хочу тебя взять альпенштоком
электрошоком
пороком

108

потоком
несознанки жестоким и страстным
мне кажется ты была красной
и грохот
нарастал
словно человек-амфибия с лапами

ВАТЕРКЛОЗЕТ

с огромным труПом
добиваясь достигнутых целей
обладая ими снова и снова
как на лугу корова
с цветущим хмелем
жующая клевер
идушая по подстилке наших радостей земных
порноангелизм так зыбок
папа так любит тебя
засовывая в задний проход
трубу
подзорную
хочет увидеть там город незнаемый
высоки его купола
ты уже легла?
а помнишь катались с тобою в Риме?
мы были одни
мы не были двоими
давно это было
слеп спелый цвет тех лет
ты спел
и ты уже спел
зайдя в туалет
чтобы увидеть на кафеле
твоё незабвенное имя
так ты здесь была?
здесь тоже был ватерклозет?

ДВУПЕРСТИЕ

1

чёрно-белые беззвучные фильмы
снимали когда-то на «Мосфильме»
в них крутился волчок на улице
девочка бегала с обручем
целовала щенка
а мальчик набрав дождевых червей
шёл на рыбалку
теперь всё это кончилось
я говорю пока
рассвету своей юности
бедной печали деревьев
тяжёлые слёзы на них
дуновению ветерка

2

теперь начинается новое
в темноте этих орешин
тобой огорошен
думаю о пустяке
немой любви
о руке
которую ты протянула
но не мне
чтоб погладить перила
о Бедном Всаднике
о мраморе звёзд
о каменном мотыльке

ЖЕНЕВЬЕВА

и где эти любители ресурса «Страдающее Средневековье»?
чѐ-то не постят они весѐлые картинки
а почему?

СОС

может эти картинки — зеркала?
#оранжад, Мадонна, оранжад#
может мы узнали себя?
может мы и есть «Страдающее Средневековье»
в отличие от того Высокого и Блаженного?
дорогие мои склизкие устрицы, орангутанги и мокрицы
все в хляби Отца сохранимся

САН-МАРКО

1
в цветеньи безумной войны
пишу вам стихи
отсюда
из Харькова
о футуристы
и Хлебников
я читаю «Солнце и сталь»
за окнами тьма перелесков
и чёрных многоэтажек
амфитеатры дворов угадываются
и волшебный песок времени
который сыпется сквозь
наши прорехи
мы живём в нашей душе
мы задыхаемся в этом песке
мы испускаем крики
отчаяния
в то время как корабли атлантов
штурмуют то что было землёй
а стало Марсом
Аэлита
питерский инженер
нажимает на рычажок
радиоаппарата
и в Космос летит

послание наших детей
заблудившейся шифрограммы
невнятный шифр
код написанный на салфетке
в кафе венеицеском
в весенний полдень

2

параллелепипеды
круга
геометрической фигуры
разбег
твоя подруга
жуёт снег
и смотрит на звёзды
и уже поздно
что-то менять
авве
слалом
Авессалом
там
за углом
в алом
и голубом
зелёные деревья
евхаристический дом

##

выбирать между Сатаной и Дьяволом
увы не по мне
потешные огни Италии
чёрное рококо
Бенито собирает митинг
быть луне
правые стяги колеблются на восходе

508

тяжёлые птицы летят мимо реи
где покачиваются тела повешенных

ВОРОБЕЙ

как завещал великий Мао
сiju с тобой в тени вокзала
и наблюдаю провода
а в тучах жёлтая звезда
звезда Давида нам моргала
и ею брошенный пятак
лежал на лужах
что замёрзли
сей тусклый свет
ты сей его
когда задумчивым подростком
ты начинаешь волшебство
над чашкой кофе
погадаем
но нет ни кофе
ни тебя
и мы над чашкою рыдаем
над трупом злого воробья

##

я сладкий черешник
я чёрный омут
я белый плимут
я тени от счастья
на лице твоём любимая
синяки любви
припухшие губы
руки сжимающие судорожно
карандашик рандомной боли

БАУНТИ

каждый день наши Томасы Манны
пишут новые романы
повествование скучное когнитивное
заканчивается в мозгу у повествуемого
как ты попал в роман?
тяжёлый серый словно одеяло в казарме
кто навязал тебе эти правила?
кто приказал жить твоей дхарме?
аларм
пьяные будни развеются за поворотом
там где ребята целятся в твою машину
дула пулемётов укрыты ветками
зачем ты пришёл сюда?
солгала тебе красная звезда
алый марс
теперь лежишь с котлетками по-киевски
шоколадным батончиком
баунти
милки вэй
звёздные дороги над океаном
зброшенный корабль
и умершие на острове господи

##

я душу сдав в залог стал господином мира
смотрю как ангел крылья заплетает
как бедная княжна с веретеном стремится
найти исток и счастью и сомнению
но сам я рад чужому исступлению
пусть кружится волчок
и тайна Роз-Мари
как ты её мой шах

иранский Гогенцоллерн
как ты её опять...
...душа боготвори
тех кто создал тебя из тела жидкой крови
из роз
где на постели волдыри
где чёрный день
как танцы без условий

##

интернет это интернат
все мы немного сироты
чем ты богат?
царь Ирод

прислал войска
чтобы отвести тебя в тюрьму
помилуй Слово так легка
серая сеть птицелова

птица как камень
твоё отчаянье
твоё молчание
неподвижное уму

за сердцем
за Богом
за облаками

ПЕСЕЦ

на самом деле отщепенцем стать несложно
достаточно перестать быть рабом и тираном
попробуй нашей любимой плётки
умоляют вас учителя жизни
изнанка коей так постыдна

шелуха перхоти и козявок за красивой обёрткой
я научился открывать двери отвёрткой
а там только крокозябры
написанные на серой стене
рядом дверь лифта
на стенах коего следы губной помады
и надпись валера лох
и даже если Бох
то Бох неправды
который сеет горох
в стенки жестокости и тупости
чёрные поручни на коленях трамвая
толпа жуёт плевки и окурки
я ничего не понимаю
я снимаю с яблока песцовые шкурки

ДРУГИЕ

1

со мной будет то же что с Хартом Крейном
потом меня оценят и полюбят
утопят в цветах
приголубят
а меня не будет
такое моё мнение
люди
стреляют из орудий
из стволов вырываются ветки
груди цветущие
руки
рты
а ты
на дне красоты
вроде Харта Крейна
на мексиканской посуде
плывёт в далёкие дали

БОС

Эмпиреи
хореи
полдня
чайки нескромных трутней

2
я читаю Готфрида Бенна
он звенит словно вопли в ушах
это мраморная сирена
выливает свой чёрный ушат

прямо на головы нашим детям
отчего эти дети молчат
это вой словно слово секретен
как пароль золотых медвежат

что куют с кузнецом это блюдо
наковальня из кемерово
и звенит дорогая посуда
и кричит тёмный ангел браво

3
а в Сибири наверное сани
лены гены простые дела
наблюдает за ними с усами
голый Сталин в чём мать родила

сняли френч и портки комиссары
этих новых и страшных богов
и лежат на дороге гусары
будто камни из мраморных льдов

СКРИПИЧНЫЙ

на лицах всех людей страданье
рыданье страх и пустота

они распявшие Христа
не избежавшие сознания
куда-то едут в этих шахтах
горизонтальных поездов
и ты почти уже готов
сидеть то с Таней или Ваней
смотреть на каменных дроздов
в озябшем парке — мы ли люди?
кого мы мыли подскази?
служанку в белом неглиже
её распластанные груди
её немой покорный жест
как на картине у Ван Гога
там где склубилась красота
ужасное свеченье Бога
и нотный лист
и сны с листа

ОБЛАКА

1

писать пародии сейчас
как с Богом танцевать
ведь Бог Он даст бедняге в глаз
завалит на кровать

и понесёшь Его дитя
ужасен недвижим
и только суслики летят
над пламенем твоим

2

над твоим садом над страной
летят твои бойцы
и только вечер с чайханой
оставили косцы

пусть косят ветер и любовь
пусть косят даже смерть
но жизнь среди чужих ветров
среди разбросанных даров
как дядя Люцифер

3

тот дядя вежлив, не галдит
снимает шляпу он
и только мраморный бандит
глядит со всех сторон

глядит однажды, впопыхах
как чёрная сноха
и только вязкий душный страх
и только чёрный мрачный прах
и только облака

КИБЕЛА

братан во рту
к тебе иду
теряя бублик на ходу
то слёзы то морозы
и только томный какаду
поёт в адическом бреду
про лёд про тайный воздух

что жжёт сирени там в конце
аллеи тёмной гулкой
цветов уж нет но тут зане
весёлый всадник на коне
в его подсумке булка
не изменяется в лице
когда играют в подлеце
то шпунтик а то втулка

РИСУНКИ ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ

1. Мотивы Александра Чака

1

город окраина
белый словно ларец
 новый лаком
 блестит и млеет этот
киоск торговый

в жерле трубы водосточной
дождь звенит временами
сердце у меланхолика стуком напоминая

смотрит луна шербатая
луч фонаря обнаружив
кто одинок тот в мыслях
тонет как в мусорных лужах
или трепещет свечкой на сквозняковой стуже
бац! в глазах помутнело
столб раскровавил губы
шаг за шагом считаю
 (звезды летят гарцуя
 яркие будто ведьмы)

сколько шагов пройду я?

2

свежесть моя осталась у кабака в зале
комната табуретка цветочный горшок убогий
голублю его без утайки
как мирный пейзаж лужайки

СРС

скульптору У. К.

кнопка звонка как тревога кусает покой
 слышно шаги всполошились идут открывать
 тотчас предчувствие вбок заставляет ступить
 это испуг жаркой встречи (гранитной рукой —
 будто тесали недавно) распахнута дверь
 перед глазами и в памяти эта рука
 спряталась тень за известкой подъездной стены
 абрис размытой фигуры на слабом свете
 будто бы камень могильный с наростами мха
 что нарушает изысканной линии ритм

жилистым телом дверной разрывая проем
 полный спокойствия словно сошел с полотна
 («скульптор такой-то» холст
 масло портрет в полный рост)
 волосы спутаны как перемятый тростник
 около глаз разветвились морщинки смеясь

вдруг начинают мышинные стены трястись
 плотью соленого моря становятся вмиг
 будто плывешь по зеленым прохладным волнам
 в бризе сердитом над бездной меня вознеся

почтовый ящик для неотправленных писем —
 мои годы
 изо дня в день гудящие на все лады
 пестрые как мазки красок на батиках

букашка вырванная из сна
балансирует на прошлогоднем стебле
пытаясь ловить вдоль берега промельк пушинок —
этот бодрый отблеск плавников
это самое горячее желание
еще день побыть живой

5

время морское — нет беззаботней на свете
волны вдыхают и выдыхают ветер

время людское — нет ни забот ни горя
люди спешат вдохнуть и выдохнуть море

время струится за воротник так надо
вместе песчинки — россыпь временепада

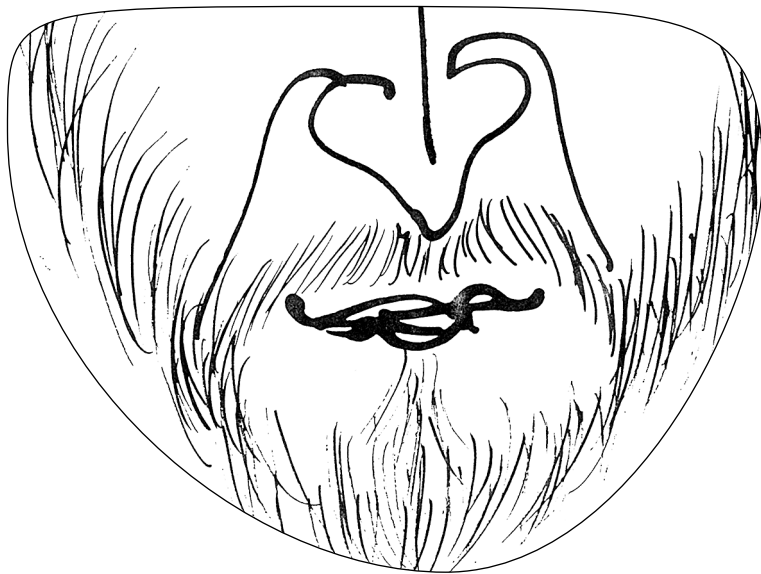
дзынннннннньь

ВАРИАЦИЯ В СТИЛЕ ЮГЕНД

и Бог сам по земле идет
в постолах зеленых.
Фрицис Барда

Петерупе большая болтунья (особенно летом)
слов ее не понять — пескариным звучит языком
по слогам берегам в диких ирисах шепчет-лопочет
и гуденью реки неусыпно внимают ужи
(уши желтые будто чашечки лютиков горных)

вторят раки кипящим потокам усы выгибая
так ажурные стебли струятся по дну
роют норы без устали звери с витыми хвостами
их когти что бубенцы тридексна
по гальке стучат



и немая пучина возвышенной нотой поет

на ближайшем лугу отцвели ярким заревом маки
(их коробочки опиум прячут за шифром замков)
журавли с перегнутыми шеями

(знаки вопроса)

что ни утро засонь теребят и бурлят как река
перекличку ведут рассекая туман на куски

что ни вечер цикады трясутся в своей серенаде
и заходится кашлем сова на соседней ольхе
кха! — и пауза — кха! — на
вздохе — кха! — на выдохе и глухо скрипит
и ероша головки травинкам

природа — там она здесь
она — дыханье ее так и ходит
по глине земли так и ходит без устали
в постолах зелено-мшистых

Перевел с латышского Янис Грантс

Одна и та же элегия написанная трижды

Впрочем, был сметливым,
Смотрел так, будто память преображала вещи.
Чеслав Милош, «На крыльях зари за край моря»

(1)

Стеглянен был август и тепл был цифрой снятой с кожи
Воздуха всё прибывало Я говорил: видь по правде

мы там где вымеряются районы наречия и моменты
(не спрашивай стеклышко метроном размером с космос

зримый одно мгновение и это всего лишь фаза)
И это всего лишь фраза: метроном для первой в мире

синтетической элегии (и это всего лишь фаза)
Домой: стеклянен был август и мы лежали на крыше

мы глядели в небо мы счет вели дронам как звездам

(2)

Откуда Литва шла домой С ночной она шла наебки
(и так велика была скорбь наша а Вильна город грустный

был каждый синтаксис ведом и грустны были инверсии)
Медленно делалось рано и воздуха всё прибывало

а Вильна была лайфстримом из химеричной культуры
Затем: за час до рассвета всего чего но затем что вдрут я

вайфай найду и та Вильна всего чего станет ремиксом
(внутри курва истории сеть скажет цитатой из Китса

что эта_ночь_нежна что Tender_is_the_night)

БС

(3)

И страшно мне было в толпе я маску носил человека
который в одном из миров возможных взорвал парламент

Я долго думал о дронах (а воздуха всё прибывало
и крика): некогда каждый имел метроном учтивый

малое стеклышко в небе которое четко разметит
зримый космос без срока и тут замыкается ф(р)аза

(мы были первым в мире лайфстримом из каждой частицы
кратчайшим ремиксом всего чего Еще не были определенно

поколением играли в игру играла в нас игра)

#Бедронка_за_качество (лоор для Яна Кальвина)

Biedronka Новодворы: паркинг (28–31 января 2016)

400

(0)

) Блескучие двери раздвигаются:
света избыток и благ
(как тема для разговора который едва-едва тлеет)

(1)

Который едва-едва тлеет
(равно бедствует) встал
перед входом не из чего отложить по оболу на веко

(2)

(на застекленное веко)
На небесах ищет преобразений
есть много знамений на небесах конкретно есть штрих-коды

(3)

(хотел бы уметь их читать:
знать язык каждой монеты)
А который разговаривает с деньгами имеет веки из железобетона

(4)

На небесах много арматуры
но ни язычника ни иудея
несть пред лицом Господа ибо встали пред раздвижными дверями

(5)

(толкуют штрих-коды)
собирают в чашку монеты
на обкладывание век и хумус за пять восемьдесят:

(6)

в сущности и пять восемьдесят
пресуществляются в рамках
(наблюдателей заменяет незримый отладчик

Разъем

(1)

А то может уехать стать золушкой всякого места
варить кофе в Берлине мыть толчки в Амстердаме

(kom je uit Polen? Нет я блядь из Нигерии
: а я бы хотел из Нигерии тогда мог бы #избавлять_

племена и _людей) Собственно одним словом:
представил это себе как личные фракталы

(2)

Автоматическая система распознавания лиц
такая как в камерах и у отдельных святых

основана на ритме и каждое лицо этого текста
будет узнано (хотя бы ритм):

к примеру некогда

в Кройцберге я сел перед магазином и плакал.
(последние евроценты отдал за Лейбница

ведь пончик дешев а может косить под завтрак)
подсел какой-то араб: *давай врубись еще в это:*

живем внутри монеты и чья рука ее вертит
(здесь кинь монету здесь о еще подумай)

(3)

Еще: в метро на Грейвсенд я смотрела в экран смартфона
(места же являют то чего мы не знали прежде:

шрам через всякий эфир отвал шахты и буровые
фоном мор у индейцев либо мечеть и бойня)

читала новости в метрополитене ливийских мигрантов
и польских барменш Вечно домой на рассвете:

хруст экрана о землю чудесно зернистое зарево
целиком не врубаюсь целиком конец фазы

(а сон был вот о чем: гляделки на самом краю звезды
и я позабыла местность: зеленый экранчик снизу)

(4) *finale*

И умножились реки дабы в них лепей тонулось
и умножились линки дабы плодилась скорбь
(вчера интервью по скайпу со старой знакомой из Дублина)
дабы оптоволокна росли света не умножалось

#колониализм

(1)

Вчера я купил антологию арабской поэзии
продавал сириец общались жестами польского он не знал

(а можно выразить иначе: вчера я купил антологию арабской поэзии
продавал сириец общались жестами ему пришлось в самый раз)

(2)

Такая беседа с корешем из Нигерии: *мужик не пизди я не был
хозяином плантаций не загружал кораблей
ни ружье ни плеть*

(тотчас видение:

я был хозяином плантаций или иначе: солнце
я хотел есть руками но ни в одном месте
не было уже рук какими мог бы есть)

Эта элегия не о Палестине

Еще каплю о зеркалах: на стене телевизор
знает все ничего не скажет для любой Палестины

есть дешевый турецкий клип немой блок рекламы
Еще каплю о зеркалах: во всей Палестине

ни одного уже нет ибо нет уже Палестины
(еще каплю о зеркалах: Палестина здесь

у стен без зеркал считывает музыку с ног танцорок
Палестина здесь немо заворачивает кебабы

Палестина здесь и вечно уходит с рассветом)

Илон Маск умирает на Марсе

Аде Аневич

Нет боли, есть свет сердобольных светодиодов.
Есть час глядения в бронированные окна
вроде просмотра Netflix в отдельных кабинках,

зеленой и красной, без перехода из красной
в зеленую. Чудо, что столь многого нету.
Нет боли. Есть свет сердобольных светодиодов,

есть шорох. Трансляция льстит. Земля есть. Та самая,
хотя самой Земли нет: есть глядение на Землю
вроде просмотра Netflix в отдельных кабинках

всё той же парой глаз (на тебе взгляды
всех глаз Земли. И видится им: есть отдых,
нет боли). Есть свет сердобольных светодиодов,

жест. Снятие блокады. Капельница послушна.
Молекулы в плазмалемму как в бронированные окна
(мириады стримов от Netflix в отдельных кабинках)

и уже не кукушки загрузили родня плачет
и гром стрекот трансляции ракета рулон станиоли
уже нет боли есть свет сердобольных светодиодов
вроде просмотра Netflix в отдельных кабинках

Илон Маск чувствует колонистов

Рюю Яневскому

Что станут барыжить аквой и кремнеземом,
пещерно-маскулинны как эрдгаз и золото,
в малую красную точку собраны как в сердце пожара,

пойманы в объектив как в зонд и переданы на Землю
пробами марсианской породы, ждут как часы на полке.
Что станут барыжить кремнеземом и аквой,

наделены кредитом послушным и разветвленным
как пара лопастей или парус, выносливее Земли и крупнее,
в куцую красную точку согнаны как в око пожара,

осыпаны баблом множественно-галактичным,
ждут как часы на полке, слушая стрекоты дронов,
пещерно-маскулинны. Как эрдгаз и золото,

давно забытые Землей: имена как виды животных
вымерших столетье назад, лица первых конкистадоров,
в стильную красную точку сучены как в центр пожара.

Носящие кольца и баксы, ждут как часы на полке,
что станут барыжить аквой и кремнеземом:
пещерно-маскулинны как эрдгаз и золото,
в малую красную точку собраны как в сердце пожара.

Илон Маск влюбляется

Самое легкое в мире: взять премиум-аккаунт
в самом подходящем из миров: сделаться эрзац-частью,
выдать себя за целое. *Шлифууй же, темнеет.*

И будешь рубить зелень, брать солнечные системы
как хрупкие игрушки из ниток и бусин. Выход из мира
самый легкий в мире: взять премиум-аккаунт

там, где его не было прежде; перекалибровать сетчатку
на спектр VIP-only, кисть утешить сенсорной сеткой
как ожоги под марлей. *Шлифууй же, темнеет.*

И настанет жизнь между, где-нибудь отыщется некое между,
какое будет по средствам. *И смерти не будет более,*
самое легкое в мире: возьмешь премиум-аккаунт

в самом смертоносном из миров; заплетешь мышцы в косицу
из торфа, кварца и блажи, насытишь один механизм
другим, более ловким и гладким. *Шлифууй же, темнеет.*

Что было кучей нейронов, покинет кучу нейронов;
что было незаменимо, в итоге пойдет на замену
самую легкую в мире. Взять премиум-аккаунт
в этом самом лучшем из миров.

Шлифууй же, темнеет.

Перевел с кашубского Густав Видзем

##

Исковерканное железо
Догорает на черной пашне.
Солнце, вставшее из-за леса,
Долго, долго смотрит на павших,
Защищавшихся и напавших.
Смотрит и не отводит взора
Ни от славы, ни от позора.

ЭХО

Марш!
Марш!
Марш!

Шрам.
Шрам.
Шрам.

ВЗВОД

во саду ли в огороде
взвод похоже что на взводе

на первый-второй рассчитайсь!

не попали в рай
так давай играй

выпьем что ли
где же кружка
а сейчас
игра «войнушка»

первые (*с вызовом*)
— а мы просо сеяли сеяли

вторые (*угрожающе*):
— а мы просо вытопчем вытопчем
(*бьются*)

ХОЗВЗВОД
ПО ДОСТАВКЕ ВОД

МЫ С ДАЛЬНИХ МЕСТ
ГРОХОТÁ ОКРЕСТ

ГОВОРИЛ СЕРЖАНТ:
НИЧЕГО
ЧТО В ВОДЕ У НАС
АЖ ДВА О

ВЗВОД ЕСТ
ВЗВОД СЫТ
ВЗВОД ПЬЕТ
ВЗВОД ССЫТ

ВОТ И
ВРОДЕ
КРУГООБОРОТ
ВОДЫ В ПРИРОДЕ

КОНЕЦ СВЕТА
одноактная пьеска для драмкружка с хором

1-й запевала:

Не насыщай сапоги гуталином.
Жизням кирдык, и коротким и длинным.

(*Хор, мужской, но с привизгом*):

Всем нам хана, и коротким и длинным.

2-й запевала:

Не начищай свои острые туфли,
Эй, атаман, твои туфли протухли.

(Хор, смешанный, двухпалатный):

Эй, атаман, твои яйца протухли!

Оба запевалы вместе:

Жизней не дóжили, кончилась смета.

Эх, удержаться б на кончике света.

(Хор, двойной и с колоколами):

Как же, зачем же, куда ж нам без света?

(За сценой бушует колокольный звон из оперы «Жизнь за царя»).

##

Наведалась тоска? Гони ее взашей!
Мир (если не война) хорош, не наглядеться.
А старость, как с горы сбегаящий ручей,
Впадает в детство.

##

Где был прилет, темнеет крови лужица.
Когда кругом горит, стенает, рушится,
Любовь не отступает, а вступает
В свои права вершительницы судеб.
Спасает. Ненавидит. Лечит. Судит.
Становится оружием и целью.
...И песенку творит над колыбелью.

ОДИНАЧЕСТВО ДВУХ ЗАЙЦЕВ

Ни встретиться нам ни проститься живем на архипелагах
а та вода те слова принц что ж они что ж они могут

Збигнев Херберт

Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach
a ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książkę

Zbigniew Herbert

Войны, эпидемии, ликвидации, перезагрузки. Сколько воды ни лей,
всегда найдется умелец, который поставит на ней свою мельничку.
«Закрытие» кпп нпо школ мостов эфиров кафедр культур бунтарей
ж/д станций активистов мемориалов. Можно смотреть
с подкожной точки зрения, можно — в перспективе будущего.

Рано или поздно наступит время: закроет глаза.

Теплый сентябрь 2023 — изменение климата или прощальная пилюля богов?

Не знаю. Лучше поговорю о насущном — об одиночестве.

Об одиначестве, если по-старому.

В сборнике «Исследование предмета» (1961) Збигнева Херберта (1924–1998)
есть стихотворение «Трен Фортинбраса», ставшее текстом-иконой.

Гамлет и Фортинбрас — один лежит, другой стоит.

Фортинбрас встал над трупом и ведет с покойным диалог:

— Сейчас когда мы одни принц можем и поговорить как мужчина с женщиной
хоть лежа на ступенях ты видишь то же что мертвый мураш.

Оба — безотцовщина, оба — одинаки.

Второй прижизненно, первый посмертно.

— Дальше не тишина но то что надлежит мне

ты выбрал легкий путь эффектный штрих

но что есть геройская смерть в сравнении с вечным бдением

с холодом скипетра на ладони в высоком кресле

с видом на муравейник...

О чем Ты, старик Збышек? О затронутой Твоим оппонентом

Чеславом Милошем схеме «муравей — обыватель — тиран»

или о библейской максиме о живом псе и мертвом льве?

А может, наоборот, о живом льве и мертвом псе?

А может, вообще не в этой набившей оскомину риторике дело?

Человек, во многом определивший пути современной науки, французский математик русско-еврейско-немецкого происхождения, строитель «прекрасных зданий» абстракции, нонконформист, пацифист, апатрид, безумец Александр Гротендик (1928–2014), читавший лекции по теории категорий в Ханое под бомбами американцев и не поехавший в Москву за медалью Филдса, писал, что для достижения определенных результатов необходимы одиночество и невинность.

Одиночество в смысле — спутники в конце концов оставляют тебя.

Нevinность в смысле — у тебя нет предустановленных концепций.

Или наоборот. Ниже я выписал две цитаты:
в переводе М. Соколовой и в оригинале тоже.

Наше познание законов Мироздания (математических или каких-то иных) зиждется на обновляющей силе внутри нас, которая есть не что иное, как невинность <...> Она одна объединяет в себе смирение и храбрость, побуждающие нас проникать в суть вещей, именно она позволяет вещам проникнуть в нас и оплодотворить нас собой.

Dans notre connaissance des choses de l'Univers (qu'elles soient mathématiques ou autres), le pouvoir rénovateur en nous n'est autre que l'innocence. <...> Elle seule unit l'humilité et la hardiesse qui nous font pénétrer au coeur des choses, et qui nous permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de nous en imprégner.

Хотелось бы напомнить об определенной «наивности» или «невинности», о которой мне уже случалось говорить. Она выражается в склонности (часто не слишком одобряемой окружающими) смотреть на вещи собственными глазами, а не сквозь патентованные очки... <...> Этот дар мы обретаем при рождении, одновременно с самой жизнью — дар смиренный и страшный. <...> Его еще можно назвать *даром одиночества*.

Le lien que je veux dire est celui d'une certaine "naïveté", ou d'une "innocence", dont j'ai eu occasion de parler. Elle s'exprime par une propension (souvent peu appréciée par l'entourage) à regarder les choses par ses propres yeux, plutôt qu'à travers des lunettes brevetées ... <...> C'est un don reçu en naissant, en même temps que la vie — un don humble et redoutable. <...> On peut l'appeler aussi *le don de solitude*.

...Думаю, речь все-таки о воде.

Сергей Морейно,
редактор «РА»

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ 2023

Автор идеи: Ирина Цыгальская
Редактор: Сергей Морейно
Составители: Даниил Бендицкий, Янис Грантс, Василий Карасев
Иллюстрации: Анастасия Архипова, Алексей Ивлев
Дизайн, макет: jdsm
Технический редактор: Янис Грантс
Руководитель проекта: Вия Лагановская
Издатель: «Литературный КОМБАЙН»

Izdevums tapis ar Kultūras ministrijas un Rakstnieku savienības atbalstu



Kultūras ministrija

Latvijas Rakstnieku savienība



Издается при поддержке Министерства культуры и Союза писателей

Редакция благодарит Иеву и Робина Хулл за поддержку переводов



Hull's School
Zürich's English College

«Rīgas Almanahs» # 3(18)

Rīga: Literatūras KOMBAINS, 2023. — 414 lpp.

Idejas autore: Irina Cigaļska
Redaktors: Sergejs Moreino
Sastādītāji: Daņiils Bendickis, Jānis Grants, Vasilijš Karasjovs
Ilustrācijas: Anastasija Arhipova, Aleksejs Ivļevs
Noformējums un salikums: jds
Tehniskais redaktors: Jānis Grants
Projekta vadītāja: Vija Laganovska

- © Autori & tulkotāji, *teksti*, 2023
- © Anastasija Arhipova, *zīmējumi*, 2023
- © Aleksejs Ivļevs, *zīmējumi*, 2006
- © Biedrība «Literatūras KOMBAINS», *izdevums*, 2023

Ни встретиться нам ни проститься живем на архипелагах
а та вода те слова принц что ж они что ж они могут
Збигнев Херберт

Apgādā izdotas sešas grāmatas sērijā «Pierobeža»:
Vija Laganovska. «2 soļi pirms Pleskavas divīzijas», 2017
Sergejs Moreino. «Hypnoses», 2018
Jānis Adamsons. «uz tumša fona esmu gaišs», 2019
Valentīns. «melna ir tikai jūra», 2019
Maija Laukmane. «Piezīmes no Libiešu krasta. Kursas pulsācijas», 2020
Inta Kampara. «Svilpaunieces», 2022

*

Apgāda jaunās sērijas «Ārpus laika» grāmatas:
Andris Zeibots. «Plīva», 2021
Jānis Grants. «Luijs ar grabarku», 2022
Kristaps Vecgrāvis. «Vaska ezers», 2022
Aleksejs Ivļevs. Komandantstunda, 2023

* *

Aivars Tabūns. Romāns «Baltais globuss», 2019
Krievu modernās dzejas antoloģija «Dziedāšanas sezona», 2019
Artūrs Snips. Atmiņu stāsti, publicistika «Rīgas portfelis», 2020
Krievu tautas pasakas latviešu valodas dialektos «Pāris Umpāris», 2021
Zane Daugule. «Mīlestībnāji», 2022
Klauss Mercs. «Jēkabs guļ», 2022
Jurijs Oļeša. «Skaidība», 2022

* * *

www.facebook.com/LitKomb
www.literaturaskombains.lv/
+371 2 944 93 78

ISBN 978-9934-9098-8-7



9 789934 909887

LITERATŪRAS

